В. С. НЕЧАЕВА

Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских „ВРЕМЯ"

1861–1863

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО

В. С. НЕЧАЕВА

Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «ВРЕМЯ»

1861—1863

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА
1972

Эта книга — первое специальное исследование, посвященное журналу «Время». Автор вводит в научный обиход большой и интересный материал. Деятельность журнала рассматривается в тесной связи с политической и литературной борьбой того времени. В книге освещается участие Ф. М. Достоевского в журнале «Время» как писателя и редактора.

7-2-2
297-72

Введение

Существование «Времени» (1861—1863) пришлось на период высшего подъема и начала спада революционной ситуации, основные явления и черты которой В. И. Ленин так охарактеризовал в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма»: «Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих *революционеров*, появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых «очень часто» приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови *заставлять* принять «Положение», обдирающее их, как липку, коллективные отказы дворян — мировых посредников применять *такое* «Положение», студенческие беспорядки — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной» [1].

Рубеж 50—60-х годов XIX в. в России был ознаменован стремительным ростом периодических изданий, тесно связанным с бурным общественным подъемом. «Если за 1851—1855 годы в России появилось всего 30 новых изданий и они были либо узкоспециальные, либо ведомственные, то в 1856—1860 годах возникло 150 газет и журналов — общественно-политических, политико-экономических, сатирических, юмористических, научно-технических, библиографических и других» [2].

Долгое принудительное молчание в эпоху николаевского царствования, «появление разночинца, как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности» [3], острая классовая борьба вокруг ломки феодальных отношений и поисков новых путей развития определили как растущее количество печатных органов, так и все усиливавшееся их значение в жизни. Напор рвущихся к гласному выражению и обсуждению общественных мнений был

---

[1] *В. И. Ленин.* Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 29—30.
[2] «История русской журналистики XVIII—XIX веков». М., 1963, стр. 308.
[3] *В. И. Ленин.* Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 94.

так ощутим, что правительство Александра II было вынуждено уже в 1856 г. делать уступки в цензурной политике, хотя разработка цензурной реформы затянулась на целые десять лет. «Когда в обществе возникает истинная потребность свободно высказываться, правительству делается невозможным противодействовать сему; потребность эта обращается в неодолимую силу»,— признал в это время даже такой блюститель консервативных принципов, как барон М. Корф [4].

До нас дошел исключительно яркий, эмоционально насыщенный документ, отразивший настроения и переживания представителя той части русской журналистики, которая, родившись в указанный период, поверила в неограниченные возможности своих сил и свершений. Это воспоминания П. Н. Ткачева, написанные им в 1882 г. в связи с публикацией сочинений Благосветлова, не пропущенные цензурой и только в советское время появившиеся в печати. Они особенно интересны нам, так как Ткачев девятнадцатилетним юношей начинал свой путь публициста на страницах журнала «Время», и можно думать, что какая-то доля его воспоминаний отразила атмосферу того журнала, в котором он в 1862 г. поместил свои первые статьи.

«На тернистое поприще издателя-редактора Благосветлов вступил в самый разгар того, всем памятного, так бурно начавшегося, так много надежд и иллюзий возбудившего и так внезапно и неожиданно прекратившегося периода нашего «общественного возрождения», периода, когда каждый живой человек восчувствовал непреодолимую потребность *как можно скорее* «высказаться», как можно скорее поделиться с своими ближними запасом мыслей и чувств, накопившихся в глубоких тайниках его души в тяжелые, бесконечные дни его «*обязательного молчания*» [5].

Сравнивая переживания интеллигенции с переживаниями узников, заключенных в тюрьме, предающихся размышлениям, но лишенных возможности поделиться ими с кем-либо, Ткачев так изображал время, когда появилась хотя бы относительная возможность «высказаться», и бывшие узники «ухватились за эту возможность с такою жадностью и стремительностью, с какою голодный бросается на кусок хлеба. Каждый спешил отдать на «суд общественного мнения» продукты своей уединенной, в тюремной тиши и мраке совершавшейся, умственной работы. Каждый хотел сказать *свое* слово, внести свою лепту в общую сокровищницу общественного сознания. Все заговорили разом, заговорили даже немые и косноязычные. Все сгорали желанием поскорее *опростаться* от накопившихся и наболевших в глубине души

---

4 «Очерки по истории русской журналистики и критики», т. II. Л., 1965, стр. 13.

5 «Шестидесятые годы». Материалы по истории литературы и общественному движению. Сб. под ред. Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. М., 1940, стр. 223—224.

мыслей, вопросов, сомнений... Журналы плодились, писатели размножались, как грибы после дождика. В читателях тоже не было недостатка. *Спрос* на умственную пищу, на литературный труд возрастал не по дням, а по часам и едва мог удовлетвориться *предложением*, несмотря на то, что литературный рынок завален был товарами, стекавшимися к нему со всех концов, со всех углов и захолустьев нашего обширного отечества. Литература стала какой-то насущной потребностью всякого мыслящего человека; она приковала к себе все его внимание и поглощала все его интересы. Поистине это был *медовый месяц* нашей журналистики...»

Приводя далее характеристику того же времени, сделанную Шелгуновым («Странное это было время, сколько в нем было блеску и порыва, какая масса внезапно, откуда-то явившихся идей, какая масса талантов, характеров!..»),— Ткачев не находил в этом ничего «странного»:

«Это была совершенно естественная, необходимая и неизбежная реакция предшествующему периоду «обязательного молчания». Долго сдерживаемая и забиваемая потребность «высказаться», «излить свою душу» во взаимообмене мыслей, с неудержимой силой прорвалась-таки наружу, и час ее удовлетворения настал».

В то же время, что и Ткачев, то есть двадцать лет спустя после интересующего нас периода, о нем вспоминал другой, ведущий сотрудник «Времени», стоявший и тогда на очень далеких от Ткачева идейных позициях. Но даже убежденный монархист и реакционер, каким был Н. Н. Страхов в восьмидесятых годах, не мог не поддаться какому-то, хотя и иронически снисходительному, сочувствию, говоря о давно пережитом времени. Рассказывая о том, как в конце 1860 г. писалось «Объявление» о будущем журнале «Время», он отмечал, что одной из отличительных черт его была «живая надежда на скорость и возможность достижения поставленных целей, которая в нем высказывается», и замечал: «Впрочем, тогда, когда писалось «Объявление», редко кто мог воздержаться от увлечения. Это было именно время надежд и порываний. Все умы были в таком возбужденном состоянии, все пришло в такое брожение, что, по-видимому, могли совершиться самые невероятные вещи. Чувство действительности потерялось; казалось, чего мы захотим, то и сделаем»[6].

Предварительная публикация редакциями «Объявлений» о печатающихся журналах с изложением своего credo также была характерной чертой этого времени. Только три толстых общественно-литературных журнала («Современник», «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения») насчитывали в прошлом десятилетия существования и были хорошо известны публике.

---

[6] *Н. Н. Страхов.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском.— Сб. «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». СПб., 1883, стр. 195—196. Далее: *Н. Н. Страхов.* Воспоминания.

Вновь возникающие издания стремились заявить о себе, о своем направлении, целях, сотрудниках, помещая в последние месяцы года в старых журналах свои более или менее пространные «Объявления». Так, осенью 1861 г. их оказалось так много, что они послужили темой для фельетонной статьи в «Московских ведомостях», в которой автор обвинял редакции в подрыве кредита друг у друга этими публикациями, в беззастенчивом зазывательстве публики пышными обещаниями. Он иронически писал: «А где же найдете вы самые-то, что называется, сливки редакторского ума, как не в объявлении об издании журнала? Тут уж он весь, в сосредоточенном, так сказать, виде... в объявлении редакции спрятаться не за что: тут она сама является лицом к лицу с публикой и рекомендуется, и старается высказать самую лучшую, самую горячую мысль».

«Время», которое очень много значения придавало своему редакционному «Объявлению», выступило в защиту этого обращения к читателям, указывая, что всякая честная редакция заинтересована в количестве подписчиков и очень хорошо, что «Объявления» отражают индивидуальность и настроение редакции. Но, к сожалению, имеются серые объявления, которые ничего, кроме общих фраз, ставших трафаретными, как, например, «современные потребности образованной публики», «новейшее направление умов», «последние выводы науки» и т. п., не содержат и не могут производить никакого впечатления. Далее «Время» очень благожелательно сообщало о ряде начинающихся изданий, как столичных, так и провинциальных, с кратким изложением их «объявлений» («Время», 1861, кн. 10, от. IV, стр 36—41).

Кто были инициаторы многочисленных изданий, вновь возникавших на рубеже 1850—1860-х годов? Их состав не изучен, но, несомненно, он был очень пестрым и не только по идейной направленности, но и по социальной принадлежности, по профессиональной подготовке и по финансовым возможностям. Если в 1856 г. профессор Московского университета и опытный журналист М. Н. Катков начал издание «Русского вестника», то в 1858 г. дилетантствующий литератор, титулованный богач, граф Кушелев-Безбородко сыпал вокруг деньгами, задумав издание «Русского слова», покупая готовые рукописи и ловя нуждающихся литераторов не только в России, но и в заграничном вояже по Италии и Франции. Если широкий по программе литературно-общественный журнал «Светоч» возглавило в 1860 г. ничего не говорящее имя Калиновского, то узкий педагогический журнал «Ясная Поляна» украсила фамилия уже широко известного и к тому же титулованного писателя. Помещик Желтухин принялся издавать журнал «Землевладелец», графиня Салиас де Турнемир, урожденная Сухово-Кобылина, она же писательница Евгения Тур,— журнал «Русский мир».

Вероятно, среди возникавших изданий были и предприятия сомнительной честности, инициаторы которых старались исполь-

зовать общественный подъем в корыстных целях — нажить капитал или сделать себе имя. Так, в цитированном выше номере «Времени» читаем упоминание о журнале «Современность», который напечатал прекрасную программу, выпустил два номера, а далее «ни слуху ни духу», исчез, не рассчитавшись с подписчиками. Да, несомненно, очень пестрым был состав редакций новых изданий, как были разнообразны их идейные основы и преследуемые ими цели.

И все же в целом журналистика так или иначе запечатлела этот бурный исторический период, отразила боровшиеся в нем противоречивые тенденции, переплетения политических, социальных и эстетических позиций.

В этот, с каждым годом идейно усложнявшийся и накалявшийся страстями журнальный мир в 1858 г. решил вступить отставной инженер-подпоручик и литератор, педагог и табачный фабрикант Михаил Михайлович Достоевский, что удалось ему, однако, осуществить только три года спустя.

Прежде чем приступить к изучению истории журнала «Время», к анализу его содержания и характеристике его направления, скажем несколько слов о том, что было уже сделано в этом отношении до последнего времени. Эпоха «революционной ситуации» конца 50-х — начала 60-х годов пристально изучается советскими историками. В течение последнего десятилетия вышло пять больших сборников, специально ей посвященных, под редакцией академика М. В. Нечкиной[7]. Мы находим там исследования, касающиеся проблем общей ситуации в стране, положения и поведения «верхов» и «низов», статьи, посвященные отдельным участникам или моментам общественного движения. Но, как признала М. В. Нечкина во вступительной статье к первому сборнику, еще далеко не все сделано в изучении разносторонних сил, действия которых должны быть связаны в единое целое и взаимно пояснять друг друга: «В результате должна сложиться общая картина едва ли не первого в России отчетливо обрисовавшегося революционного кризиса, не перешедшего, однако, в революцию» (стр. 11).

Нам представляется, что тщательный анализ того потока периодических изданий, бурное течение которого отмечалось как характерное явление эпохи «революционной ситуации», должно входить непременной частью в задачи ее изучения. Приходится, однако, констатировать, что, кроме органов революционной демократии, журналы и газеты рубежа 50—60-х годов мало изучены, так же как и деятельность их многих сотрудников, сказавших свое слово в общественном движении этого периода. В статье Н. И. Мухиной «Изучение советскими историками револю-

---

[7] «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». М., Изд-во АН СССР, 1960 (1), 1962 (2), 1963 (3), 1965 (4), 1970 (5). Далее: «Революционная ситуация...» и год издания.

ционной ситуации 1859—1861 гг. (опыт библиографической статистики)» произведен подсчет и группировка по темам работ в этой области, и вот к какому итогу она приходит: «В то время как Чернышевский, Добролюбов, Герцен, Огарев составляют тему 665 работ, их многочисленные соратники представлены всего лишь в 103 работах. Всего восемь исследований посвящено либеральному движению. Ничего нет о реакционном движении, о реакционной классовой идеологии... Общественное движение, как самостоятельная проблема, изучено крайне недостаточно» [8].

Если в ряде работ, помещенных в указанных сборниках, все же привлекаются к рассмотрению и либеральные и реакционные периодические издания этого времени, то каких-либо обращений к журналу Достоевских мы в них не нашли. Приведем характерный пример. В первом сборнике напечатана статья Г. Н. Сладкевича «Проблема реформы и революции в русской публицистике начала 60-х годов. (Полемика вокруг книги М. А. Корфа «Жизнь графа Сперанского»)». Отношение к этой книге о «реформаторе» начала века дало возможность автору статьи показать позиции, занятые революционными демократами («Современник», «Русское слово»), «помещичье-буржуазными», либеральными и охранительными кругами; приводятся отзывы «Русского вестника», «Дня», «Библиотеки для чтения», «Санктпетербургских ведомостей», «Светоча», «Сына отечества», «Нашего времени», «Русского мира», «Северной пчелы». Журнал «Время» не упоминается, а между тем в его декабрьской книжке за 1861 г. была помещена большая статья М. И. Владиславлева о книге Корфа, получившая высокую оценку Ф. М. Достоевского, и, несомненно, представляющая интерес серьезным отношением к теме молодого ученого [9].

Не повезло «Времени» и в трудах по истории журналистики этого периода. В вышедшей под ред. А. В. Западова «Истории руской журналистики XVIII—XIX веков» (М., 1963) на стр. 314—315 дана кратчайшая характеристика «Времени» и «Эпохи» как органов «почвенников», как «либерально-монархического» издания, враждебного революционным демократам, с упоминанием имени единственного из их сотрудников — Н. Н. Страхова и несколькими цитатами из статей Ф. М. Достоевского.

В «Очерках по истории русской журналистики и критики. Вторая половина XIX века» (т. II. Л., 1965) изданиям шестидесятых годов отведено свыше двухсот страниц. В первой главе «Общая характеристика периода» журналы Достоевских упомянуты в следующем контексте: «Ожесточенная борьба между прогрессивными силами России и силами реакции определила развитие литературы и журналистики в 60-х годах. Никогда еще ли-

---

[8] «Революционная ситуация...», 1960, стр. 522—526.

[9] См. далее, гл. X, стр. 206—207. Статья Владиславлева напечатана в журнале без подписи.

тературно-журнальная борьба не приобретала столь отчетливой идейно-политической окраски. В журналистике к либерально-охранительному лагерю относились «Русский вестник», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», а в какой-то степени журналы братьев Ф. М. и М. М. Достоевских «Время» и «Эпоха». Лагерь революционной демократии возглавляли «Современник» и «Русское слово». Далее всем названным журналам и некоторым другим посвящены особые главы, всем — кроме «Времени» и «Эпохи». Им, правда, отведен один абзац при характеристике полемической деятельности Щедрина и Антоновича в «Современике», но о самих журналах ничего более не сказано.

Более внимательно к «Времени» отнесся справочник «Русская периодическая печать. 1702—1899» [10], давший краткие сведения об истории его издания, эволюции его направления, о наиболее значительных его сотрудниках и их публикациях. Но и здесь центральное место заняло сообщение о полемике Страхова с «Современником». Эта полемика составила и главное содержание статей о «Времени» в БСЭ и «Краткой литературной энциклопедии».

Особый интерес к полемике «Современника» и «Времени», имеющей большое значение для понимания идейной позиции журнала Достоевских, проявился еще в 1920-е годы. Она не переставала привлекать внимание исследователей и в следующие десятилетия. Если в первой появившейся в советской литературе статье о «Времени» [11] автор лишь бегло касается этой полемики, восхваляя достойную и принципиальную позицию, которую занял журнал Достоевских, и осуждая неприличную грубость его врагов, то статья 1929 г. В. Р. Лейкиной [12] уже вся проникнута стремлением выявить реакционность направления «Времени» и «Эпохи», их борьбу с материализмом, утопическим социализмом и космополитизмом. Хотя автор мимоходом упоминает некоторых сотрудников журналов, но строит свою характеристику «почвенничества» только на выступлениях Страхова и Достоевского, не различая статей, относящихся ко «Времени» или к «Эпохе». Имея в виду братьев Достоевских, Страхова и Григорьева, В. Лейкина рисует коллектив журнала как «группку 40-летних интеллигентов, талантливых, рафинированных, переживших годы исканий», которым «связанный с реформами подъем 60-х гг. представлялся непонятным и бессмысленным».

Книги и статьи 1930—1940-х годов, в которых авторы так или иначе рассматривали полемику «Современника» и «Времени», чрезвычайно многочисленны. Назовем некоторые из них. Значительную роль сыграла публикация Н. Л. Бродским отрыв-

---

10 Под ред. А. Г. Дементьева, А. В. Западова, М. С. Черепахова, стр. 411—413 (М., 1959).

11 *В. А. Спиридонов.* Направление «Времени» и «Эпохи».— «Достоевский». Однодневная газета Рус. библиологического общества, 1921, стр. 2—9.

12 *В. Лейкина.* Реакционная демократия 60-х годов. Почвенники.— «Звезда», 1929, № 6, стр. 168—181.

ков из записных книжек Достоевского под названием: «Подпольные бои Достоевского против Чернышевского» («Литературная газета», 9 февраля 1931 г). В книге В. Я. Кирпотина «Публицисты и критики» (1932) появилась статья о полемике Антоновича с журналом «Время»; в издании избранных сочинений В. А. Зайцева (т. 1, 1934) под ред. Б. П. Козьмина, в статьях и комментариях Г. Берлинера, Б. Бухштаба, С. Рейсера и И. Ямпольского — анализ борьбы с журналами «почвенников» и их идейной позицией. К 1936 г. относится статья Г. Берлинера «Литературные противники Добролюбова» («Литературное наследство», т. 25—26) о статьях Достоевского во «Времени», к 1939 г.— книга В. Е. Евгеньева-Максимова и Г. Ф. Тизенгаузена «Последние годы «Современника» с разбором идейной полемики между «Современником» и журналами Достоевских.

Та же тема, но в значительно более острых и резких формулировках, выводах и итогах была разработана У. А. Гуральником в диссертации и статье «Современник» в борьбе с журналами Достоевского (идейно-политическое содержание полемики)» [13]. Ряд исследований вызвала полемика Щедрина с «Временем» и «Эпохой» (см. работы А. Лаврецкого и С. Борщевского). Эта полемика нашла наиболее полное отражение в книге последнего: «Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы» (1956).

Итак, в большей или меньшей мере исследователи полемики революционных демократов с журналами Достоевских вскрывают основные линии, по которым шел спор, а именно: материализм в философии, науке против идеализма «почвенников», замена их пропаганды «мирного прогресса» в общественной жизни призывом к революционной борьбе, идея социализма как будущего России, противопоставляемого современному монархическому правлению и обществу, классовость которого «почвенники» отвергали. Так как оспариваемые положения «почвенников» брались в основном из заявлений редакции журналов и высказываний Ф. М. Достоевского и Страхова, то полемика рассматривалась как с журналами «Время» и «Эпоха» в целом, чем придавалось оспариваемой идеологии нечто единое, целостное, компактное, распространенное на все их содержание, а отсюда делались и выводы о положении и значении этих журналов в текущей общественной жизни.

Нельзя не признать, что обильные обращения ученых к весьма значительному факту жизни журнала «Время» — его полемике с революционной демократией — разносторонне освещают и объясняют его. Но вместе с тем они вызывают и некоторые сомнения. Оперируя почти исключительно высказываниями Достоевского и Григорьева и в особенности статьями Страхова, совершенно не касаясь остального огромного материала, заключающегося в

---

[13] «Известия Академии наук СССР». Отделение литературы и языка, т. IX, вып. 4, 1950, стр. 265—285.

28 книгах журнала, могут ли эти штудии рассматриваться как приговор всему изданию в целом? Если считать, как это принято в большинстве работ, что Ф. М. Достоевский был фактическим редактором журнала — всего журнала, а не только своих и страховских полемических статей,— то как же можно, не изучив содержание и направление журнала в целом, делать итоговые выводы о его роли и значении в общественном движении эпохи? А между тем, надо признать, что сколько-нибудь полного изучения журналов Достоевского у нас нет, хотя имеются отдельные ценные конкретно-исторические исследования их содержания и отдельных моментов существования.

Еще в первые годы советского литературоведения Л. П. Гроссман выпустил два дополнительных тома к Собранию сочинений Достоевского изд. «Просвещения» (т. XXII и XXIII), названные им «Забытые и неизвестные страницы» и частично явившиеся результатом его изучения журналов «Время» и «Эпоха». Его предисловие и комментарии к ряду включенных им в состав издания вновь найденных произведений Достоевского положили начало тщательному научному изучению журналов. Это изучение продолжил редактор первого советского издания Собрания сочинений Достоевского Б. В. Томашевский, поместивший в XIII томе этого издания, кроме ряда статей Достоевского из «Времени» и «Эпохи», все редакционные «Объявления» журналов и примечания редакции. Чрезвычайно важна его статья в этом же томе — «Достоевский-редактор» и примечания к ряду публикаций, дающие много конкретных сведений к истории издания журналов. Большой вклад внес А. С. Долинин, публикуя в издававшихся под его редакцией сборниках материалы о сотрудниках журналов и их переписку с Ф. М. и М. М. Достоевскими; особо отметим «К цензурной истории журналов Достоевского» [14], его вступительные статьи и публикацию писем М. М. Достоевского и А. Н. Плещеева к Ф. М. Достоевскому периода издания журналов [15] и его исследование взаимоотношений Ф. М. Достоевского с ведущим сотрудником обоих журналов Н. Н. Страховым [16].

Много внимания журналам бр. Достоевских уделил Б. П. Козьмин в трудах по изучению общественного движения 1860-х годов как в своих статьях (с 1919 г. и до конца жизни), так и в редактировавшихся им изданиях. Особенно значителен его анализ отношения журнала «Время» к петербургским пожарам 1862 г. и прокламации «Молодая Россия» [17].

---

[14] «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Под ред. А. С. Долинина. Л., 1924, стр. 559—577.

[15] «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». Под ред. А. С. Долинина. Л., 1935, стр. 437—504 и 508—579.

[16] *А. С. Долинин.* Ф. М. Достоевский и Н. Н. Страхов.— Сб. «Шестидесятые годы», стр. 238—280.

[17] *Б. П. Козьмин.* Из истории революционной мысли в России.— *Б. П. Козьмин.* Избранные труды, 1961.

В заключение нашего краткого обзора укажем на сравнительно недавно вышедшую книгу В. Я. Кирпотина «Достоевский в шестидесятые годы» (М., 1966), которая ставит себе задачей изучение творческого пути и общественно-политических взглядов писателя первой половины 60-х годов и тем самым является тесно связанной с историей издания журналов и анализом их направления. Чтобы характеризовать центральную идею «почвенничества», сближения интеллигенции с народом, показать позицию журналов в отношении к крестьянской реформе, проблемам развития капитализма, В. Я. Кирпотин не ограничивался высказываниями Достоевского, а сделал первую попытку обратиться к статьям, принадлежащим перу весьма различно настроенных авторов «Времени» и ракрывающим богатое содержание журнала.

Хотя В. Я. Кирпотин не ставил себе задачи изучения журналов как таковых, а лишь привлекал некоторый материал для характеристики позиции и взглядов их редактора, все же его заслуга — выход за пределы обращения не только к Страхову и Ап. Григорьеву, но и к другим сотрудникам журнала и их работам — очень значительна. Заслугой В. Я. Кирпотина является и шире поставленный вопрос о журнальной полемике «Времени». Главе «Борьба с «Современником» предшествуют «Споры со славянофилами» и «Полемика с «Русским вестником», т. е. обрисовываются три основных фронта, на которых велась Достоевским журнальная война. Идейное отличие «Времени» от славянофилов, его большая демократичность, по сравнению с ними, так же как беспощадное разоблачение Каткова и позиции «Русского вестника» как явлений враждебных русскому народу, русской литературе, идеям гуманизма, показаны кратко, сжато, но убедительно.

Предлагаемая книга была также вызвана к жизни изучением творческого пути Достоевского: его роль в издании «Времени» и роль журнала в его деятельности проходят через все ее главы. Тем не менее эта книга не о Достоевском во «Времени», а книга о самом журнале «Время», как журнале своей бурной исторической эпохи, об истории его издания, его сотрудниках, его реакции на основные общественно-политические проблемы современности, о его эстетических позициях.

Считая, что в настоящее время эпоха «революционной ситуации», расстановка действовавших в ней общественных сил достаточно изучены, а характер главных печатных органов, их отражающих, широко известен, мы начинаем анализ содержания журнала «Время» с вопроса о его отношении к главнейшим проблемам, волновавшим русское общество в 1861—1863 гг.,— крестьянской реформе и определению дальнейшего пути развития страны. В тесной связи с этими проблемами стояли вопросы, имевшие особое значение для Достоевского,— вопросы о реформе суда, администрации, о демократизации культуры, которым и посвящены следующие главы. Наш порядок изложения вовсе не

связан с рассмотрением «разделов» программы журнала: мы ставили себе задачей выявить позицию журнала в отношении к названным проблемам, как она нашла отражение в любом из программных «разделов» журнала, и тем самым показать позицию, которую он занял в оценке внутренней жизни современной России. Дополнив эти сведения анализом его позиции в отношении к современной европейской и американской общественно-политической жизни, мы переходим во второй половине книги к разбору его идейной продукции в области науки, литературы, критики и публицистики. Этими соображениями объясняется тот факт, что художественная литература, помещаемая в первом разделе журнала и занимающая значительную часть его объема, так же как его критика и публицистика, рассматриваются нами после анализа общей идейной направленности в предшествующих главах.

Изучению содержания журнала мы предпослали главы, посвященные редактору, сотрудникам и истории издания журнала. Главу о сотрудниках, в которой впервые изучается их состав и значение в журнале, мы принуждены были из-за экономии места максимально сжать, полагая в книге, посвященной «Эпохе», поместить аннотированный алфавитный указатель сотрудников обоих журналов с раскрытием псевдонимов и анонимов. Изучение привлеченных редакцией участников издания позволило нам установить наличие во «Времени» значительной группы авторов, принадлежавших к передовой молодежи, находившейся под влиянием «Современника», на которую не может распространяться ставшее традиционным определение «Времени» как «либерально-охранительного» издания.

Что касается полемики «Времени» с «Современником», то мы умышленно не подводили ей окончательных итогов в этой книге, так как ее продолжение и кульминация имели место в сменившем «Время» в 1864—1865 г. журнале «Эпоха», в книге о которой нам и предстоит сделать выводы об эволюции борьбы с «Современником», «Днем» и «Русским вестником» в связи с дальнейшей общественно-политической эволюцией журналов братьев Достоевских и спадом «революционной ситуации».

В заключение этих вводных страниц нам хочется с глубокой благодарностью вспомнить о человеке, с которым связывается возникновение замысла книг о «Времени» и «Эпохе». Екатерина Михайловна Манассеина-Достоевская своими беседами (в 1920-е годы), сохраненными ею и переданными нам материалами из архива ее отца, Михаила Михайловича Достоевского, способствовала и воплощению этого замысла, к сожалению, очень запоздавшему.

Глава I

Редактор журнала «Время» Михаил Михайлович Достоевский

В кратком некрологе брату, помещенном в № 6 «Эпохи» за 1864 г., Ф. М. Достоевский, ничего не говоря о его жизненном пути и очень мало о заслугах литератора и переводчика, горячо и убежденно писал только о значительности его роли как издателя и редактора журналов. Он раскрыл влияние М. М. Достоевского на идейную направленность изданий, на подбор материалов и сотрудников и его воздействие на них, его требовательность к цельности, значительности и постоянному улучшению журналов, наконец, на самостоятельность и независимость его суждений и действий как их руководителя:

«Михаил Михайлович был редактором по преимуществу. Это был человек, с уважением относившийся к своему делу, всегда сам занимавшийся им, никому не доверявший даже на время своих редакторских обязанностей и работавший беспрерывно... Наблюдательность и вдумчивость в жизненные явления во многом обеспечивали его от ошибок и придавали всегдашнюю трезвость взгляду его. Он горячо, с страстным участием следил за движением современной общественной жизни и, сколько я помню, почти всегда составлял себе о нем точное мнение. Он был знаток европейских языков и литературы, много читал и всегда умел угадать то, что надо читателю и чем наиболее интересуется русский читатель в данный момент. Состав книжек журнала, выбор статей, выбор вопросов, о которых именно теперь нужно бы говорить и о чем журналу надо дать свое мнение,— все это почти вполне принадлежало самому Михаилу Михайловичу. Он охотно выслушивал советы, охотно сам спрашивал их, во многом не признавая себя судьею; но выслушав совет, почти всегда поступал самостоятельно... Всегда буквально заваленный работой по изданию, он сам писал в журнале мало; всего было только несколько статей его в отделении критики. Те, которые упрекают редакторов в том, что они мало пишут, и, стало быть, как бы пользуются чужими трудами, не понимают, что говорят. Если редактор действительно занимается сам своим журналом, то дух, цель, направление издания, все исходит от него. Он мало-помалу неприметно окружает себя постоянными, согласными в убеждениях

сотрудниками. Он, часто неприметно для самих сотрудников, наводит их на мысль писать именно о том, что надо журналу. От редактора исходит единство и целость журнала. Но, несмотря на успех журнала, самым строгим, самым требовательным ценителем журнала был постоянно сам Михаил Михайлович... Он желал беспрерывного усовершенствования журнала и верил в успех. Он лучше готов был выдать книгу совершенно без того или другого отдела, если на тот раз не имел чем заместить его, чем наполнять журнал чем-нибудь и как-нибудь...» [1].

Всю эту характеристику редактора «Времени», сделанную ближайшим ему человеком и участником издания, нет оснований относить за счет пристрастного преувеличения со стороны любившего его брата. Дошедшие до нас эпистолярные и иные материалы, приводимые далее, во многом подкрепляют отзыв Ф. М. Достоевского. При постоянном общении братьев, их общей заинтересованности Ф. М. Достоевский играл свою и очень значительную роль в редакционной жизни журналов, о чем он неоднократно упоминал в письмах [2], но не может быть сомнения, что систематически, из месяца в месяц, изо дня в день руководил изданиями именно Михаил Михайлович, смотревший «со свойственным ему глубоким, даже до наивности, уважением на обязанность издателя и редактора журнала».

Надо вспомнить, что Федор Михайлович лишен был возможности неотрывно руководить изданием в силу того, что в течение 28 месяцев, когда выходило «Время», он написал и напечатал около 52 печат. листов художественных и публицистических произведений [3]. Некоторое время он серьезно болел, а пять месяцев провел за границей. Между тем, немногочисленные исследователи, касавшиеся истории журнала «Время», мало уделяли внимания роли М. М. Достоевского в его жизни, сводя ее исключительно к заботам о материально-финансовой стороне издания.

Мы же считаем необходимым хотя бы кратко характеризовать личность, взгляды и деятельность М. М. Достоевского к моменту вступления его в редакторские обязанности, так как литература о нем ничтожна, полна ошибок, иногда, к сожалению, незаслуженно чернящих его облик. Это тем более печально, что ближе брата у Ф. М. Достоевского за всю жизнь не было человека, о чем он не раз свидетельствовал. Еще в 1849 г. на вопрос Следственной комиссии по делу Петрашевского, «с кем он имел

---

[1] *Ф. М. Достоевский.* Полное собрание художественных произведений. Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева, т. XIII. М.— Л., 1930, стр. 341—343. Далее: *Достоевский,* том и страница.

[2] Решительное заявление, противоречащее приведенному выше, Ф. М. Достоевский сделал в письме к А. Врангелю 31 марта 1865 г.: «*Время я* начал, а не брат, *я* его направлял и *я* редактировал».— *Ф. М. Достоевский.* Письма. Под ред. А. С. Долинина, т. I. М.— Л., 1928, стр. 401. Далее: Письма, т. I (1928); т. II (1930); т. III (1934); т. IV (1959).

[3] Подсчет листов принадлежит Б. В. Томашевскому.— См. статью «Достоевский-редактор».— *Достоевский*, т. XIII, стр. 561.

близкое и короткое знакомство и частые сношения», Достоевский ответил, подчеркнув первые слова: «*Совершенно откровенных* сношений не имел ни с кем, кроме как с братом моим, отставным инженер-подпоручиком Михайлою Достоевским» [4]. Несколько лет спустя после смерти брата он писал А. Н. Майкову: «Ведь вы не знаете, чем всю жизнь с первого моего сознания был для меня этот человек! Нет, вы этого не знаете!» [5].

Мысли о М. М. Достоевском сопровождали писателя до последних лет его жизни и нашли характерное отражение в двух его поздних произведениях [6].

Из биографии Ф. М. Достоевского хорошо известно, как в скромной московской квартире штаб-лекаря, среди детских игр, совместного учения сперва дома, потом в пансионах, в общем увлечении чтением и литературой росла и крепла дружба братьев Достоевских. Но уже в детских играх, а позднее в выборе чтения резко сказалось различие, почти противоположность в их характерах. Отчасти это различие было следствием несходства их физических организаций. Федор Михайлович был много крепче и здоровее физически, чем его брат. Что касается М. М. Достоевского, то почти за все годы его недолгой жизни (он умер 44 лет) мы находим упоминания в письмах о его слабом здоровье, частых болезнях, бледности и худобе.

Некрепкий физически, М. М. Достоевский еще в детстве отличался от брата тем, что избегал шумных игр, был тих и мало подвижен. Может быть, этому еще способствовала его исключительно сильная близорукость. Но внешняя сдержанность не была, однако, признаком душевной вялости. Отличаясь, по свидетельству брата, сильной восприимчивостью и впечатлительностью, он привык таить в себе движения души, хотя часто сам тяготился своей замкнутостью. Отчуждение от окружающей жизни способствовало развитию в нем мечтательности, питавшейся обильным чтением. А. М. Достоевский указывал, что у братьев были разные вкусы в чтении: в то время, как Федор Михайлович «любил более чтение серьезное», т. е. исторические сочинения и прозу, Михаил Михайлович увлекался поэзией. Любимым поэтом, наиболее близким ему по духу, был Жуковский [7].

В М. М. Достоевском очень рано обнаружилось тяготение к искусству — живописи, музыке и поэзии. С девяти лет он начал писать стихи. Его поэтические опыты не дошли до нас, но сохра-

---

[4] *Н. Ф. Бельчиков.* Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1936, стр. 109.

[5] Письма, т. II, стр. 99. См. также стр. 95.

[6] См. разговор с Кирилловым в восьмой главе I части «Бесов» о старшем брате, умершем семь лет назад. См. также в «Сне смешного человека» («Дневник писателя», 1877) слова об умершем брате, во сне хлопочущем по его делам. Предполагаем, что контрастные образы двух друзей Шумкова и Нефедевича в «Слабом сердце» отразили характерные черты Михаила и Федора Достоевских.

[7] *А. М. Достоевский.* Воспоминания. Л., 1930.

нились некоторые отзывы о них брата и общего их друга И. Н. Шидловского. Вероятно, стихотворения имели сентиментальный характер. «Прогулка», «Утро», «Видение матери», «Роза», «Фебовы кони» — вот названия стихов, которыми восхищался Ф. М. Достоевский и называл «прелестными». Не менее восторгался ими Шидловский, сам писавший стихи и имевший влияние на начинающего поэта: «Ей-ей, ваша поэзия,— писал он 17 января 1839 г. М. М. Достоевскому в Ревель,— своим изящным характером возвращает меня к младенчеству, к той чистой природе, чуждой современного суемудрия, байроновского бешеного эгоизма, без которой нельзя войти в царствие божие. Вас одарил всемогущий крепким чудным созерцанием, деятельной фантазией и зиждительной волей, не уроните же всего этого, станьте твердо против всех мелочных искушений, я уже вижу венец, вам предназначенный» [8].

Наиболее обильным стихами и мечтами о поэтическом призвании был тот период жизни М. М. Достоевского, когда он, оторванный от семьи, разлученный с братом, отбывал в Ревеле скучную службу инженерного кондуктора. Однако он мало тяготился одиночеством и нуждою. Живя в мире вымышленных образов, презирая «эти физические радости, это грязное счастье, в котором сердце и ум лежат спеленутыми в жалком усыплении», он почти не замечал окружающей действительности. Считая, что дух избранника лишь ярче разгорается под гнетом страдания, он не сомневался в том, что он один из таких избранников, посвященных на служение поэзии. Жуковский и в особенности Шиллер были его главнейшими вдохновителями и образцами. В 1838 г. он писал отцу: «Как сладко, как отрадно задуматься над Шекспиром, Шиллером, Гете! Чем оценятся эти мгновения!.. Пусть у меня возьмут все, оставят нагим меня, но дадут мне Шиллера, и я позабуду весь мир!»

Шиллер, как поэт, мыслитель и теоретик искусства, сыграл громадную роль в выработке мировоззрения М. М. Достоевского. Слова Ф. М. Достоевского о Шиллере — «Да, Шиллер действительно вошел в плоть и кровь русского общества, особенно в прошедшем и в запрошедшем поколении. Мы воспитались на нем, он нам родной и во многом отразился на нашем развитии» («Время», июль 1861) — еще больше, чем к самому автору, относились к его брату. И за пять лет до смерти Ф. М. Достоевский вновь писал о Шиллере: «У нас он вместе с Жуковским в душу русскую всосался, клеймо в ней оставил, почти период в истории нашего развития обозначил» [9].

В начале 1842 г. двадцатидвухлетний поэт женился на ревельской уроженке Эмилии Федоровне Дитмар, и с этих пор борь-

---

[8] Письмо И. Н. Шидловского. Отдел рукописей Гос. биб-ки им. Ленина, ф. 93.

[9] «Книжность и грамотность», статья первая.— *Достоевский,* т. XIII, «Дневник писателя», 1876.

ба за существование молодой семьи взяла весь запас сил и разменяла их на «мелкие прозаические грошовые заботы». Удаленный от центров русской литературной жизни, занятый обязанностями своей инженерной службы и заботами о семье, М. М. Достоевский был поставлен в самые неблагоприятные условия для продолжения литературных занятий. Однако он не оставил их. Прекрасно овладев немецким языком за пятилетие семейной жизни в Ревеле (1842—1847), он занимался переводами из Шиллера и Гете, многие из которых были позднее напечатаны. Он продолжал следить за новой литературой, много читал, что видно из его писем к брату.

Федор Михайлович, переживший за эти годы свое триумфальное вступление в русскую литературу, настойчиво стремился оторвать брата от ревельской службы и ввести в свою петербургскую жизнь. Его настояния имели успех, и к концу 1847 г. М. М. Достоевский подал в отставку, покинул временно семью в Ревеле и поселился в Петербурге. Он быстро втянулся в круг знакомств и интересов брата, что показывает его соответствующую подготовку, и немедленно принялся сам за литературную работу.

Его переводы из Шиллера и Гете были признаны образцовыми и тотчас нашли место на страницах наиболее солидных журналов. Однако дальнейшая его литературная деятельность приняла иной характер: через три-четыре месяца по приезде в Петербург он выступил в качестве беллетриста и критика. Современная критика зачислила М. М. Достоевского в круг подражателей его брата, вместе с Плещеевым, Бутковым и Крешевым, и говорила о их «фантастически сентиментальном роде повествований», с особым интересом разрабатывающих «психологическую историю помешательства».

Действительно образы Девушкина, Вареньки, Голядкина в том или ином виде варьируются в рассказах Михаила Михайловича, повторяя многие ситуации из «Бедных людей» и «Двойника». Но в изображении «маленького человека» за сентиментально-юмористическим повествованием не ощущается ни авторскаго сочувствия, ни возмущения той действительностью, которая создает искаженный, жалкий человеческий облик. Как и большинство второ-третьеразрядных повестей «натуральной школы», рассказы М. М. Достоевского перегружены описательно-бытовым элементом, внешними подробностями, а действие их развертывается по уже установившемуся шаблону «чиновничьей повести».

В сущности М. М. Достоевский мало мог знать петербургский чиновничий быт, его психологию и вкладывать в свое повествование что-либо новое и оригинальное. А главное — ему совершенно была чужда страстность, горячая заинтересованность и отсюда особая стремительность повествования, так свойственные Ф. М. Достоевскому. Его постоянный тон — тон постороннего юмористически настроенного наблюдателя. Отзывы журналов вскрыли

слабость начинавшего беллетриста и, вероятно, сыграли значительную роль в том, что он скоро отказался от художественного творчества.

В своем некрологе брату Ф. М. Достоевский писал по этому поводу: «Когда-то, в молодости своей, он занимался даже художественной литературой. Он написал несколько повестей и рассказов. Их хвалили, и в них, действительно, были признаки таланта, особенно в одном небольшом рассказе, помещенном в «Отечественных записках» в 48 году. Но некоторый успех, приобретенный им с первого разу, не соблазнил Михаила Михайловича. Всегда строгий и требовательный к самому себе и не признавая в себе решительного творчества, он перестал писать. Этот трезвый, даже несколько гордый взгляд на свои литературные труды весьма редко встречается в молодых начинающих писателях; а Михаил Михайлович, по моему личному мнению, был уж слишком строг к трудам своим. Несколько более ценил он свои переводы из Шиллера и Гете... Впрочем, брат мой никогда и ни с кем не заговаривал о своих литературных трудах».

Ко времени беллетристической деятельности М. М. Достоевского относятся события, которые сломали жизнь его брата и до известной степени повлияли и на будущее Михаила Михайловича. Последний был введен в кружок Петрашевского, брал книги из его библиотеки и стал, по словам Ф. М. Достоевского, «самым страстным, самым преданным фурьеристом». Но, по свидетельству мемуаристов и документам «Дела петрашевцев», он оказался настроенным против тех крайних направлений в кружке, к которым примкнул его брат. И к Фурье он относился иногда критически, заявляя, что «все это не для нас писано». Возможно, что идеи будущего «почвенника» созревали в нем и брали верх над временным увлечением утопическим социализмом. Внутренняя оппозиция и внешняя сдержанность мешали его сближению с будущими петрашевцами. Даже с братом, с которым, по свидетельству современника, он был всегда во всем согласен, у него началось какое-то расхождение во мнениях, особенно обнаружившееся при сближении Ф. М. Достоевского со Спешневым [10].

6 мая 1849 г. М. М. Достоевский был арестован и помещен в крепость. Его арест сильно поразил Ф. М. Достоевского, который считал себя виновным в том, что втянул брата в чуждый ему кружок. В ответах на поставленные Следственной комиссией вопросы Ф. М. Достоевский с исключительной горячностью вступился за брата: «Я говорю это к тому, что брат познакомился с Петрашевским через меня, что в этом знакомстве я виноват, а вместе и в несчастьи брата и семейства его. Ибо если я и другие, в эти два месяца заключения вытерпели только тоску и скуку, то он выстрадал в десять раз более в сравнении с нами:

---

[10] Воспоминания С. Д. Яновского.— «Русский вестник», 1885, кн. 3—4, стр. 816.

он, от природы сложения слабого, наклонен к чахотке и сверх того мучается душой о погибшем семействе своем, которое должно буквально и *неизбежно* погибнуть с тоски, лишений и голода в его отсутствие. И потому этот арест должен быть для него буквально *казнью*, тогда как виновен он менее всех. Я считал себя обязанным сказать это; ибо знаю, что он не виноват ни в чем не только словом, но даже мыслью».

Возможно, эта страстная защита и показания Достоевского, что брат первый высказался против устройства литографии в кружке Дурова и этим повлиял косвенно на других членов, сыграли значительную роль в судьбе М. М. Достоевского. 25 июня он был освобожден, причем Следственной комиссией было установлено, что он «не только не имел преступных намерений против правительства, но даже им противудействовал». При этом было обращено внимание на его болезненное состояние и на то обстоятельство, что арест подорвал его литературный заработок — единственный источник существования для многочисленной семьи. Ему было повелено выдать «в негласное пособие двести рублей серебром» [11].

К периоду «фурьеризма» М. М. Достоевского надо отнести неоконченный им роман «Деньги», до сих пор не привлекавший внимание литературоведов [12]. А между тем это единственное из его произведений, которое этого заслуживает и по своей основной идее, и по связи с творчеством брата. По письмам Ф. М. Достоевского 40-х годов известно, что с ранних лет, в связи со скупостью отца, много тяжелых переживаний будущего писателя было связано с нуждой. Известно, сколько воображения отдавал он на изобретение способа обогащения. Выписывая брата из Ревеля, он надеялся на создание «ассоциации» для этой цели. 16 августа 1847 г. Михаил Михайлович ему с юмором отвечал: «Я могу надеяться привезти в Петербург рублей 200 сер., которые нам с тобой послужат для заложения общего банка. Эти деньги будут началом тех 350 000, которых счастливыми обладателями мы будем, по твоим словам, лет через 10». Заветная идея Подростка не была чужда братьям Достоевским в молодые годы.

---

[11] *Н. Ф. Бельчиков.* Достоевский в процессе петрашевцев, стр. 114, 130—132. «Дело о подпоручике Михаиле Достоевском», 1849.— Ленингр. отд. Центр. историч. архива (ЛОЦИА).

Некоторые исследователи видят в «пособии» вознаграждение М. М. Достоевского за якобы совершенное им предательство брата. По нашему мнению, такое произвольное, ничем не доказанное толкование, чернящее ближайшего к писателю человека, не допустимо и должно быть осуждено. Укажем, что такой же клевете подвергся младший брат, Андрей Михайлович, причем в распространении чернящих слухов участвовал А. А. Краевский. В письме Ф. М. Достоевского 6 июня 1862 г. слухи эти названы «грязными сплетнями мерзких людей» (Письма, т. I, стр. 308).

[12] Рукопись романа была передана мне в 20-х годах дочерью М. М. Достоевского, Екатериной Михайловной, и хранится в настоящее время в Отделе рукописей Гос. биб-ки им. В. И. Ленина.

Начав роман в 1849 г., М. М. Достоевский не спешил его писать, признавая, что новое произведение требует от него «большую сосредоточенность мысли». Он ставил себе задачей вскрыть власть денег над людьми, их психологией, поступками и судьбой в разных слоях общества. С работой над романом совпал новый поворот в характере его деятельности: так как ни журнальная, ни педагогическая деятельность не давала ему возможность обеспечить растущую семью, он решил в 1850 г. сделаться купцом и фабрикантом. Его табачное предприятие было первоначально мизерным и держалось главным образом на личной работе всех членов семьи. Но эта деятельность ввела его в новый мир, где все интересы сводились к барышу и денежным операциям. Постоянная мысль о прибыли и убытке, о долгах и сроке векселям, о возможном банкротстве и долговом отделении — вот что занимало М. М. Достоевского в годы писания романа. Жизнь торгово-промышленных кругов, известную ему еще по московской нечаевской и куманинской родне и наблюдаемую в новой деятельности, он и взял для своего произведения.

Роман М. М. Достоевского дает как бы вертикальный разрез слоя общества, главный смысл которого заключается в наживе. Он представляется ему как бы лестницей, на различных ступенях которой размещаются различно обеспеченные и различно приспособленные к наживе люди. Где-то там вверху, в перспективе, не выходя на сцену романа, действует мир «банкиров и капиталистов, золотопромышленников, биржевых спекулянтов, разного рода заводчиков и фабрикантов». К этому миру изо всех сил стремится один из главных героев романа Нерадов-старший. Он еще новичок и почти нищий в глазах высшего промышленного круга. Однако ум, изворотливость, постоянно направленные на денежные спекуляции мысли постепенно продвигают его кверху. «Спекулянт, делец, барышник... только бы барыш дали, он за всякие дела возьмется»,— так характеризует его главное действующее лицо романа Похлебкин. На высших ступенях лестницы Нерадова покуда только терпят за его ум и полезность (он усиленно работает по делам какой-то компании). Для находящихся на низших ступенях Нерадов является недосягаемым идеалом богача. Его ненавидит, но, конечно, завидует его удаче обедневший Похлебкин, которому случайные условия помешали сделать, в свою очередь, хорошую финансовую карьеру. Он враг Нерадова, пока в зависимости от него, протестует против «кровопийц» и «тянущих жилы» из бедноты, но в душе сам мечтает встать на его место. Когда случай внезапно переносит его на самую верхнюю ступеньку лестницы, он сразу из врага превращается в друга и компаньона Нерадова. Власть денег сказывается в нем еще грубее, еще ярче, чем в Нерадове,— это будущий самодур из комедий Островского.

Бедный, униженный Похлебкин — не последняя ступень на общественной лестнице. Для Нерадова он — ничтожество, лишь

потому достойное внимания, что из него можно извлечь кое-какую пользу, но для еще ниже стоящего Носкова и он — величина недосягаемо крупная и значительная. О «неоплатном» табачном торговце Носкове сам автор говорит, что он «на мудреной лестнице общественной иерархии» занимал самую низкую ступеньку и, «если б Носков был в большой мере одарен от природы здравым смыслом, он давно бы увидел, что ему, Носкову, и семерым потомкам его жить более никак не следовало».

Высший круг капиталистов пользуется деятельностью Нерадова, но в то же время дает ему щелчки, от которых «самолюбие его беспрестанно страдает». Нерадов также, насколько возможно, эксплуатирует Похлебкина и постоянно, сам того не замечая, оскорбляет его достоинство. Те же отношения существуют между Похлебкиным и Носковым: «Если Нерадов каким-то страшным кошмаром тяготел над совестью и душой Похлебкина, то Похлебкин, в свою очередь, точно так же, если даже не больше, тяготел над бедным Носковым. Редко не встречал он его, молчаливого и робкого, каким-нибудь упреком, редко отпускал его без какой-нибудь работы или поручения». Грубость, эксплуатация — таковы взаимоотношения «ступенек лестницы».

В обратной пропорции к денежной обеспеченности, сметливости и оборотистости наделены герои способностью к искреннему чувству. Всех тоньше, чувствительнее, деликатнее именно забитый Носков, много грубее Похлебкин, но и он знает бескорыстные порывы чувства. В Нерадове же полное торжество расчета над чувством: его мораль и совесть отравлены корыстью. В своем благоговении перед деньгами он признается открыто, да и автор говорит о нем: «Все его самолюбие заключалось в деньгах, и все его желания приняли биржевой оттенок».

Только одно лицо романа не находится под всемогущей властью денег. Это дочь Похлебкина — Лиза, которую истинное, большое чувство любви ограждает от их власти. Борьбой чувства с силой денег и победой, очевидно, хотел М. М. Достоевский закончить роман, судя по сохранившемуся конспекту. Но нельзя не признать, что сентиментальная развязка с «детским приютом» и «миллионом не в обороте» плохо вяжется с реалистически правдиво написанной частью романа. Может быть, поэтому так вяло была начата и брошена незаконченной его последняя часть, где должна была торжествовать добродетель и подчинить себе миллион.

И все же это, оставшееся в рукописи произведение Михаила Михайловича заслуживает внимания по многим его связям с творчеством брата, а также как отражение в литературе некоторых черт дореформенного русского капитализма.

Для темы данной книги важно обратиться к предшествующей деятельности М. М. Достоевского как журналиста и критика. Уже в 1848 г. он выступил в журнале «Пантеон и репертуар русской сцены» с двумя подписными статьями в разделе «Петербургский телеграф — Сигналы литературные». Они писались во

время совместной жизни с братом, и, возможно, что Федор Михайлович помогал ему, как новичку, разобраться в петербургской литературной жизни и дать ее обзор. По свидетельству А. П. Милюкова, М. М. Достоевский в 1849 г. вел в «Отечественных записках» внутреннее обозрение. Летом этого же года М. М. Достоевский жаловался брату в письме, что ему надоело писать разборы «разных книг и книжонок». Возможно, что в «Отечественных записках» среди неподписанных обзоров и рецензий за 1849—1850 г. имеются принадлежащие его перу. Очень вероятно, что им написана статья о сочинениях Жуковского в первой книге за 1849 г., так как в ней много совпадений с его же статьей «Жуковский и романтизм», напечатанной за его подписью в «Пантеоне» за 1852 г.

Для характеристики М. М. Достоевского как будущего редактора «Времени» интересно остановиться на рассмотрении напечатанного им в марте 1848 г. введения к «Сигналам литературным», т. е. литературным обзорам, которые он предполагал вести в «Пантеоне» ежемесячно. В первой части введения он выступил убежденным защитником распространения количества журналов, увеличения их авторитета и значения для умственного и нравственного развития общества: «Масса публики выходит уже из своего равнодушного, хаотического застоя, и в нем начинает производиться осадка. Для публики теперь не все равно, что читать,— в ней родились уже некоторые предпочтения и сочувствия, в ней более и более развивается дух критики. Ей не в одинаковой степени нравятся наши журналы; у нее между ними есть свои любимцы, пользующиеся особенною ее благосклонностию. А это факт утешительный!... Не даром же привились они так на почве русской цивилизации. И их упрекают в *поглощении* литературы? Но разве она лучше переваривается в денежных сундуках книжной торговли, чем в журналах, где она служит питанием умов, жаждущих познаний? Журналы, по своей дешевизне для всех доступные, по своей энциклопедичности для всех необходимые, по свежести и современности критического взгляда всем полезные, необходимо должны быть представителями и кладезями словесности народа... Через их посредство литература перестает быть редким плодом, припасаемым только для столов гастрономам, и делается здоровою пищею, от которой крепнут силы целых поколений...».

Далее М. М. Достоевский горячо ратовал за необходимость рассматривать в обзорах литературные произведения не только напечатанные отдельной книгой, но и помещенные в журналах, и не бояться полемики, журнальных споров: «Полемика, разумеется благородная и чисто художественная, чуждая личностей, вещь благодетельная, особенно в еще неустановившейся литературе; тут она является как сила, агент, движитель, и потому вовсе не следует избегать ее. Пусть только она будет честна, искренна и бескорыстна, пусть бойцы не стыдятся признать себя по-

бежденными, если их приговор окажется несогласным с приговором истины,— и тогда полемика будет торжеством всех литературных усилий...».

Эта установка на рассмотрение журналами помещенных в других журналах статей, приветствие журнальной полемики, как средства установления истины, перешла полностью в «Объявление» о журнале «Время», в котором читаем:

«Наш журнал не будет иметь никаких нелитературных антипатий и пристрастий. Мы даже готовы будем признаваться в собственных своих ошибках и промахах, и признаваться печатно... Мы не уклонимся и от полемики. Мы не побоимся иногда немного и «пораздразнить» литературных гусей... Особенное внимание мы обратим на отдел критики. Не только всякая замечательная книга, но всякая замечательная литературная статья, появившаяся в других журналах, будет непременно разобрана в нашем журнале. Критика не должна же уничтожиться из-за того только, что книги стали печататься не отдельно, как прежде, а в журналах».

Но не только взгляд на задачи журнала, выраженный в разбираемой статье М. М. Достоевского, интересен для его будущего редакторства. В ней интересно также изложенное автором его «profession de foi в деле искусства», предпосланное им разбору литературных произведений.

М. М. Достоевский делит искусство на «чистое или вечное» и «догматическое или временное». Первое «с беспристрастным спокойствием, ничего не доказывая и ничего не отрицая», «не жертвует никаким современным вопросам», второе «обрекает себя на служение господствующим идеям в данное время» и подчиняется потребностям века, требующего пользы от науки и искусства. Так как идеи умирают вместе с поколениями, то умирают и произведения, ими созданные, но зато при своей жизни они имеют общий успех, поднимают современные вопросы, двигают вперед целое общество. «В этом смысле они приносят человечеству бóльшую пользу, чем произведения чистого искусства». Но и «вечное» искусство М. М. Достоевский не рассматривает как нечто отрешенное от действительной жизни. Именно оно, не заботясь об идеях, «имея дело с *жизнью*, бывает всегда верно изображаемой действительности» и не может не носить «непременный отпечаток современности», а вместе с нею в создании проглянет и идея, «потому что идея, как движение, присуща жизни». «Из всего этого видно, что критериум подобных произведений «чистого искусства» состоит, во-первых, в оценке: верно ли воспроизведена в них действительная жизнь и как глубоко взглянул автор в ее разнообразные явления, а. во-вторых, насколько типичны созданные им характеры. Стало быть, произведение тем выше, чем истиннее изображаемая им жизнь, чем типичнее и общечеловечнее характеры».

Как видим, многое из критических идей Белинского было усвоено М. М. Достоевским, хотя он старательно отстранялся от

идейно-осознанного направления творчества, от «тенденции», и, кроме того, совершенно иное содержание вкладывал в понятие «чистое искусство», чем то, которое было осуждено Белинским. Если же сопоставить это эстетическое profession de foi М. М. Достоевского со статьей его брата во «Времени» 1861 г. «Г.—бов и вопрос об искусстве», то общее их зерно совершенно очевидно: подлинное искусство есть именно искусство, наиболее художественно воспроизводящее современную жизнь, свободное от обязательств, накладываемых на него «догмой», «направлением»; именно оно является, в высшем и более глубоком смысле, полезным человечеству, так как служит воспитанию и усовершенствованию его духовных сил.

Еще в 1848 г. М. М. Достоевский перевел статью Шиллера «Ueber naive und sentimentalische Dichtung». Основные положения этой статьи послужили отправным пунктом для эстетических рассуждений М. М. Достоевского, особенно в его статье 1852 г. «Жуковский и романтизм». Статья эта обратила на себя внимание, на нее появились отзывы в «Москвитянине» и «Отечественных записках». Противопоставление идеализма и реализма как основных начал двух различных мировоззрений, воплощенных в двух противоположных типах людей, их связь с двумя видами поэзии — все это, изложенное Шиллером, находит свое развитие у М. М. Достоевского. Надо отметить, что и начало той связи с учением Шиллера, которую исследователи находят в эстетике Ф. М. Достоевского, надо искать в воздействии его брата, убежденного шиллерианца, «последнего из романтиков», как он сам себя называл с горькой иронией над своей судьбой.

Нам ничего неизвестно об участии М. М. Достоевского в литературно-общественной жизни в течение 1852—1860 гг., когда торгово-промышленная деятельность захватила его силы и время. Но можно уверенно сказать, что связи с ней он не порывал: это подтверждает его проект издания журнала в 1858 г., о чем скажем далее, а также его выступление в начале 1860 г. в новом журнале «Светоч», руководимом А. П. Милюковым, давним другом обоих братьев Достоевских. В первый уже номер «Светоча» М. М. Достоевский дал перевод «Боги Греции (Из Шиллера)», а в третий «Последний день приговоренного к смерти (Из Виктора Гюго)». Через восемь лет память о последнем произведении вызвала у Ф. М. Достоевского в романе «Бесы» сцену, предшествующую самоубийству Кириллова [13].

---

[13] *В. В. Виноградов.* «Последний день приговоренного к смерти» (Конец Кириллова).— «Достоевский». Однодневная газета Рус. библиологического об-ва, 1921.

Отметим, что В. В. Виноградов сопоставлял текст Достоевского с текстом русского перевода Гюго 1830 г. Есть все основания думать, что Достоевский или имел перед собой перевод брата или французский подлинник.

Если названные переводы могли быть сделаны автором ранее, то напечатанная в третьей же книжке «Светоча» большая (2 печ. л.) статья о «Грозе» Островского, последнем крупнейшем явлении русской литературы, на которое откликнулись многие журналы, свидетельствует, что М. М. Достоевский шел в ногу с временем, и редакция имела основание доверить ему эту ответственную статью. Она появилась до статьи Добролюбова «Луч света в темном царстве», но после статьи «Темное царство» и скрыто полемизировала с ней.

М. М. Достоевский начал статью с разбора отзывов об Островском славянофилов и западников и отрицал его принадлежность к тем или другим: «Г. Островский, может быть, единственный писатель, не поклонившийся ни которой из враждовавших партий, а между тем... одна из них видела в нем почему-то своего адепта, а другая негодовала на него за это». По своей старой схеме М. Достоевский относил творчество Островского к «чистому искусству»: «Талант нашего драматурга по преимуществу объективный и художественный. По таланту своему он адепт чистого искусства... Поэзия, за исключением разве мелких сцен, всегда была присуща как главная стихия произведениям г. Островского».

Уверенный в том, что появится ряд статей, которые будут доказывать, что Островский в «Грозе» хотел разоблачить патриархальные нравы и домашний деспотизм и показать результат их действия на пылкие натуры, жаждущие прогресса, М. Достоевский называл такое объяснение пошлым, а такую идею ограниченной. У Островского была не одна, а много идей: «Чем жизненнее это создание, тем обильнее оно и этими идеями и этой моралью, потому что родник их есть все же вечно сущая жизнь». Нужно, однако, отметить, что М. Достоевский тут же спешил оговориться, что не только не осуждает идейные произведения, но и приветствует их: «Мы нисколько не хотим порицать произведений, созданных под влиянием известной идеи. Если идея светла и гуманна, если произведение запечатлено талантом, то оно будет не менее прекрасно и не менее долговечно».

Но М. Достоевский не мог согласиться с тем, что самоубийство Катерины вызвано преследованием, давлением на нее среды, он отрицал социологические выводы в анализе проблемы «самодурства». Не так силен деспотизм Кабанихи и Дикого, с ним прекрасно уживаются другие персонажи, а гибнет одна Катерина, которая погибла бы и без деспотизма: «Это жертва *собственной чистоты и своих верований»*. «Трагизм» заключается в «непреклонности ее верований» и измены им по слабости характера. В анализе характера Катерины и ее судьбы М. Достоевский обращается к анализу русского характера, его отличительных свойств, вскрываемых Островским.

В этой статье М. Достоевского впервые (по сравнению с его литературным наследием конца 40-х — начала 50-х годов) звучат

характерные для будущих его журналов «почвеннические» идеи. Они звучат и в общей его оценке творчества Островского и в анализе образа Катерины. Островский взял «невзрачный материал для своих пьес», «но зато этот материал есть весь наш народ, а народ, взятый во всей его полноте, во всей его всеобъемлемости, есть *все*». В нем, а не вне его все силы, все пружины его будущего развития. В нем вся будущая заслуга его перед человечеством, и, смотря с этой точки зрения, «изображение чисто народных типов может быть важнее изображения всевозможных общечеловеческих идеалов».

В Катерине М. Достоевский видит черты характера русской женщины: полюбив, она уже знает, что падет, и знает, что не перенесет своего падения, знает, что погибнет... «Опять русские мотивы. Она с каким-то сладострастием, с какою-то удалью думает уже о той минуте, когда все узнают об ее падении, и мечтает о сладости всенародно казниться за свой проступок. Какой же после этого деспотизм мог иметь влияние на подобную натуру... Чем более позора, чем более стыда, тем легче станет на душе у ней... Нам особенно нравится, что эта сцена (покаяния) случилась на площади, в присутствии посторонних, на месте, где, кажется, уже никак нельзя ожидать подобных явлений, одним словом — случилась при самых враждебных и неудобных для нее обстоятельствах».

Статья М. М. Достоевского о «Грозе», написанная в начале 1860 г., дает много материала, чтобы судить о будущем редакторе «Времени». Он имел достаточно данных, чтобы вести не только материально-организационную часть изданий, но и активно воздействовать на их идейную направленность, содействовать той или иной из позиций в разноголосном «концерте» современной журналистики. И прежде всего надо отметить, что к приезду Ф. М. Достоевского из Сибири уже проводил «почвеннические» тенденции, конечно, независимо от убеждений, к которым пришел его брат. М. М. Достоевский пришел к ним своими путями, как писал о том Ф. М. Достоевский в некрологе: «Когда-то, в молодости своей, он был самым страстным, самым преданным фурьеристом. Процесс обращения от беспочвенного, отвлеченного верования к чисто русскому общению, к русскому родному верованию произошел в нем органически, нормально, как всегда бывает с людьми действительно одаренными жизненностью».

Глава II

Организация журнала «Время»

Исследователями высказывалось мнение, что замысел М. М. Достоевского издавать журнал объяснялся желанием предоставить брату по возвращении из Сибири возможность печатать свои произведения независимо от оценок и требований, с которыми к ним отнеслись бы редакции посторонних журналов. Изучение дошедшей до нас переписки братьев, хотя и не сохранившейся полностью, скорее пртиворечит, чем подтверждает это предположение.

Действительно с 1856 г. в письмах Ф. М. Достоевского все более и более места занимают сведения о его творческой работе, как в области художественной, так и в критико-публицистической. Уже 13 января 1856 г. он писал брату: «Я хочу писать и печатать. Более чем когда-нибудь я знаю, что я не даром вышел на эту дорогу и что я не даром буду бременить собою землю...» В приписке к тому же письму он сообщал, что у него задумана «патриотическая» статья о России. Свои планы в области критики и публицистики он раскрыл в письме к А. Н. Майкову, от 18 января 1856 г., а в конце этого года А. Е. Врангелю писал, что у него «готового для печати *с лишком* на 1000 руб. сер.». «Материалу в 7 лет накопилось у меня много, мысли мои прояснели и установились, и теперь, когда каждый несет лепту свою на общую пользу,— не откажут и мне быть полезным... А если позволят печатать — я уверен в 600 руб. в год». С конца 1857 г. в письмах Достоевского множество упоминаний о творческих замыслах, незаконченных романах, начатой повести, о задуманных «Письмах из провинции» и «ряде сочинений о современной литературе».

С начала 1858 г. начинается обсуждение в письмах к брату, где и как печатать будущие произведения, и, без посредства брата, самостоятельное общение с «Русским вестником» о помещении там еще незаконченного романа. Сношения М. М. Достоевского в 1858—1859 г. с редакциями «Современника», «Отечественных записок», «Русского слова» подтверждают, что редакции ряда журналов были заинтересованы в сотрудничестве Достоевского и ему вовсе не грозила возможность остаться без печатной трибуны.

Между тем в четырех десятках печатных страниц текста писем Ф. М. Достоевского брату с 1855 до середины 1858 г. нет намека на издание своего журнала. В несохранившихся письмах М. М. Достоевского за это время, очевидно, содержались жалобы на плохое состояние его фабрики и торговли, на что Ф. М. Достоевский еще 21 августа 1855 г. писал ему из Семипалатинска: «Знаешь ли, я так много думаю о твоих торговых предприятиях. Неужели же они не вознаградят тебя за все то, что ты бросил для них (литературу, службу, занятия, более сообразные с твоим характером)? Вот уже несколько лет, как у тебя фабрика, и что же, есть ли хоть положительные надежды на будущее? А, между прочим, время уходит, дети растут, расходы увеличиваются».

Несомненно, М. М. Достоевский сообщал брату и о журнальной жизни столицы, и в этом отношении очень интересен ответ ему брата от 18 января 1858 г. Очевидно, Михаил Михайлович писал ему о замысле Кушелева-Безбородко издавать журнал «Русское слово», для которого в это время энергично подбирались сотрудники и материалы: «Ты пишешь о «Русском слове». Положим, что идея барская хороша; что капитал для вспомоществования образуется. Но неужели деньгами можно создать редакцию? А без редакции и без оригинальности журнал вздор! Не знаю кого-то он наймет в редакторы? но я что-то плохо верю в успех «Русского слова». Как Альманах журнал, может быть, некоторое время будет хорош».

В этом же письме мы находим свидетельство о журнальном замысле М. М. Достоевского, на который он только намекал брату, но не раскрывал его вполне. Ф. М. Достоевский так откликнулся па планы брата: «Теперь еще: ты пишешь мне в первом письме, что тебе нужна будет в будущем году моя повесть. Потом в других письмах упоминаешь, что у тебя до меня есть дело (вероятно, то же самое). Очень пеняю тебе, зачем ты не пишешь подробно, т. е. что ты хочешь издавать, с кем и как? Насчет повести будь уверен: даю слово, будет. Развязавшись с большим романом, я как будто вновь окрылился: кончу для Русского вестника, потом для Слова, и времени будет еще много. Только напиши мне обо всем подробнее» [1]. Но М. М. Достоевский не выполнил просьбу брата, долго ничего не писал ему и вызвал сильное беспокойство. Вероятно, только в августе он послал брату письмо с сообщением о предполагаемом издании и его план, так как ответ Федора Михайловича относится к 13 сентября 1858 г.

19 июня этого года М. М. Достоевский представил в С.-Петербургский Цензурный комитет следующее прошение: «Желая издавать политический и литературный журнал под названием «Время» по прилагаемой программе, имею честь просить С.-Петербургский Цензурный Комитет об исходатайствовании мне доз-

---

[1] Письма, т. I, стр. 165—166, 183—184, 205; т. II, стр. 559, 564, 579, 586, 589.

воления на это издание. При сем прилагаю: 1) Указ об отставке и 2) Свидетельство в удостоверении моей способности быть редактором журнала.

Отставной инженер-подпоручик М. Достоевский».

Программа, представленная М. М. Достоевским в 1858 г., очень мало чем, кроме сроков выпуска и размеров издания, отличалась от программы «Времени» 1861—1863 гг. Приводим первую программу полностью:

«Программа журнала «Время».

Политическое и литературное обозрение.

Журнал сей имеет выходить один раз в неделю и издаваться по следующей программе:

1. Внутренние новости: Распоряжения Правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.

2. Новости иностранные: Политическое обозрение, известия последней почты, политические слухи; письма иностранных корреспондентов.

3. Отдел литературный:

a) Повести, рассказы, мемуары и т. п.

b) Фельетон.

c) Критика и библиографические заметки как о русских книгах, так и об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.

d) Статьи ученого содержания.

4. Смесь.

5. Статьи юмористического содержания, с политипажами.

6. Приложения, состоящие из переводных романов, эстампов и проч.

Каждый номер журнала будет заключать от трех до четырех печатных листов» [2].

Отклик Ф. М. Достоевского на сообщенную ему братом программу журнала показывает, что никакого участия он в ее выработке не принимал, и видел во всем предприятии дело именно брата, а не общее дело. После сетований на долгое молчание брата, после рассказа о своих финансовых делах и планах он продолжал: «Твоя газета, о которой ты мне писал, вещь премилая. У меня давно уже вертелась в голове мысль о подобном издании, но только чисто литературной газеты. Главное: ли-

---

[2] «Дело С.-Петербургского Ценсурного комитета № 94. О дозволении отставному инженер-подпоручику М. М. Достоевскому издавать журнал под названием «Время».

Интересно отметить, что когда вопрос о дозволении был представлен Александру II, то последним собственноручно на представлении было написано: «Желаю прежде знать, не тот ли, что был замешан по истории Петрашевского?»— на что последовало разъяснение по делам III Отделения со сведениями о Михаиле и Федоре с 1849 по 1857 г. и сообщение, что III Отделение препятствий к разрешению издания журнала не имеет.

тературный фельетон, разборы журналов, разборы хорошего и ошибок, вражда к *кумовству*, так теперь распространившемуся, больше энергии, жару, остроумия, стойкости — вот чего теперь надо! Я потому так горячо говорю это, что у меня записано и набросано несколько литературных статей в этом роде: на прим. о *современных поэтах,* о *статистическом* направлении *литературы,* о бесполезности *направлений* в искусстве,— статьи, которые писаны задорно и даже остро, а главное легко. Но только вот что: неужели ты будешь издавать газету? Ведь это дело не легкое при фабрике-то? Смотри, брат. Второе дело: в Петербурге я жить никогда не буду, а потому трудно будет мне помогать тебе! Но уж, разумеется, я буду тебе помогать — если только сам того захочешь» [3].

Как видим из этого отклика Ф. М. Достоевского на сообщение брата, он не принимал участия в разработке плана издания «Времени», а свое участие в нем рассматривал как помощь брату в трудном деле. Никакой речи об издании журнала специально для публикации произведений Ф. М. Достоевского не было и не могло быть.

Мы можем представить себе, что вызвало в М. М. Достоевском решение издавать журнал. Его коммерческое предприятие шло плохо, росла конкуренция, а его капитал был слишком слаб, чтобы с нею соперничать. По существу коммерческая деятельность ему была чужда, была насилием над собой, так как он продолжал тянуться к литературным интересам. Атмосфера второй половины 50-х годов с ростом общественного движения, появлением многочисленных новых периодических изданий, среди участников которых было много старых друзей М. М. Достоевского, наводила на мысль о возможности самому включиться в журнальную деятельность, внеся в нее и свой недолгий опыт сперва журналиста, а потом дельца-предпринимателя. Память о помощи брата, вероятно, играла значительную роль, но, судя по программе, Михаил Михайлович не предполагал замыкаться в литературные рамки: его журнал предполагался не только литературным, но и политическим, что требовало широкого состава будущих сотрудников.

26 июня 1858 г. прошение М. М. Достоевского было переправлено в Главное управление цензуры (за подписью П. А. Плетнева) с указанием, что Цензурный комитет находит «программу издания журнала «Время» сообразною с целью издания» и «не встречает препятствий». 31 октября министр народного просвещения Е. Ковалевский уведомил о согласии царя на издание указанного журнала М. М. Достоевским, а 4 ноября ему был препровожден билет на представление корректурных листов журнала цензору, причем цензором журнала был назначен И. А. Гончаров.

---

[3] Письма, т. II, стр. 593.

Прося у брата в 1858 г. к «будущему году» повесть, М. М. Достоевский, очевидно, собирался издавать журнал с 1859 г., т. е. не ожидая возвращения брата из Сибири. Однако он не воспользовался полученным разрешением ни в 1859, ни в 1860 гг. Одной из причин была его серьезная болезнь весной 1859 г. («был так близок к смерти»), возможно, финансовые осложнения, но, конечно, и ожидание приезда Федора Михайловича, который уполномочил брата на переговоры с четырьмя редакциями. Эта интенсивная деятельность М. М. Достоевского в 1859 г. в связи с публикацией произведений брата обогащала его литературными связями и знакомством с редакционной жизнью наиболее крупных современных журнальных изданий.

Вопрос об издательской деятельности несомненно обсуждался братьями при встречах в Твери в конце 1859 г. В письмах к Ф. М. Достоевскому из Москвы в Тверь А. Н. Плещеев писал 27 октября этого года: «Вы говорите, что будете с братом издавать газету. Это дело; но если вы теперь не пустите программу — и начнете газету после января, то это будет величайший промах... Участие мое в «Вестнике» не мешает мне участвовать и у вас. Я готов с удовольствием служить, чем могу» [4]. Из этих слов Плещеева ясно, что речь шла о еженедельном издании («газеты»), как планировал ранее М. М. Достоевский, и что братья уже заботились о привлечении сотрудников.

Но вместе с тем окончательного решения братья, очевидно, еще не приняли, так как через две недели после письма Плещеева Ф. М. Достоевский писал брату: «Смотришь на других: ни таланту, ни способностей, а выходит человек в люди, составляет капитал. А мы бьемся, бьемся... Я уверен, например, что у нас с тобой гораздо больше и ловкости, и способностей, и знания дела, чем у Краевских и Некрасовых. Ведь это мужичье в литературе. А между прочим они богатеют, а мы сидим на мели. Ты, например, начал свою торговлю. Сколько труда-то, а какие результаты? Что ты нажил? Еще слава богу, что жил чем-нибудь да детей воспитал. Торговля же твоя дошла до известной точки и остановилась. Это грустно для человека со способностями. Нет, брат, надо подумать, да еще и серьезно; надо рискнуть и взяться за какое-нибудь литературное предприятие,— журнал, например... Впрочем об этом подумаем и поговорим вместе. Дело еще не ушло» [5].

Это было написано 12 ноября 1859 г. В конце декабря состоялся переезд Ф. М. Достоевского в Петербург, и здесь в первые же месяцы 1860 г. оба брата вместе обсудили и решили вопрос об издании журнала. Этому способствовал тот круг людей, среди которого протекала их жизнь.

Уже во время пятимесячной жизни в Твери началось для

---

[4] «Литературный архив», № 6, 1961, стр. 262.
[5] Письма, т. II, стр. 585, 603, 605, 608, 611; т. I, стр. 263, 286.

Достоевского сближение с новой Россией, какой она стала к концу 50-х годов. Изъятый из Петербурга в самую глухую пору николаевского царствования, лишенный в течение десяти лет не только личного общения с передовыми кругами русского общества, но и возможности следить за его жизнью по печатным изданиям, Достоевский болезненно переживал эту духовную изоляцию, понимал невозможность своего включения в общую жизнь, пока не овладеет пропущенным. «Ты понять не можешь, брат, что значит переговариваться хотя бы о литературных делах заочно, писать — и не иметь даже необходимых книг и журналов под рукой. Хотел, было, я под рубрикой «писем из провинции» начать ряд сочинений о современной литературе. У меня много созревшего на этот счет, много записанного, и знаю, что я обратил бы на себя внимание. И что же: за недостатком материалов, т. е. журналов за последнее десятилетие — остановился». Ощущение своей оторванности вызывало в Достоевском особую мнительность в отношении к оценке своих сибирских произведений «Села Степанчикова» и «Дядюшкина сна». Живя в Сибири, он мог только догадываться, как стала не похожа русская общественная жизнь на ту, которую он отображал в раннем творчестве. Пребывание в Твери начало заполнять десятилетний разрыв: не только книги, журналы и местное общество, но ряд старых друзей, посетивших его здесь, помогали включению Достоевского в сложные общественные отношения и настроения.

Одним из них был петрашевец А. Н. Плещеев, который, недавно вернувшись из ссылки в Оренбург и фактически редактируя еженедельную газету «Московский вестник», общался с кругом «Современника» и другими журналами. Он мог о многом информировать Достоевского, больше, чем кто-либо другой, понимая его потребность «встать с веком наравне». Какого же рода была эта информация, можно представить себе по письмам Плещеева, написанным в месяцы первых встреч с Достоевским и отражающим разные стороны текущей жизни: 20 января 1860 г. Плещеев писал: «На днях я ездил в Петербург — там бог знает, что толкуют; кто в лес, кто по дрова — и не разберешь. Крестьянский вопрос подвигается медленно, и никто наверное не знает, как он разрешится... Положение дел не утешительное. Две партии резко обозначились: 1-ая — плантаторская, 2-ая — бюрократическая. Одна действует во имя узких сословных интересов, другая — либеральничает, не зная России, и сочиняет проекты чисто кабинетные, неприложимые, и, того гляди, отдаст бедного мужика на жертву чиновничьему грабежу, что также стоит помещичьего произвола. Третья партия — старческая, придворная, соединяющая в себе все дурное обеих тех партий и лежащая, как бревно, на пути преобразований. Откуда же ждать спасения?..».

25 января Плещеев сообщает: «В Петербурге очень успешно действует общество Литературного фонда... Оно уже имеет

довольно значительные суммы и назначило много пенсий. Одна из первых, между прочим, положена 70-летнему сыну Радищева, другая — декабристу Штейнгелю». Далее Плещеев сообщал об успехе публичных чтений и о петрашевце Спешневе, вернувшемся в Петербург. В февральских и мартовских письмах он сообщал об арестах в Киеве и Харькове студентов и профессоров: «Казематы наполнены харьковскими студентами. Никто положительно не знает, какая была история, но следствие производится. Говорят, они заподозрены в сношениях с Герценом».

Особенно волнует Плещеева и затрагивает как редактора деятельность цензуры: «Цензура становится со дня на день все хуже и хуже. В Петербурге свирепствует Медем, глухой идиот, который говорит, что надо подавить литературу, иначе будет революция...» «В Петербурге не шутя начинается la terreur blanche. Репрессивные меры в полном разгаре, по крайней мере в области литературы... что делает цензура — уму непостижимо...». «Не сомневаюсь в благих намерениях... царя, но он окружен людьми, представляющими ему все в превратном виде, и повсюду видящими фантомы революции, которую разве они же сами могут накликать своими репрессивными мерами...» [6].

Другим журналистом, помогавшим Достоевскому войти в петербургскую литературно-общественную жизнь, был также его старинный, связанный с петрашевцами друг, А. П. Милюков. Он вместе с М. М. Достоевским провожал Федора Михайловича в момент увоза его из Петропавловской крепости в Сибирь в декабре 1849 г., он же с Михаилом Михайловичем встретил его на вокзале железной дороги при въезде из Твери в Петербург в декабре 1859 г. Милюков так вспоминал позднее последовавшее за встречей время: «После того виделись мы почти каждую неделю. Беседы наши в новом небольшом кружке приятелей во многом уже не походили на те, какие бывали в Дуровском обществе. И могло ли быть иначе? Западная Европа и Россия в эти десять лет как будто поменялись ролями: там разлетелись в прах увлекавшие нас прежде гуманные утопии и реакция во всем восторжествовала, а здесь начинало осуществляться многое, о чем мы мечтали и готовились, или совершались реформы, обновлявшие русскую жизнь и порождавшие новые надежды. Понятно, что в беседах наших не было уже прежнего пессимизма».

О кружке, собиравшемся у Милюкова еженедельно по вторникам, оставил воспоминания Н. Н. Страхов, которого встречи в этом кружке и сблизили с Достоевским. По истории своего развития и окружению далекий от среды учеников Белинского и бывших петрашевцев, преданный немецкой идеалистической философиии, Страхов так охарактеризовал по существу враждеб-

---

[6] Письма А. Н. Плещеева к Е. И. Барановскому 1860 г.— Сб. «Шестидесятые годы», стр. 456—462.

ную ему направленность кружка Милюкова, который он, тем не менее, старательно наблюдал и изучал. «Направление кружка сложилось под влиянием французской литературы. Политические и социальные вопросы были тут на первом плане и поглощали чисто художественные интересы. Художник, по этому взгляду, должен следить за развитием общества и приводить к сознанию нарождающееся в нем добро и зло, быть поэтому наставником, обличителем, руководителем; таким образом, почти прямо заявлялось, что вечные и общие интересы должны быть подчинены временным и частным... Дело художественных писателей полагалось главным образом в том, чтобы наблюдать и рисовать различные типы людей, преимущественно низкие и жалкие, и показывать, как они сложились под влиянием *среды*, под влиянием окружающих обстоятельств». Называя эти наблюдения «физиологическими» и видя их истоки в литературе 40-х годов, Страхов все же отдавал им должное: «В основании этого настроения, конечно, лежало прекрасное чувство, гуманность, сострадание к людям, попавшим в трудное положение, и прощение им их слабости... Поэтому литературный кружок, в который я вступил, был для меня во многих отношениях школою гуманности».

У Страхова, последователя «немецкой теории *свободы художника*», вызывали удивление разговоры в кружке «о современном значении литературных явлений и об усилиях уловить последнюю и новейшую черту в общественной жизни. Федор Михайлович был также чрезвычайно этим занят». Хотя далее Страхов много говорит о сложности дальнейшего развития взглядов Ф. М. Достоевского на искусство, ясно, что в эти первые месяцы он увидел в нем продолжателя гоголевской традиции: «При первом знакомстве он оказался величайшим поклонником Гоголя и Пушкина и безмерно восхищался ими с художественной стороны... Гоголь был в конце пятидесятых годов еще в свежей памяти у всех, особенно у литераторов, употреблявших беспрестанно в разговоре его выражения... Сам же Федор Михайлович... не только воспитался на Пушкине и Гоголе, но и постоянно ими питался».

Не только Милюковский кружок, но и самый редактируемый Милюковым журнал сыграл свою роль в замысле будущего журнала братьев Достоевских. Близость с Милюковым, особенно М. М. Достоевского, вводила его в практику организации редакции и ведения издания. Привлеченные «Светочем» сотрудники, их более или менее удачное участие в журнале позволяло Достоевским намечать будущих сотрудников для своего журнала. Н. Н. Страхов так рассказал о своем сближении с Достоевским: «В «Светоче» шел ряд небольших моих статей натурфилософского содержания, и они обратили на себя внимание Федора Михайловича. Достоевские уже собирали тогда сотрудников: в следующем году они решились начать издание *толстого* ежемесячного журнала «Время» и заранее усердно приглашали меня работать

в нем»[7]. Не только Страхов, а более десятка участников «Светоча» были в дальнейшем завербованы Достоевскими в сотрудники своего журнала. Вот их перечень: Н. Бунаков, Н. Гербель, Ап. Григорьев, Г. Данилевский, В. Крестовский, Ап. Майков, Л. Мей, А. Милюков, Д. Минаев, А. Плещеев, Я. Полонский, В. Попов, А. Разин, Н. Соколовский, Н. Страхов, В. Яковлев, а может быть, и еще те авторы, которых «Светоч» печатал без обозначения фамилии.

Самая программа «Светоча» была близка будущему «Времени». Назывался он «Учено-литературный журнал» и состоял из разделов: 1. Изящная словесность. 2. Ученая литература. 3. Критическое обозрение русской литературы. 4. Современное обозрение: хроника событий в России; хроника иностранных событий, петербургская летопись. Журнал имел символическую виньетку: памятник Петру (Медный всадник) на фоне Красной площади, Кремля и Василия Блаженного. В объявлениях о своей программе редакция заявляла, что целью журнала будет примирение партий Востока и Запада, ликвидация разрозненности в обществе, «очеловечение», «преобразование нашей общественности на началах прочных и разумных». Восточники «нам близки как деятели, на знамени которых начертано: *любовь к народу и внутренняя связь с ним.* Западники же нам близки как *жаждущие прогресса*, а потому и соединения нашего с просвещенным Западом». Но редакция оговаривалась, что ее «любовь к народу» не будет мириться с его недостатками и предрассудками, а любовь к прогрессу не поведет ее по пути, пройденному больной Европой, потерявшей физические и нравственные силы.

Уже первый год издания «Светоча» (1860) показал его слабость как журнала. Если первые книги его были довольно серьезно и разносторонне составлены, то к концу года содержание становится все однообразнее и скучнее, целые разделы начинают отсутствовать или заполняться не по назначению (например, в № 9 все «Критическое обозрение русской литературы» заполняется «Замечаниями на Проект преобразования морских учебных заведений» Урванцева), иностранное обозрение сводится к приведению анекдотических выписок из французских газет, с № 8 по № 12 «Ученая литература» вообще отсутствует, а книжка заполняется переводами современных французских романов светского характера. В 1861 г. «Светоч» закончил свое двухлетнее существование.

Решение издавать «Время» созрело у братьев Достоевских к весне 1860 г. В письме от 3 мая к А. И. Шуберт Достоевский писал: «Хочется нам что-нибудь сделать порядочное в литературе, какое-нибудь предприятие. Сильно мы заняты этим. Может быть и удастся. По крайней мере все эти задачи — дея-

---

[7] *А. П. Милюков.* Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 169—222; *Н. Н. Страхов.* Воспоминания, стр. 170—177.

тельность, хотя только первый шаг... А я понимаю, что значит первый шаг, и люблю его. Это лучше скачков».

Через полтора месяца М. М. Достоевский подал в С.-Петербургский Цензурный комитет следующее «Прошение»:

«Имея с 31 октября 1858 г. разрешение на издание еженедельной политической и литературной газеты «Время», я желаю с будущего 1861 года издавать ежемесячный журнал по той же самой утвержденной уже высочайше мне программе и под тем же самым заглавием. Вследствие этого честь имею покорнейше просить Цензурный комитет исходатайствовать мне разрешение на издание вышеупомянутого ежемесячного журнала по утвержденной уже программе, изменив в ней только срок выпуска, т. е. вместо еженедельного дозволив мне ежемесячное издание книжками объемом от двадцати пяти до тридцати листов. 18 июня 1860 г. Отставной инженер-подпоручик М. Достоевский».

3 июля 1860 г. разрешение было получено, а в сентябре «при главных газетах и при афишах было разослано объявление об издании «Времени». Оно составило свыше четверти печатного листа текста и состояло из изложения основных установок и взглядов редакции на задачи журнала и его «Программы». Последняя очень немного отличалась от приведенной выше программы 1858 г., был переставлен порядок отделов, раскрыто содержание «статей ученого содержания» и снято обещание «Приложений» в виде переводных романов и эстампов. Приводим «Программу» полностью, но заметим, что некоторые изменения в порядке помещения отделов было допущены редакцией уже в первый год издания.

«Программа

I. Отдел литературный. Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.

II. Критика и библиографические заметки как о русских книгах, так и об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.

III. Статьи ученого содержания. Вопросы экономические, финансовые, философские, имеющие современный интерес. Изложение самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся специально этими предметами.

IV. Внутренние новости. Распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.

V. Политическое обозрение. Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств. Известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов.

VI. Смесь. а) Небольшие рассказы, письма из-за границы и из наших губерний и проч. в) Фельетон. с) Статьи юмористического содержания.

Из этого перечня видно, что все, что может интересовать современного читателя, входит в нашу программу. Из статей юмо-

ристического содержания мы сделаем особый отдел в конце каждой книжки».

Текст «Объявления», предшествующий «Программе», чрезвычайно важен. По свидетельству Страхова, оно «несомненно писано Федором Михайловичем», хотя в пору его написания у Страхова еще не было близости с Достоевскими и он заключал об авторе по соответствию идей «Объявления» со статьями Ф. М. Достоевского в журнале и с личными позднейшими беседами. Не оспаривая принадлежности «Объявления» Ф. М. Достоевскому, укажем только, что до его появления нам не известно ни одно его высказывание с идеями о народности и национальности в духе «Объявления», хотя в письмах из Сибири он несколько раз свидетельствовал о своих мыслях в этом направлении — «патриотическая» статья о России и т. п. Что касается М. М. Достоевского, то его статья о «Грозе» и его высказывания о творчестве Островского идут в русле идей «Объявления», и надо признать, что последнее несомненно отражало взгляды не только Федора Михайловича, но и редактора журнала, Михаила Михайловича. В первой главе мы указали также на близость взглядов М. М. Достоевского о критике и полемике, высказанных им в конце 40-х годов, к позиции, которая по этому поводу была изложена в «Объявлении».

Как и декларация «Светоча», так и «Объявление» «Времени» пронизано требованием объединения, ликвидации разрозненности, слития воедино идейно разошедшихся частей русского народа. Но это не славянофилы и западники, к которым взывал «Светоч». О них «Время» лишь мимоходом упоминает: «Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом». «Главная, передовая мысль» будущего журнала заключалась в том, что реформа Петра разъединила образованную часть народа с его массой, которая не приняла реформ и продолжала с трудом искать своих дорог, заявлять свою самостоятельность. Образованная же часть пошла по пути европейской цивилизации, расширила свой кругозор, но не превратилась в европейцев, а убедилась в своей особой «отдельной национальности, в высшей степени самобытной». Ее задача теперь — «создать себе новую форму... собственную, родную, взятую из почвы..., взятую из народного духа и из народных начал». Непонимающие друг друга общество и народ должны разъяснить все недоумения и вместе двинуться вперед. «Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и, возможно, скорейшее,— вот наша передовая мысль, вот девиз наш!»

Хотя «Объявление» как будто учитывает современную социально-политическую ситуацию, утверждая, что скоро «многие миллионы русских войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои свежие непочатые силы и скажут свое новое слово», оно гово-

рит лишь об одном препятствии к объединению, к сближению «образованного сословия» с народом — это неграмотность последнего. И поэтому «распространение образования, усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало,— вот главная задача, первый шаг ко всякой деятельности». «Объявление» отвергает мысль о политическом неравноправии, о социальном неравенстве и сравнивает Россию с Европой: «Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни. Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных».

Идеализация будущего мирного «воссоединения» продолжена в «Объявлении» изображением будущего «русской идеи»: она, «может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа, в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности».

От национального к общечеловеческому («характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий») — этот путь, маячивший перед автором «Объявления», решительно отделял его от славянофильствующих идеологов и вызвал желание решительно от них отмежеваться в особом заявлении «От редакции», напечатанном в № 1 журнала.

Значительно более конкретна вторая часть «Объявления», посвященная будущей журнальной политике «Времени». В ней не только провозглашается, но и довольно подробно излагается программа будущей борьбы с «литературными авторитетами», которые порождают в журналах подобострастие, рабство, отсутствие в критике искренности, глубокого убеждения, прямоты и честности. «Время» ставит себе задачей *обличать* «все литературные странности» своего времени. «Обличение это мы предпринимаем из глубочайшего уважения к русской литературе»,— заявляла редакция. Она прямо объявляла себя сторонницей журнальной полемики и готова была сама начинать ее — «пораздразнить литературных гусей»,— предполагая рассматривать на страницах «Времени» все сколько-нибудь замечательные статьи, появившиеся в журналах. Вся эта часть «Объявления» говорила о боевом настроении журнала, с которым он вступал в первый год своей деятельности.

Конец 1860 года был заполнен как общей организацией хозяйственной, издательской и редакционной жизни журнала, так и подготовкой первых его номеров, т. е. подбором сотрудников и публикуемого материала. Остановимся в этой главе на вопросах организационных.

М. М. Достоевский жил в 1860—1861 гг. в доме на углу Екатерининского канала и Казначейской ул. (ранее Мал. Мещанская). В III этаже была его квартира, в нижнем помещалась табачная фабрика. В 1861 г. М. М. Достоевский переехал в дом

на углу Казначейской и Столярного переулка, где поместилась и редакция журнала. Квартира помещалась в третьем этаже и выходила окнами на Казначейскую. Ф. М. Достоевский жил в это время (до 1867 г.) во втором этаже дома Алонкина, также на углу Казначейского и Столярного. Искушенный в промышленно-торговой деятельности, М. М. Достоевский взял на себя целиком как организацию, так и дальнейшее ведение всей денежно-хозяйственной стороны журнала. Его дочерью, Е. М. Достоевской, были сохранены и переданы нам в 20-х годах некоторые архивные материалы, которые позволяют проникнуть в эту его деятельность и составить представление о экономической базе и распространении журнала.

Толстая приходо-расходная книга в коричневом кожаном переплете с золотым ободком и тисненой надписью па корешке «Journal» исписана красивым мелким почерком М. М. Достоевского. На разграфленных страницах слева — приход — запись денег, получаемых от подписчиков, справа — расход — запись гонораров сотрудникам, оплаты бумаги, типографии, корректуры, почтовых отправлений и многих других расходов. Внизу страниц тщательно подведенные итоги, с переносом сумм на следующие страницы и так до конца года, когда подводился баланс дохода и расхода. М. М. Достоевский, по его словам, привык «денежные дела вести чрезвычайно деликатно».

Журнал все время своего существования печатался в типографии Эдуарда Праца, той самой, в которой еще в 1847 г. было напечатано отдельное издание «Бедных людей» Ф. М. Достоевского. Подписка в основном в Петербурге принималась в книжном магазине А. Ф. Базунова, в Москве у И. В. Базунова. Но подписка поступала и через другие книжные магазины, редакции журналов, а также от департаментов разных министерств и учреждений. Деньги от так называемых «иногородних» подписчиков поступали «с почты»: через «экспедицию Почтамта» отправлялись им номера журналов. Уже с 15 октября 1860 г. начали поступать подписные деньги (годовая оплата 16 руб.). Записи книги не позволяют точно учесть количество подписчиков, так как не все они подписывались сразу на год, а пользовались рассрочкой. Но приблизительно можно считать, что в 1861 г. журнал имел около 1600 подписчиков, его общий доход равнялся около 25 000 руб., а расход около 29 000 р. В 1862 г. было подписчиков свыше 4000, доход свыше 60 000, расход около 47 000. За 4 месяца существования в 1863 г. на журнал подписалось уже около трех с половиной тысяч.

Для сношения с подписчиками и по другим редакционным делам у М. М. Достоевского были специальные лица, которые получали ежемесячное вносившееся в книгу жалованье. Таким был живший у него молодой родственник его жены из Ревеля Август Александрович Бергман, «чиновник Александров» (очевидно, служащий почтовой экспедиции) и, возможно, другие, имена

которых ежемесячно значатся в графе оплаты расходов. В редакции велся не только учет денежных сумм, получаемых от подписчиков, но и топографическая статистика. В первой книжке за 1863 г. был напечатан «Список экземпляров, разосланных по губерниям в 1862 году» с интересным предисловием от редакции. В нем указывалось, что «Современник» ежегодно сообщает о числе своих подписчиков, и, хотя его осуждают за «хвастовство», редакция «Времени» находит эти сведения очень важными и нужными: если бы все поступали так, «можно было бы сделать весьма любопытные выводы. Наша читающая публика для нас такое же темное царство, как и другие сферы нашей жизни». На 10 страницах журнала дается тщательный подсчет подписчиков по губерниям и областям Российской империи, разбитым на «Губернии Балтийского бассейна», «Польские губернии», «Губернии Черноморского бассейна», «Губернии бассейна Каспийского моря», «Губернии северо-восточные», «Губернии и области Сибири» и т. д. Даются цифры подписчиков на каждую губернию в целом и отдельно цифры по губернским и уездным городам. Общее количество — 4302 подписчика. Из них Петербург — 1046 подписчиков, Москва — 355, свыше 100 подписчиков в губерниях Полтавской, Херсонской, Екатеринославской, Харьковской, Воронежской; свыше 70 — в Новгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Тверской, Казанской, Саратовской, Оренбургской, Пермской. Во всей Сибири — 154 подписчика, в Кавказском крае — 131 и т. д.

Об успехе издания «Времени» оставил воспоминания Страхов, но приводимые им данные несколько разнятся от данных книги прихода и расхода: «Цифры подписчиков, которые так важны были для всех нас, мне твердо памятны. В первом 1861 году были 2300 подписчиков, и Михайло Михайлович говорил, что он в денежных счетах успел свести концы с концами. На второй год было 4302 подписчика... На третий год издания, в апреле месяце, было уже до четырех тысяч, и Михайло Михайлович говорил, что остальные триста должны непременно набраться к концу года. Таким образом дело сразу стало прочно, стало со второго же года давать большой доход, так как 25 000 подписчиков вполне покрывали издержки издания... Так или иначе, но только «Время» быстро поднялось в глазах читателей, и в то время, как старые журналы — «Отечественные записки», «Библиотека для чтения» и т. п. падали, «Время» процветало и стало почти соперничать с «Современником», по крайней мере имело право по своему успеху мечтать о таком соперничестве». Далее Страхов сообщал, как успех издания содействовал «большой самоуверенности» как редакции, так и ведущих участников журнала: «Тогда, в 1861 году, все мы очень радовались и собирались усердно работать. Я подал в отставку из гимназии, и Михайло Михайлович собирался закрыть свою табачную фабрику» [8].

---

[8] *Н. Н. Страхов.* Воспоминания, стр. 220—223.

Начиная со второй половины 1860 г. вокруг братьев Достоевских начал сплачиваться сперва узкий, а чем далее, тем более широкий и разнообразный круг сотрудников. Тех, чьи имена названы в журнале, было за время издания «Времени» около ста человек и, возможно, десяток — не более — участников, имена которых остались нераскрытыми. К сожалению, «Время», как и многие современные ему издания, ряд статей печатало без указания автора. М. М. Достоевский писал Де Пуле, договариваясь с ним об участии в журнале: «У нас принято не подписываться под критическими статьями. Впрочем, это может подвергаться иногда и исключениям. Не могу, впрочем, умолчать, что Редакции приятно бы было, если б вы не требовали для себя этого исключения». В результате раскрытие авторов критических статей и рецензий представляет большие затруднения. Помощью в этом отношении до некоторой степени служит указанная выше редакционная книга, куда М. М. Достоевский вносил суммы, уплаченные авторам, но без указания за что именно. Так как гонорар иногда уплачивался частями и до и после публикации статей, то угадать по этой книге, какая оплата соответствует той или иной статье данного автора, по большей части затруднительно. Особенно это касается авторов, которые брали из редакции, вследствие своих нужд, вперед, часто маленькими суммами, или иногда не деньгами, а книгами или сигарами, как, например, А. А. Григорьев.

Гораздо полезнее в этом отношении другая редакционная книга, в которую записывались только гонорары участников, причем вписывали в нее сами получающие с указанием времени получения, за какой материал, какую сумму, и ставили свою подпись. Это книга большого формата в картонном переплете с кожаным корешком, листы ее разграфлены. Вот первые записи за январь 1861 г.

4 — Триста рублей за «Исповедь Королевы» в 1 № «Время» получил А. Майков	300
5 — За 1 л. 13 стр. повести «Погибшее, но милое созданье» по 90 р. 60 к.	120 р. 60 к.
За стихотв. «Гетера» 30 р. получил Всеволод Крестовский	
» — За три рассказа из Едгара По, $1^1/_2$ печ. л. по 15 р. получил Д. Михаловский	22 р. 50 к.
7 — За библиограф. статью и стихи в фельетоне получил Дмитрий Минаев	112 р. 86 к.
» — За корректуру и за внутренние новости в № 1 жур. «Время» получил Порецкий	60
» — За четыре листа и две страницы получил Н. Страхов	206 » 25 »

Уже в первых записях виден некоторый разнобой, который чем далее, тем значительнее. Реже указывается объем и № журнала, иногда отсутствует название, а иногда и фамилия

автора. Но все же эта книга помогла раскрыть авторство ряда безымянных статей, а также существовавшие нормы оплаты разных материалов.

Страхов сообщал: «Авторский гонорар был тогда менее нынешнего, он редко падал ниже 50 руб. за печатный лист, но редко и поднимался выше и почти никогда не переходил 100 рублей». Гонорары «Времени» соответствовали нормам других ежемесячных изданий. М. М. Достоевский сообщал Де Пуле: «Вместе с этим покорнейше прошу вас назначить ваши условивия относительно платы. Мы же платим в этом отделе по 50 р. с листа. Так теперь, сколько мне известно, платят и другие журналы, не исключая и «Р. Слова», где вы сами были сотрудником. Больше платить мы не можем». Эти условия касались научных и критических статей и рецензий. Но художественные произведения расценивались в зависимости от популярности имени автора, и это также было в обычае всех журналов. Ф. М. Достоевский, переписываясь с братом об устройстве в журналы своих сибирских произведений, жаловался на низкий гонорар, который ему предлагали редакции: «Ты пишешь мне беспрерывно такие известия, что Гончаров, например, взял 7000 руб. за свой роман... и Тургеневу за его «Дворянское гнездо»... сам Катков (у которого я прошу 100 руб. с листа) давал 4000 рублей, т. е. по 400 рублей с листа. Друг мой! я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но ведь не слишком же хуже и, наконец, я надеюсь написать совсем не хуже. За что же я-то, с моими нуждами, беру только 100 руб., а Тургенев, у которого 2000 душ, по 400?»

Таково было установившееся в журналах положение, и поэтому нельзя винить М. М. Достоевского в особой корыстности, когда он, отказывая платить за стихотворение И. С. Никитина «огромные деньги», отвечал Де Пуле: «Мы сами *иногда* платим огромные деньги, напр. Майкову, но зато стихотворение Майкова и окупится — даст подписку, сделает шум, возбудит говор. Стихотворение же Никитина пройдет незамеченным». Понятно и стремление дать максимальный гонорар Островскому, так как, помимо самого глубокого уважения к творчеству этого автора, редактор заботился и об успехе журнала у читателей и о будущей подписке: 14 сентября 1861 г. М. М. Достоевский писал Островскому, что в его «Сценах» оказалось 2 листа 12 строк, и спрашивал, во что автор ценит печатный лист. «Считаю лишним прибавлять, что на все ваши условия я согласен и только прошу вас поддержать наше начинающееся издание». В ноябре, посылая Островскому 300 рублей, он писал: «Чувствуя себя все еще в долгу перед вами, тем более, что заставил вас ждать эти деньги, я прошу у вас позволения недели через три или четыре выслать вам еще сто рублей. Нам с братом все кажется, что мы вас обидели, назначив такую несоразмерную плату с достоинством вашего произведения...

Мы извиняем себя только недостатком средств, сопряженным с первым годом издания...»

Книга гонораров позволяет отвести от М. М. Достоевского незаслуженные обвинения в его нечестном поведении с авторами в оплате гонораров. А. Н. Плещеев писал Ф. М. Достоевскому 19 марта 1862 г. из Москвы, что в обществе распространяются слухи о том, что М. М. Достоевский «с молодыми, начинающими писателями — поступает деспотически и платит черезчур скудно. Рассказывали даже факт, что какому-то юноше, которому буквально есть нечего,— не дали вовсе ничего за комедию («Липочка»), на том основании, что он по робости не осмелился просить» [9]. Плещеев советовал Ф. М. Достоевскому поговорить с братом, чтобы подобные разговоры не вредили журналу.

«Липочка», комедия В. Острогорского, была напечатана в № 8 «Времени» за 1861 г. В книге гонораров под 18 октября этого года записано: «Сто рублей сер. за комедию «Липочку» пол⟨учил⟩ В. Острогорский». Хотя комедия занимает 60 страниц, но подсчет драматического текста, очевидно, был иной, чем прозы. В этом же номере Левитов за 38 стр. художественной прозы получил 60 руб. Другой случай, на который указывают исследователи, это случай с историком Щаповым, остро нуждавшимся, которому М. М. Достоевский якобы затягивал уплату денег, о чем было сообщено в некрологе Щапова, напечатанном в «Деле». Ф. М. Достоевский выступил в «Дневнике писателя» (апрель 1876) со статьей «За умершего», возмущенный этими обвинениями: «Я твердо уверен,— писал он, что весь этот анекдот лишь одна нелепость. И, если некоторые обстоятельства в нем не выдуманы, то, по крайней мере, все факты извращены и правда в высшей степени пострадала... Мне совершенно известно, что журнал «Время» имел блестящий, по-тогдашнему, успех. Известно мне тоже, что расчеты с писателями не только не производились в долг, но, напротив, постоянно выдавались весьма значительные суммы вперед сотрудникам. Про это-то уже я знаю, я много раз бывал свидетелем. И в сотрудниках журнал не нуждался; они сами приходили и присылали статьи во множестве, еще с первого года издания; стоит просмотреть № № «Времени» за все 2½ года издания, чтоб убедиться, что в нем участвовало огромное большинство тогдашних представителей литературы. Так не могло бы быть, если бы брат не платил сотрудникам, или, вернее, неблагородно бы вел себя с сотрудниками... Брат не мог «затягивать уплату Щапову», да еще тогда, когда у того не было платья. Если

---

[9] *А. С. Долинин.* К истории журнала «Время». Письма М. М. Достоевского к М. Ф. Де-Пуле, 1860—1861 гг.— Сб. «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». I, 1922, стр. 507—511; Письма, т. I, стр. 246; «Неизданные письма к А. Н. Островскому». «Academia», 1932; «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». Под ред. А. С. Долинина. Л., 1935, стр. 457,

же Щапов попросил брата к себе, то не «выведенный из терпения» за неуплату, а именно *прося денег вперед*, подобно многим другим».

Гонорарная книга подтверждает многочисленные выдачи «вперед», что часто отмечалось при записи в книге. Кроме того, в ней, на развороте нижней крышки переплета, М. М. Достоевский вел для памяти записи мелких сумм, дававшихся сотрудникам, очевидно, в связи с их нуждами и просьбами. Длинные столбцы цифр от 3 руб. до 100 руб. значатся как выплата Ап. Григорьеву, где, кстати, есть и запись — «портной — 313». Мы хорошо знаем, как сумбурно было отношение Григорьева к деньгам, как из долгового отделения он посылал соответствующие записки Ф. М. Достоевскому. Не меньшей длины столбец уплат Страхову, пятерками, десятками, четвертными, потом подытоженными и обозначенными датами. Тут же записи мелких и крупных сумм, выданных Федору Михайловичу и П. Исаеву, его пасынку. На этих же страницах есть колонка, озаглавленная: «Щапов». В ней 10 записей — от 10 р. до 72 р.— с итогом 242 р. Последние пять записей датированы 2, 4 20 ноября и 5, 12 декабря 1862 г. «Бегуны» Щапова (99 стр.) были помещены в октябрьской и ноябрьской книжках 1862 г., уплата за которые производилась соответственно в ноябре и декабре. Следовательно, полученные до 2 ноября 137 руб. были получены Щаповым вперед, а 40 руб. и 75 руб.— нормально в ноябре и декабре [10].

---

10 Редакционные тетради журнала «Время» находятся в Отделе рукописей Гос. биб-ки им. В. И. Ленина, ф. 93, I, 3, № 21 и 22.

Глава III

Сотрудники журнала

Печатая в 1860 г. программу журнала, редакция «Времени» заявляла: «Мы не выставляем имен писателей, принимающих участие в нашем издании. Этот способ привлечения внимания публики оказался в последнее время совершенно несостоятельным. Мы видели не одно издание, дававшее громкие имена только в своем объявлении. Хотя и мы в нашем могли бы выставить не одно известное в нашей литературе имя, но нарочно удерживаемся от этого, потому что, при всем уважении к нашим литературным знаменитостям, сознаем, что не они составляют силу журнала».

Несомненно, однако, что редакция «Времени» делала все от нее зависящее, чтобы заполучить па страницы журнала произведения литературных светил. Об этом свидетельствует дошедшая до нас успешная переписка М. М. Достоевского с Островским и менее успешная — Ф. М. Достоевского с Тургеневым, произведение которого появилось только в «Эпохе». Но сила «Времени» действительно оказалась не в именах приглашенных знаменитостей, а прежде всего в имени возглавлявшего коллектив сотрудников Ф. М. Достоевского и в собравшейся вокруг редакции группе писателей, значительно менее известных и даже только начинавших свой писательский путь.

Изучение сотрудников любого журнала имеет большое значение для понимания его характера и направления. Оно дает также много материала для суждения о взглядах и интересах его редакции, ее общественных и эстетических симпатиях и антипатиях. В данном случае оно открывает для исследователей жизни и творчества Достоевского ту среду, с которой он постоянно общался в 1860—1863 гг., характеризует людей, вместе с ним делавших увлекшее его дело, которому он придавал огромное принципиальное значение. Сближение на этой почве с несколькими десятками лиц, разного возраста и социального происхождения, разных специальностей и судеб, не могло пройти для него бесследно. А между тем это окружение и общение мало привлекало внимание исследователей Достоевского.

С легкой руки Страхова, следуя за его «воспоминаниями» об издании журналов, исследователи обычно ограничиваются двумя именами — Страхова и Ап. Григорьева, несомненно, самых активных и, каждый по своему, значительных в истории издания. Но кроме них в журнале печаталось по меньшей мере восемьдесят человек, многие из которых постоянно общались с Ф. М. Достоевским. Писем Достоевского этого времени дошло немного, писем сотрудников к нему и М. М. Достоевскому — также, о личных встречах — лишь случайные упоминания в мемуарной и эпистолярной литературе. Но несомненность общения Достоевского со многими из сотрудников «Времени» дает основания для более близкого рассмотрения тех, кто создавал журнал, руководимый Достоевскими, кого они считали нужным и важным (а иногда только возможным) печатать в своем журнале. Попробуем восполнить этот пробел.

Для изучения направления и взглядов журнала нам кажется полезным разбить его участников на три группы. Это, во-первых, группа писателей, прошедших исторический путь, сближавший их с братьями Достоевскими, в отдельных случаях их друзья и единомышленники еще с молодых лет, и вообще представители поколения, помнившего московские и петербургские кружки 30—40-х годов, журнальные дебаты этого времени, борьбу за творчество Гоголя, рост славы Белинского, первые выступления славянофилов и организацию натуральной школы. Четверо из них в 60-х годах стояли в первых рядах литературы. Тургенев обещал свое сотрудничество во «Времени», Некрасов, возглавлявший «Современник», нашел возможность дать «Времени» два стихотворения, а Григорович — очерки путешествия. Но только Ап. Майков стал одним из коренных сотрудников, с творчеством которого редакция ощущала внутренние идейные связи. Еще трое сверстников Достоевских, начавших вместе с ними в 40-х годах журнальную деятельность,— Плещеев, Милюков и Порецкий — сыграли значительную роль в истории нового журнала.

Милюков, о котором говорилось во второй главе, занятый журналом «Светоч», только в 1863 г. дал свои статьи для «Времени». Но Плещеев, хотя и живший в Москве и связанный участием как с московскими, так и с рядом петербургских изданий, очень энергично все три года сотрудничал во «Времени», печатая стихи, повести и комедии. Уже 18 января 1861 г. он писал Тургеневу из Москвы: «У нас много новых журналов. «Время» Достоевских — очень недурно и всех заинтересовало; критические статьи написаны хорошо; и направление журнала симпатичное». Оценка эта интересна потому, что Плещеев, прожив в Петербурге 1858—1859 гг., сблизился с редакцией «Современника», где продолжал сотрудничать и в дальнейшие годы. Журнал братьев Достоевских он воспринял как издание ему близкое. Он помещал в нем свои демократические стихотворения,

а в прозе и сценах обличал с большой долей юмора нравы уездного дворянства, чиновничества, крепостнические порядки мелкопоместной среды и всегда сочувственно рисовал судьбу жертв этого общества, какими являлись крестьяне или мелкое мещанство.

Плещеев был очень полезен журналу еще тем, что рекомендовал ему начинающих писателей из Москвы и провинции. Так, 21 февраля 1862 г. он писал Федору Михайловичу, собираясь ехать в Петербург: «Мне доставляют много разных статей — для «Времени», я кое-что захвачу с собой. Может, и найдется порядочная вещь. Все почти беллетристические». При составлении первого номера «Эпохи» М. М. Достоевский писал брату в Москву: «Через Плещеева ты мог бы навербовать хороших сотрудников...» Плещеев ввел во «Время» поэтов Ф. Берга и В. Костомарова, с последним вместе он перевел драму Геббеля «Магдалина», напечатанную в № 2 «Времени» за 1861 г.

Через Плещеева попал во «Время» С. Н. Федоров, с которым поэт познакомился в Оренбурге и писал о нем Достоевскому в Семипалатинск еще 30 мая 1858 г.: «Здесь есть молодой человек, с которым я очень близок и который отправил в «Современник» драматические сцены. Некрасов его восхвалил и очерки его напечатал». В третьем номере «Времени» 1861 г. также появились «Сцены» Федорова, под названием «Помешанный». Продолжал Федоров сотрудничать во «Времени» и в 1862 г. [1]

Третьим сверстником и близким знакомым братьев Достоевских еще по 40-м годам был А. У. Порецкий. Так как он с первых же книжек журнала занял в нем значительное место, а сведений о нем известно мало, остановимся несколько на его характеристике. Судя по его некоторым автобиографическим признаниям, которые встречаются в его внутренних обзорах, он вышел из мещанской среды и с особенным уважением вспоминал встречавшихся в ней одаренных людей, которых не сломила грубость, невежество, их окружавшие, которые тянулись к книге, были рьяными собирателями и списчиками в тетради современных художественных произведений. В 40-х годах Порецкий вел внутреннее обозрение в «Отечественных записках» Краевского и пытался писать рассказы под сильным влиянием Ф. М. Достоевского. В «Воспоминаниях» доктора Яновского о конце 40-х годов читаем: «Я не помню ни одного из известных мне товарищей Федора Михайловича, который не считал бы своей обязанностью прочесть ему свой литературный труд. Так поступали А. У. Порецкий, Я. П. Бутков, П. М. Цейдлер; о А. Н. Плещееве, Крешове и М. М. Достоевском я уже не говорю, так как последние и в особенности А. Н. Плещеев полу-

---

[1] «Литературный архив». Материалы по истории литературы и общественного движения, № 6, 1961, стр. 314; «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». Под ред. А. С. Долинина. Л., 1935, стр. 441, 455, 545.

чали от Ф. М. темы для работ и даже целые конспекты повестей. Если решение полученных задач оказывалось неудовлетворительным, то таковые рассказы тут же самим автором торжественно уничтожались». О близости Порецкого в эти годы с Яновским, Майковым и Штрандманом свидетельствует дошедшая до нас записка к нему Ф. М. Достоевского 1847 г.

Преданность Достоевскому и высокая оценка его творчества отразились в письме Порецкого Достоевскому от 6 июня 1871 г. Вспоминая значение для него близости с Достоевским, он писал: «Вы на моих глазах выходили на литературную сцену (1846 г.); мои горькие сожаления провожали Ваше временное исчезновение с нее (1849 г.); по возвращении Вы встретились со мной как с старым знакомым и затем с 1861 по 1865 год я почти непрерывно вращался в кружке, Вами одушевляемом». Каждое произведение Достоевского глубоко волновало и врезалось в память: «Если бы такие долгие и глубокие эпизоды выбрасывать из памяти, то что же осталось бы в моем бедном прошлом?» — восклицал он.

Надо отметить, что Порецкий параллельно со своей журнальной деятельностью служил в одном из министерств, и к 1864 г., когда Ф. М. Достоевский предложил его в качестве ответственного редактора «Эпохи», он был действительным статским советником, а в начале 70-х годов — директором департамента. Это был вместе с тем, по определению Ап. Майкова, «один из нравственнейших людей, подражавший во всем библейским пророкам» [2].

Порецкий был, очевидно, приглашен сотрудничать во «Времени» еще в период организации журнала. 7 января 1861 г. он уже получил 60 руб. «за корректуру и за внутренние новости в № 1 журнала «Время». В следующие месяцы февраль — май он получал за «статью и корректуру» от 70 до 90 руб., с июня же он оставил корректуру и получал ежемесячно только за «статью», т. е. за внутреннее обозрение, от 30 руб. до 70 руб. в течение 1861 и 1862 годов, когда 13 декабря в последний раз получил «за статьи в июле, августе и сентябре» — 123 рубля. В конце 1862 года и в 1863 г. имя Порецкого среди записей гонораров не значится и появляется лишь в записях по изданию «Эпохи». Специфика «обозрений» Порецкого будет вскрыта в следующих главах при рассмотрении основной общественной тематики журнала.

К группе сверстников братьев Достоевских, близких им по социальному положению, но сблизившихся с ними только в связи с изданием журнала, принадлежали Полонский, Страхов, Ап. Григорьев и Разин. Все четверо стали самыми влиятельными и более всего ценимыми редакцией сотрудниками издания.

---

[2] «Время», 1861, кн. 1, отд. IV, стр. 17. Воспоминания С. Д. Яновского.— «Русский вестник», 1885, кн. 3—4; Письма, т. I, стр. 105; т. II, стр. 496.

Хотя их социальное происхождение было различно (Страхов — попович, Разин — крестьянин, Полонский — сын чиновника, среди предков Григорьева имелись представители всех этих трех сословий), их объединяло полученное в одно время образование, необходимость содержать себя работой, для чего всеми ими была избрана педагогическая деятельность. Полонский и Григорьев были связаны с Москвой, Московским университетом, Страхов и Разин — с Петербургом и его учебными заведениями. Работа во «Времени» вскоре вскрыла их глубокие идейные расхождения в общественных и эстетических вопросах.

Для поэта Полонского годы 1859—1860 были особенно трудными годами: крахом оборвавшаяся попытка возглавить начинавшееся «Русское слово» Кушелева-Безбородко, поступление на службу в Комитет иностранной цензуры в связи с необходимостью твердого заработка, женитьба и потеря жены и ребенка, серьезная болезнь и оставшаяся на всю жизнь хромота — все это мало способствовало поэтической деятельности, которая соответствовала бы тому бодрому, даже вызывающему тону, в котором начинался новый журнал. Но все же со второго номера 1861 г. в нем стали появляться поэтические произведения Полонского, высоко ценимые Ф. М. Достоевским. В стихотворном романе Полонского о московской жизни 30-х годов редакция видела «гвоздь» журнала, предварив его появление следующим сообщением в майской книге за 1861 г.: «От редакции. В следующей, июньской книге «Времени» мы печатаем одно из замечательнейших произведений нашей текущей поэтической литературы — первые три главы из романа в стихах Я. П. Полонского *Свежее преданье*. Мы говорим об этом произведении как о событии в литературе». Высокая оценка поэтического творчества Полонского соединялась с искренней симпатией к поэту, который, судя по письмам Полонского и воспоминаниям Е. М. Достоевской, был постоянным гостем семьи М. М. Достоевского, сблизился с ее молодежью и постоянно дружески общался также с Ф. М. Достоевским, который еще из Твери писал Врангелю 31 октября 1859 г.: «О Полонском я слышал много хорошего»...

Но, вероятно, руководители журнала скоро поняли, что Полонский менее всего подходил для борьбы за определенную журнальную программу из-за своей отрешенности от действительности, зыбкости и непоследовательности в суждениях и боязни какой-либо тенденциозности. Его многолетний и умный друг Е. А. Штакеншнейдер дала ему такую характеристику еще в 1856 г.: «Странный человек Полонский... Он многим кажется надменным, но мне он надменным не кажется, он просто не от мира сего... Доброты он бесконечной и умен, но странен. И странность его заключается в том, что простых вещей он иногда совсем не понимает или понимает как-то мудрено, а сам между тем простой такой, по непосредственности сердечной. Растол-

ковать ему что-нибудь не отвлеченное — отвлеченное он понимает,— а фактическое — это значит самой окончательно сбиться с толку и все перепутать. Он как будто принимает за действительность не то, что видит, а то, что ему мерещится, и наоборот. Он любит все необыкновенное и часто видит его там, где его и нет» [3].

Главу биографии Достоевского, посвященную Страхову, Л. П. Гроссман назвал «Друг или враг?». Вопрос этот предлагается решить читателю после того, как биограф Достоевского раскрывает двуличие позиции Страхова в его официальных воспоминаниях о писателе и в его рассказе о нем в известном письме к Л. Н. Толстому от 26 ноября 1883 г. Для нашей книги вопрос этот остается в силе, но повернутый от личности Достоевского к его детищу — журналу «Время». В ряде глав нам придется обращаться к деятельности Страхова как сотрудника издания, к его идейной позиции, его влиянию на взаимоотношения с другими журналами, литературными и общественными деятелями и, наконец, с правительством.

Здесь же мы дадим некоторые данные для характеристики этого спутника Достоевского 1861—1865 гг., несомненно оставившего след не только в истории журнала, но и в переживавшемся писателем в эти годы идейном кризисе [4].

Биограф Страхова, лично хорошо его знавший, Б. Никольский, рассказав о его учении сперва в Белгородском духовном училище, потом в Каменец-Подольской семинарии, особенно остановился на проведенных Страховым 1840—1844 годах в Костромской семинарии, помещавшейся в бедном местном монастыре. Именно в эти годы, считает Никольский, сложился нравственный облик Страхова, его приемы поведения, которые описал он так: «Монастырская жизнь и семинарское развитие выработали в Страхове его личный характер, или то, что называют обыкновенно характером: приемы обращения с людьми и предметами, отношение к мнениям и системам, к искусству и науке. И в личном обхождении покойного, и в строе его жизни, и во всей его биографии было много аскетического, много знакомого каждому, кто хотя поверхностно наблюдал характер и особенности православного монашества. Всегда неизменно деликатный и благодушный, мягкий и вежливый, но уклончивый, так же скупой на выражение своих симпатий, как и антипатий, старающийся все свои настроения и впечатления скрасить шуткой и смехом, по возможности не высказывающий своего мнения и с вели-

---

[3] Из сношений Ф. М. и М. М. Достоевского с Я. П. Полонским.— «Достоевский. Статьи и материалы». Под ред. А. С. Долинина, 1922, стр. 453—460; *Е. А. Штакеншнайдер.* Дневник и записки. «Academia», 1934, стр. 122—123.

[4] *А. С. Долинин.* Ф. М. Достоевский и Н. Н. Страхов.— Сб. «Шестидесятые годы», 1940, стр. 238—280; *Л. П. Гроссман.* Достоевский. ЖЗЛ, 1965, стр. 233—238.

чайшим вниманием выслушивающий во всех подробностях всякую чужую мысль, никогда не направляющий разговор в ту или другую сторону, но всегда идущий за своим собеседником... Он вежлив и деликатен с мыслями и мнениями, как с людьми, не обнаруживая при этом ни тоном, ни отношением к ним своего согласия или несогласия... он всегда писал простодушно, хотя рассуждал хитроумно. Он писал как будто не теми словами, какими думал... «Нет на свете писателя, который бы так старался и так умел скрыть от читателя свою мысль, как Страхов»,— воскликнул как-то один тонкий и глубокий знаток русской словесности...»

Для подтверждения этой характеристики довольно вспомнить статью Страхова «Роковой вопрос», которая содержала злую клевету на польскую национальность и культуру, а недалекими цензорами была принята за их восхваление, что и вызвало закрытие журнала. Но Б. Никольский рассказывает о более вопиющей двойственности Страхова, которая пронизала все начало его литературной деятельности. Ортодоксально религиозный, он во время недолгого пребывания в университете в конце 40-х годов познакомился с материалистическим мировоззрением и понял, что оно является самым злым врагом религии. Когда ему пришлось покинуть университет и поступить в главный педагогический институт, то он выбрал себе специальностью естественное отделение, чтобы лучше изучить то, что угрожало его «верховному этическому идеалу святости». Защищая магистерскую диссертацию «О костях запястья млекопитающих», печатая ряд статей, связанных с естествознанием, он в то же время был целиком погружен в изучение идеалистической философии, и очень скоро его научная деятельность свелась к борьбе с материализмом и эмпиризмом.

Страхову нелегко, вероятно, досталось формирование его полного противоречий и двойственности характера. До нас дошел интимный памятник его переживаний конца 40-х — начала 50-х годов: тетрадь со стихами, которые при всей слабости их формы отражают душевный мир автора. В них много жалоб на «вечную нужду», на недостатки своей физической организации, на постоянное препятствие к «полноте бытия» — бедность:

Тому не стыдно золота искать
И тяжкою борьбою покупать.
Не щастие нам дает металл холодный.
О нет! Но независимость, но жизни ход,
Но мир мечты и мысли благородной
Дает лишь золото в толпе людской.
Я звонкий блеск его не презираю,
Я не люблю, но я его желаю...

В ряде стихотворений отразился убогий быт духовных училищ, жизнь их воспитанников, о которой Страхов вспоминал все же с любовью:

Люблю я юность жалкую мою,
Бесцветную, с нелепою тоскою...

Двойственность, скрытность, осторожность, характеризовавшие высказывания и писания Страхова, сказывались и на его поведении в обществе. До нас дошел следующий отзыв племянника Ф. М. Достоевского, студента А. А. Иванова, встретившего Страхова на именинах у дяди: «Страхов — среднего роста, довольно полный, розовый, волоса с проседью. Голос тоненький и очень гибкий. Держит себя необыкновенно деликатно, так что напоминает собою Чичиковское: «Вы изволили пойти с валета, я имею честь покрыть вашу двойку». (Письмо от 20 февраля 1872 г. В. М. Ивановой.) [5]

К моменту знакомства с Достоевскими Страхов печатался в «Журнале Министерства народного просвещения», где вел отдел «Новости естественных наук» (1857—1860 гг.), в «Светоче» 1860 г., где в № 1 напечатал статью «Значение гегелевской философии в настоящее время», а в номерах 3, 5, 8 «Письма о жизни» (движение механического круговорота для возобновления существующего и прогрессивное движение развития, совершенствующее организм); в «Русском вестнике» 1860 г. № 5, кн. 2, «Об атомистической теории вещества» (критика теории атомов, разоблачение бессилия эмпиризма: «Ни физика, ни химия не представляет ни одного, хотя сколько-нибудь твердого доказательства в пользу атомов»).

В своих воспоминаниях, к которым приходится относиться очень осторожно, Страхов сообщал, как знакомство его с Ф. М. Достоевским состоялось в начале 1860 г. в кружке Милюкова, как внимательно прислушивался он к обсуждению в кружке политических и социальных вопросов, которые ему были до той поры чужды, и как кружок, с одной стороны, стал для него «школой гуманности», а с другой — поразил тем, что в нем «безобразие плотское не ставилось ни во что», как внимание Достоевского привлекли его статьи в «Светоче» и как Достоевский «отличал» его, постоянно ободрял и поддерживал и усерднее, чем кто-нибудь, до конца стоял за достоинство его писаний. Страхов был одним из первых, кто еще вперед, в декабре 1860 г., был записан в книге гонораров («декабря 24 Страхову 100 р.»), а 7 января 1861 г. выплачено за первую статью полностью: «За четыре листа и две страницы получил Н. Страхов 206 р. 25 к.».

---

[5] *Б. Никольский.* Н. Н. Страхов. Критико-биографический очерк.— «Исторический вестник», 1896, № 4, стр. 215—268.
Тетрадь стихотворений Н. Н. Страхова. Рукописный отдел Гос. биб-ки им. В. И. Ленина, фонд В. В. Розанова.

Самый яркий и талантливый сотрудник «Времени» Ап. Григорьев не нуждается здесь в какой-либо характеристике. Скажем только, что к моменту создания журнала он находился в критическом положении, не имея прочных связей ни с одним изданием, а вместе с тем его статьи пользовались большой популярностью и успехом. Уже в начале 1860 г. Ф. М. Достоевский высоко оценил их, и Плещеев имел основания 20 апреля с долей юмора писать Ап. Майкову: «Что Достоевский, продолжает ли импонировать — и выдавать Аполлона Григорьева за великого критика?» Это подтверждает сам Григорьев, говоря об успехе своих статей 1859 г. в «Русском слове»: «Не мало меня удивили потом братья Достоевские, Страхов, Аверкиев мнением о них,— и особенно Ильин, катающий из них наизусть целые тирады».

И Милюков, и Полонский, и Страхов, связанные общей журнальной работой с Ап. Григорьевым, могли содействовать его участию во «Времени». Страхов об этом писал: «Привлечению его к журналу отчасти содействовал я... Помню самый разговор. От меня непременно желали статей по литературной критике; я отказывался и стал настойчиво указывать на Григорьева. К моей неожиданной радости Федор Михайлович объявил, что он сам очень любит Григорьева и очень желает его сотрудничества. Но приглашение состоялось уже немножко поздно, и первая книжка явилась без статьи критика». Во всяком случае договоренность редакции с Ап. Григорьевым состоялась уже в конце 1860 г., так как в книге гонораров уже 24 декабря 1860 г. был записан аванс «Григорьеву Аполлону — 20», 7 января 1861 г. «Григорьеву за стихи — 15», 17 и 31 января — 50 р. и 15 р., 12 февраля — 40 р., 20 февраля — «Григорьеву забыто записать 17», 24 февраля — 100 р. и т. д.

В первый год издания «Времени» контакт между редакцией и критиком устанавливался с трудом. Надо напомнить, что еще в 1860 г. Ап. Григорьев продолжал мечтать о возобновлении «Москвитянина» и «фанатически» верил в его успех. Он настойчиво стремился побудить Погодина к изданию журнала и так намечал основные линии будущей своей работы и предполагаемый состав сотрудников: «У меня есть силы для этого дела, силы, готовые работать с яростью, работать бескорыстно в ожидании будущих благ, силы 1) для борьбы за идею народности в жизни, искусстве, науке (А. С. Гиероглифов, В. Крестовский); 2) для борьбы против философского материализма, во имя идеализма и православия как идеи (Н. Н. Страхов); 3) для смелой борьбы за свободу против деспотизма, с одной стороны, и против Тушинского фурьеризма, с другой (профессор Шилль) и т. д. Все это силы свежие, молодые, благородные, убежденные».

Погодин не поддался на агитацию Ап. Григорьева, и последний перенес свое горячее стремление к журнальной трибуне

на новый журнал, где вместе с ним оказались и трое рекомендованных им сотрудников — Страхов, Шилль и В. Крестовский. С февраля по июнь Григорьев поместил во «Времени» 10 статей, но ясно ощутил, что при высокой их оценке редакцией журнал шел своей, иной дорогой, во многом для него неприемлемой. Позднее в своем «Кратком послужном списке на память моим старым и новым друзьям» он записал: «Начало «Времени»... Хорошее время и время *недурных* моих статей. Но с четвертой покойнику М. М. [Достоевскому] стало как-то *жутко* частое употребление имен (ныне беспрестанно повторяемых у нас) Хом[якова] и проч. Вижу, что и тут дело плохо. В Оренбург».

Уехав в июне в Оренбург для преподавания там в кадетском корпусе, Григорьев писал оттуда Страхову о причинах разрыва с «Временем», в результате идейного расхождения с редакцией, как с М. М., так и с Ф. М. Достоевскими. Далее мы будем говорить о сущности этого конфликта, здесь же упомянем лишь характерную деталь, рисующую отношение Ф. М. Достоевского к руководству «Временем». Он упрекнул Ап. Григорьева за то, что он покинул свой «пост» в журнале, что, очевидно, было для него несовместимо с понятием журнального деятеля. Григорьев в письме к Страхову из Оренбурга отвечал на этот упрек: «Да,— я не деятель, Федор Михайлович!.. и признаюсь вам, я горжусь тем, что я не деятель в этой луже, что я не могу купаться в ней купно с Курочкиным... Вы на меня *яритесь* за то, что я уехал, оставил-де свой пост, как вы называете. Увы! в прочности этого поста я мало убежден и теперь».

С 1862 г. деятельность Ап. Григорьева во «Времени» возобновилась, и, конечно, Страхов, с особенностями его характера, сумел воздействовать и на редакцию и па Григорьева, способствуя их новому сближению. Но главную роль здесь играл, конечно, не он, а ход развития общественной жизни России, а в связи с ним и направление журнала Достоевских [6].

Пригласив Ап. Григорьева как ведущего критика журнала, Страхова — как сотрудника отдела науки и философии, Порецкого — как обозревателя внутренней жизни России, редакция должна была озаботиться тем, кому поручить отдел V — «Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств». Назвав свой журнал «литературным и политическим», «Время» не могло, подобно «Светочу», ограничиваться перепечаткой из парижских газет отдельных слухов, анекдотов и сомнительных сенсационных сведений, а иногда и вообще опускать иностранную информацию.

---

[6] «Аполлон Александрович Григорьев». Материалы для биографии. Под ред. Влад. Княжнина. Пг., 1917, стр. 306, 257—258, 307, 286—287. Далее: «А. А. Григорьев».

Кто рекомендовал на пост иностранного обозревателя «Времени» Алексея Егоровича Разина, к сожалению, нам неизвестно, так же как и время знакомства с ним Достоевских и их первые отзывы о нем. Участие этого непрестанного сотрудника «Времени» во все время существования журнала не привлекло внимания и его исследователей, хотя Разиным было напечатано в нем не менее 150 печ. листов. Считая, что значение Разина для журнала было немалое и ценилось редакцией, мы несколько остановимся на характеристике этого сотрудника, не только ведшего все годы «Политическое обозрение», но заменившего в «Обозрении» внутренней жизни Порецкого с октября 1862 г., а, кроме того, писавшего отдельные статьи.

А. Е. Разин был на два года моложе Ф. М. Достоевского, происходил из крепостных крестьян Владимирской губернии, учился в Третьей санкт-петербургской гимназии, усиленно занимался самообразованием, изучая естественные науки и медицину, работая со знакомыми медиками в клиниках и лабораториях. В 40-х годах стал сотрудничать в журналах и преподавать в частных пансионах. В 1850—1856 гг. вместе с Чистяковым редактировал «Журнал для детей», наполняя его своими статьями и рассказами. Воспитавшийся на них, П. В. Быков с благодарностью вспоминал о «благороднейших чувствах, человечности», о «мастерски написанных, полных жизни и знания бытовых рассказах», в которых «не было тенденции при всей их идейности: их мораль вытекает сама собой. Жизнь мужика, его тяготы, его слезы он видел воочию и горячо любил народ, верил в его мощь».

К середине 50-х годов Разин значился «репетитором по русскому языку и словесности» и «учителем 3-го рода, коллежским ассесором» в Павловском военном корпусе, а в 1857 г. вышло первое издание его «руководства по русскому языку для приготовительного класса военно-учебных заведений» — «Мир божий». Издание было утверждено по плану, в котором оно стояло рядом с такими книгами, как «Опыт исторической грамматики русского языка» проф. Ф. Буслаева, «Теория словесности» Иринарха Введенского, «История русской словесности» проф. А. Галахова. Хотя оно предназначалось для 10—12-летних детей, но стало подлинной «энциклопедией знания», пронизанной идеей прогрессивного развития жизни: «Всякая жизнь в том-то и состоит, чтобы бросать старое и заменять его новым. Без этого нет жизни, без этого — смерть»,— писал Разин. Тот же П. В. Быков оставил восторженное свидетельство о роли, которую сыграл этот труд Разина, имевший эпиграфом «Знание есть сила»:

«Мир божий» произвел в то время сенсацию в литературе, возбудил много толков в педагогическом мире. То были дни расцвета пробужденного русского общества; прогрессивная печать проповедовала необходимость изучения естественных наук...

и «Мир божий» Разина являлся как нельзя кстати. По его книге училась чуть не вся молодежь тех времен, и так было сильно впечатление от этой книги, что многие считали ее чуть не откровением...»[7] Если первый раздел книги «Разнообразие природы» на современном научном уровне давал сведения о развитии низших организмов в высшие, о химических элементах, основах и законах физики и т. д., а второй «Борьба человека с враждебными силами природы» знакомил со строением человеческого тела, медициной, трудовыми процессами человека и огромным значением приобретения и усовершенствования знаний, то третий, под названием «Борьба между людьми», представлял краткий курс всемирной истории, с разъяснением понятий о государстве, законах, договорах и т. д., с выделением событий, имевших прогрессивное значение.

В связи с участием Разина во «Времени» интересно отметить особое внимание, которое он уделял прогрессивной роли реформ Петра: «Петр лучше всех государей, царствовавших до него, понял, что *знание есть сила*, и потому был сильнее всех своих предшественников... Главный и самый трудный подвиг Петра состоит в том, что он разрушил вековое поверье русских, будто бы наши древние нравы и обыкновения лучше всех на свете...».

Без каких-либо официальных дифирамбов изложил Разин русскую историю до вступления на престол Александра II, хотя, конечно, в рамках современной цензуры трактуя о французской революции, декабристах, разделе Польши и т. п. Этот отдел книги Разин обильно иллюстрировал большими отрывками из художественных произведений Жуковского, Гнедича, Кольцова, Крылова, Козлова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Ап. Майкова и др.

На рубеже 50—60-х годов Разин издал «Повести и рассказы для детей» (1860), «Путешествия по разным странам мира» (1860), «Настоящий Робинзон» (1860), «Рассказы о природе и ее явлениях» (1861), «Исторические рассказы и биографии» (1861), «Рассказы о животных и растениях» (1864) и др. В то же время он редактировал «Журнал для детей», «Вокруг света», «Труды Вольно-Экономического общества». В 1860 г. он поместил в № 2 «Светоча», в отделе «Ученая литература», статью в 45 страниц — «Начала органической жизни на земном шаре». Это попытка проследить процесс развития от амебы к человеку, с привлечением сведений из ботаники, физиологии, анатомии и т. п., попытка, чрезвычайно характерная для времени появления «Отцов и детей» Тургенева.

Приведенные сведения до какой-то степени характеризуют и просветительские взгляды Разина, его прогрессивность и ориентацию на европейскую образованность. Как личность его прекрас-

---

[7] *П. В. Быков.* Силэты далекого прошлого. Л., 1930, стр. 46—51.

но характеризуют записи о нем в дневниках Добролюбова, которые мы приводим здесь.

3 января 1857 г. Добролюбов записал: «Занимался у Срезневского, был на уроке у Куракиных, а потом отправился с Аверкиевым к А. Е. Разину. В третий раз сегодня был я у этого человека и замечаю, что с каждым разом он мне более нравится. Это живой человек жизни, дела... Он не слишком большой философ в теоретическом отношении, и в прошедшее мое посещение я заметил уже, что в отвлеченных рассуждениях он обнаруживает даже какую-то узкость взгляда, но когда дело коснется непосредственно жизни, применений выработанных идей, тогда он лучше даже Чернышевского. Он прошел страшную школу жизни, не получив нигде школьного образования, добившись всего сам собою,— и знает он чрезвычайно много, что не препятствует ему давать полную волю чувству, которое у него развито очень благородно...». Говоря далее об интересе Разина к музыке, Добролюбов замечает: «Впрочем, по-моему, музыке он предан даже немножко слишком».

«Теперь он купил 860 десятин земли в Тверской губернии и хочет завести ферму и заняться обработкой земли с помощью наемных рабочих. Это хорошо рекомендует его в житейском отношении. В обращении он оказывается все более добрым и простым человеком, чего я не подумал с первого раза, взглянув на эту огромную трехаршинную массу и услышав его самоуверенную, сдержанную речь, в которой всегда почти слышится какая-то arrière-pensée». Добролюбов привел несколько отрывков из разговоров с Разиным — сатирическое замечание Кутузова о Николае I, пример невежества профессора Давыдова, доказательство бездарности издателя нового «Журнала для воспитания», Чумикова. Добролюбов сообщал, что на суд Разина, «который, кажется, довольно строгий судья в отношении к произведениям своих знакомых», начинающие писатели давали свои произведения.

Эти суждения Добролюбова подтверждаются и другими записями. В частности, интересно его свидетельство о значении Разина для Кельсиева, которого Добролюбов характеризует как «человека серьезно мыслящего, с сильной душой, с жаждой деятельности, очень развитого разнообразным чтением и глубокими размышлениями... Он учился в коммерческом училище и там развился под влиянием А. Е. Разина. Этот превосходный человек заметил его, и у них до сих пор идет близкое знакомство» [8].

Упоминаемая Добролюбовым ферма — это, очевидно, имение в Любани, где Разин жил как раз в годы издания «Времени», о чем свидетельствует сохранившаяся его переписка с М. М. Достоевским, главным образом по вопросам оплаты жур-

---

[8] *Н. А. Добролюбов.* Собрание сочинений, т. 8. М., 1964, стр. 508—509, 538—539.

нальной работы [9]. Оба брата чрезвычайно ценили его сотрудничество. Когда в марте 1864 г. Разин, уехав на службу в Польшу, по приглашению Н. А. Милютина, для проведения нового положения о крестьянстве, должен был отказаться от ведения иностранного обозрения, Ф. М. Достоевский писал брату из Москвы: «Известие о Разине меня как обухом по лбу хватило. Ну, что же теперь делать? *Кому-нибудь* нельзя дать отдела.— Мое мнение — лучше ограничиться перечнем событий с присовокуплением какого-нибудь (политического) письма в Редакцию, о чем-либо частном в политических делах». Он предлагал М. М. Достоевскому самому составить на март политический отдел, только не поручать его «бродячему господину». Между тем сохранилось письмо Разина к М. М. Достоевскому этого времени, где он ему пишет: «Я в Варшаве по крестьянскому делу и освобождению хлопов и наделению их панскою землей. Это великолепное дело... Может быть, Вы не прочь и сохранить меня своим сотрудником постоянным. Наша здешняя работа представит тысячи любопытнейших встреч, столкновений, споров, и польский характер обрисуется со временем в широкой картине». Это предложение одобрил Михаил Михайлович и писал брату: «Разина, конечно, не скоро заменишь... Он предлагает писать в «Эпоху» корреспонденции из Варшавы по поводу тамошнего крестьянского дела. Он и поехал-то туда, чтобы быть одним из приводителей его в исполнение. Корреспонденции его могут быть в высшей степени интересны. Таким образом, потеря в одном отделе может с лихвою вознаградиться в другом».

Ф. М. Достоевский называл Разина «талантливым» человеком «с толком и, главное, с некоторым чутьем» [10].

Участие Разина во «Времени» и сочувствие к нему редакции вызвало очень скоро решительный отпор А. А. Григорьева, показавший, на каких далеко стоящих друг от друга позициях находились эти два ведущие сотрудника нового журнала. Высказывания по этому поводу А. А. Григорьева позволяют уяснить, что к Разину он относился враждебно как представителю передовых революционно-демократических и материалистических взглядов. Присутствие Разина в журнале было одной из причин его отъезда в июне 1861 г. в Оренбург и временного раз-

---

[9] Письма Разина к Достоевским.— См. в Отделе рукописей Гос. биб-ки им. В. И. Ленина.

О жизни Разина в Любани Быков пишет: «Живя на своей маленькой дачке у станции Любань Николаевский ж. д., Разин искусно и успешно лечил крестьян окрестных деревень, помогал им возводить разные постройки, выбрать место для колодцев и рыть их, вел судебные процессы темного люда» («Силуэты далекого прошлого», 1930, стр. 49).

[10] Письмо М. М. Достоевского Ф. М. Достоевскому от 23 марта 1864 г.— «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». Л., 1935, стр. 550; Письма, т. I, стр. 341; т. II, стр. 225. Говоря о талантливости Разина, Достоевский поставил в скобках: «Мир божий».

рыва с изданием. Из Оренбурга он писал Страхову, что «Время» могло бы «сделаться честным, самостоятельным и потому самому в конце концов первенствующим органом», но для этого необходим ряд изменений в его жизни, из которых одно — «сыскать для политического отдела не Стеньку, то бишь Алексея Разина, а человека нового и свежего, с стремлениями к правде и самобытности воззрения, а не к либерализму quand même...». Называя А. Е. Разина не иначе как Стенькой Разиным, издеваясь над его «дешевым», «грошовым» либерализмом, хотя и признавая, что «Чернышевские, Щегловы, даже Разины — люди очень честные и истинные продукты нашего времени»,— Григорьев изливал на них свою ненависть к материализму и реализму. Когда он в Екатеринбурге, в кадетском корпусе встретился с официально рекомендованным пособием «Миром божиим», он с ожесточением назвал книгу «чудовищем нравственно-умственного разврата и безмыслия». Его излияния по поводу книги Разина относились не столько к ней, сколько к отразившимся в ней тенденциям «Современника»: «Эта книжка — крайний предел реализма последних 15 лет, погубившего гуманное и классическое образование даже в гимназиях. Нет, друг, с реалистами пожалеешь даже о семинарской схоластике»,— писал Григорьев Страхову.

Он «выгнал» из корпуса книгу Разина и «заменил ее историческим чтением». «Яростное омерзение» к «Миру божиему» не покидало Григорьева, и, раздражаясь на чуждую ему во многом позицию «Времени» 1861 г., он насмешливо предлагал журналу, державшемуся за «грошовый либерализм» Разина, дать в виде приложения его «Мир божий»: «Хороший будет подарок»,— ядовито заметил он. Как ключ к этому «омерзению» он бросил Страхову такой вопрос: «Не знаю, поймешь ли ты всю мою глубокую, хоть, может быть, устарелую ненависть к реализму?» Страхова он ощущал как своего единомышленника во «Времени» и в одном из писем к Погодину из Екатеринбурга заметил, говоря о журнале: «У меня там есть верный глаз, молодой философ-идеалист Николай Николаевич Страхов».

Из этих цитат становится ясным, как мало единодушия было среди ведущей группы старших сотрудников «Времени» в первый год его существования [11].

Мы не можем здесь характеризовать многих опытных авторов, поместивших во «Времени» критические, публицистические и научные статьи, участие которых в журнале было, однако, эпизодическим, иногда случайным. По мере обращения к их публикациям далее будут даны как сведения о них, так и об отношении Достоевских к этой второй группе сотрудников. Чтобы продемонстрировать роль М. М. Достоевского как редак-

---

[11] «А. А. Григорьев», стр. 267, 274—275, 278, 280, 283, 285, 290.

тора в отборе материала, остановимся лишь на одном случае, относящемся к началу издания журнала. Уже в декабре 1860 г. М. Ф. Де Пуле прислал во «Время» статью и заявил о своем желании участвовать в журнале. Это был очень плодовитый журналист, сотрудничавший в «Современнике», «Русской беседе», «Русском слове», «Русской речи», «Дне» и др. М. М. Достоевский принял статью, но спросил разрешения «сделать в ней немногие изменения, для того чтоб она подходила под тон нашего журнала». Он напечатал статью в февральской книге и сообщил автору: «Я, с позволения Вашего, выкинул из нее все то, что теперь уже несовременно, т. е. разбор «Накануне», и все места, где были ссылки на «Русское слово». Приглашая Де Пуле к дальнейшему участию в журнале, М. М. Достоевский предлагал ему взять «в свое заведование один какой-нибудь журнал или два» и присылать «мелкие заметки». Предлагал он ему и разобрать сочинения Крестовского (Хвощинской) по поводу ее последнего романа в «Русском вестнике», указывая попутно на то, что взгляд «Времени» на искусство выражен в статье «Г.— бов и вопрос об искусстве». Однако вскоре М. М. Достоевский, очевидно, убедился в невозможности дальнейшего участия Де Пуле в журнале, о чем будет сказано далее.

Отметим, что А. Фомин, опубликовавший эти письма М. М. Достоевского, первый указал, что М. М. Достоевский «не являлся лишь номинальным редактором, а играл видную активную роль в редактировании журнала, привлекая сотрудников, давая им определенные задания, руководя их работою» [12].

К числу эпизодически появлявшихся на страницах «Времени» уже известных публицистов, критиков, очеркистов можно отнести весьма пестрый перечень имен — Н. Щедрина, Н. А. Лескова, Евгению Тур, Е. Я. Колбасина, В. П. Попова, П. П. Сокальского и др., а также ряд авторов художественных произведений, о которых речь будет далее.

Переходим к характеристике третьей, многочисленной группы сотрудников, деятельности которых в журнале исследователи почти не касались. Это группа молодежи, рождения 1835—1844 гг. Ее сознательная жизнь пришлась на период, когда кончился гнет николаевского режима и начала складываться революционная ситуация. Здесь были поэты — Всеволод Крестовский, Ф. Берг, В. Костомаров; прозаики и драматурги — Левитов, Помяловский, Воронов, Л. Утин, Бабиков, Суслова, Острогорский; авторы публицистических статей и рецензий — П. Ткачев, Благовещенский, Владиславлев, М. Семевский, П. Барсов, Щеглов, Родевич и др. Это в основном выходцы из провинции, многие

---

[12] «Достоевский. Статьи и материалы». Под ред. А. С. Долинина. Пг., 1922, стр. 507—516.

из них происходили из духовного сословия или мелкочиновничьей и мещанской среды. Для некоторых из них участие во «Времени» было началом их литературной, научной или публицистической деятельности (П. Ткачев, С. Левитов, Н. Благовещенский, М. Владиславлев, В. Острогорский и др.). Интересно отметить, что во «Времени» предполагал начать свою журнальную работу будущий ведущий критик «Русского слова» Варфоломей Зайцев (р. 1842 г.), уже в это время близкий с некоторыми членами «Земли и Воли». До нас дошло письмо его сестры к Полонскому от 10 октября 1862 г., в котором она спрашивала: «Не виделись ли Вы, Яков Петрович, с Достоевским и не слыхали ли чего о статье моего брата?... Узнайте, пожалуйста, может ли быть помещена она в ноябре?» [13]

Направленность деятельности названных молодых сотрудников «Времени» будет рассмотрена в следующих главах, здесь же хотелось лишь обратить внимание на два факта: редакция «Времени» явно не только не воздерживалась от публикации рукописей никому неизвестных писателей, но охотно давала на своих страницах место начинающим авторам — и художникам слова и публицистам. И если с некоторыми провинциальными авторами общение ограничивалось перепиской с ними М. М. Достоевского, то многие другие, переселяясь в Петербург или приезжая в него, встречались с редакцией журнала.

Примером может служить двадцатичетырехлетний учитель вологодской гимназии, этнограф и статистик, Н. Ф. Бунаков, приславший во «Время» рассказ «Село на юру» («Время», 1861, № 5). В конце 1861 г. он приехал на три недели в столицу: «В Петербурге,— писал он,— я познакомился с литературными кружками тех журналов, в которых мне приходилось печататься. Очень приветливо и сердечно приняли меня Достоевские, Михаил Михайлович, издатель и редактор журнала «Время», для которого я привез с собой новую большую повесть «Город и деревня», и брат его Федор Михайлович, только что возвратившийся из ссылки... Журнал «Время», начавший выходить только с этого года, имел большой успех, который более всего был вызван участием в нем Ф. М. Достоевского и в особенности «Записками из Мертвого дома»... Федор Михайлович был главной силой и душой журнала. Критика была на руках Михаила Михайловича Достоевского, Аполлона Григорьева и Н. Н. Страхова, тогда молодого и начинающего писателя, еще недостаточно определившегося. Политический отдел вел Разин...»

Характеристику Страхова Бунаков немного далее в своих «Записках» пополнил рядом эпитетов, которые свидетельствуют, какое обманчивое впечатление произвел злой враг материализма и революции на молодого провинциала, через полгода ставшего чле-

---

[13] *Ф. Кузнецов.* Публицисты 1860-х годов. Круг «Русского слова». М., 1969, стр. 149.

ном «Земли и Воли». Огорчившись закрытием «Времени», Бунаков удивлялся, что причиной послужила статья, «принадлежавшая — кому же? — благодушнейшему, благонамереннейшему и скромнейшему Н. Н. Страхову» [14].

Может быть, во всю следующую жизнь Ф. М. Достоевскому не приходилось так много общаться с молодежью разного социального происхождения и положения, но объединенной интересом к вопросам общественной и литературной жизни, как во время руководства журналами «Время» и «Эпоха». Это обстоятельство нельзя не учитывать при анализе романов Достоевского и изображения в них разных представителей молодого поколения.

Мы остановимся пока на характеристике лишь двух молодых сотрудников журнала, с которыми Ф. М. Достоевскому пришлось ближе лично познакомиться. Они хотя и не сыграли значительной роли в журнале, но их направление и поведение было характерно для эпохи и могло послужить в будущем художественной деятельности Ф. М. Достоевского.

Михаил Иванович Владиславлев (род. 1840 г.), сын сельского священника, окончил Новгородскую семинарию, учился в С.-Петербургской духовной академии, но вследствие какого-то столкновения с преподавателем греческой словесности был, вместе с другими участниками, временно выслан из столицы. Еще весной 1861 г. он сделал попытку сотрудничать во «Времени», представив в редакцию статью, по поводу которой М. М. Достоевский ему писал 8 мая 1861 г., еще не зная ни его имени и отчества, ни адреса: «Мне необходимо поговорить с Вами о Вашей критической статье (книга о. Федора), которую я прочел со вниманием и большим удовольствием».

О. Федор — это Александр Матвеевич Бухарев, богослов, монах, профессор и инспектор Казанской духовной академии. В 1860 г. в Петербурге вышли его статьи «О православии в отношении к современности», а в начале 1861 г. «Три письма к Гоголю» (по поводу его «Выбранных мест из переписки с друзьями»). В 1861 г. Бухарев подал прошение о снятии сана и монашества, вследствие чего был удален в провинцию и подвергнут опале. О какой книге писал Владиславлев — неизвестно, но М. М. Достоевский принял его статью в № 6 «Времени» и уплатил 70 р. гонорара. Вероятно, в связи с событиями в жизни Бухарева, духовная цензура статью Владиславлева не пропустила. Так как до нас дошло свидетельство Ап. Григорьева, поклонника Бухарева, о скептическом отношении М. М. Достоевского к Бухареву, не признававшего в нем «глубокого мыслителя», надо думать, что и одобренная им статья Владиславлева была достаточно критической.

---

[14] Записки Н. Ф. Бунакова «Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно провинциальною. 1837—1905». СПб., 1909, стр. 48, 50, 67.

Между редактором и начинающим сотрудником установились дружеские отношения. М. М. Достоевский предлагает Владиславлеву книги для разбора, жалеет о его отсутствии, обещает хлопотать о его возвращении в Петербург и высоко ценит его большие, обстоятельные статьи. 1 декабря 1861 г. он пишет ему: «Мы оба с братом ждем Вас с нетерпением. Статья Ваша об А⟨нглийских⟩ университетах очень хороша, и мы оба очень рады тому». В следующем письме от 25 декабря 1861 г.: «Статья о Сперанском — *превосходна.* И мне и брату она чрезвычайно понравилась, и мы печатаем ее в этой декабрьской книге. Слог был только местами шероховат, но я сгладил. Сердечно благодарю вас за статью эту. Из вас выйдет славный критик-публицист, только не пренебрегайте слогом. Мы Вами очень дорожим, а еще более любим вас». Сообщая о том, что «всегда нуждается в критиках», он посылает ряд книг для разбора, но готов взять и то, что сам Владиславлев отберет для рецензирования: «Пишите, о чем хотите, только напишите, голубчик, хорошо».

М. И. Владиславлев продолжал очень интенсивно сотрудничать во «Времени» в 1862 г., вернувшись в Петербург. Статьи Владиславлева без подписи, но с февраля по июль он получил 561 руб., т. е. написал не мнее 11 печ. л. по высшей ставке — 50 р. 1 л., вероятнее же, дешевле по цене и более по объему. М. И. Владиславлев сблизился с семейством М. М. Достоевского, его старшим сыном и дочерью, учившимися в консерватории, и жившим у них родственником А. А. Бергманом. До нас дошли письма Владиславлева к ним, которые мы цитируем далее. По ним видно, что Владиславлев живет интересами редакции, помогает в выпуске книг, но осенью 1862 г. получает командировку за границу для подготовки к профессорской деятельности, где слушает Куно Фишера, Лоце и других немецких философов.

По возвращении в начале 1864 г. Владиславлев стал работать в «Эпохе», а в 1865 г. женился на дочери М. М. Достоевского. Вся его дальнейшая научная деятельность (докторская диссертация «Философия Плотина, основателя новоплатоновской школы» (1868), перевод «Критики чистого разума» Канта и др.) свидетельствует о нем как представителе философской идеалистической школы, а успехи в университете (в 1887 г. был назначен ректором) говорят о его консервативных политических взглядах.

Но что-то от его демократической, прогрессивной позиции, отразившейся в его первых статьях во «Времени», в нем оставалось и позднее. До нас дошло свидетельство Л. Ф. Достоевской, что Владиславлев увидел в Раскольникове «оскорбление» для русского студенчества и сказал об этом автору «Преступления и наказания», что якобы испортило их отношения. А в 1873 г. Ф. М. Достоевский, сообщая жене о своем посещении Победоносцева и о том, как хозяин в 12 часов ночи провожал его со

свечой по трем темным лестницам, многозначительно заметил: «То-то увидал бы Владиславлев» [15].

Другой молодой сотрудник «Времени», с которым по личным мотивам пришлось столкнуться Ф. М. Достоевскому, был М. В. Родевич, также сын священника, из провинции, но имевший «от С.-Петербургского университета диплом на звание учителя русского языка и словесности». Он начал сотрудничать во «Времени» с августа 1862 г. Известны четыре его подписанные статьи, которые, имея в основе разбор той или иной недавно вышедшей книги, по существу являются публицистическими выступлениями на социальные темы: о связи проституции с буржуазным общественным строем, о ненормальном положении женщины, о происхождении нищенства и беспомощности частной филантропии, о вредной полицейской обстановке в современной школе, разлагающей нравственность учеников, и др.

В своих суждениях и приговорах, достаточно решительных, Родевич все время апеллирует к Фурье, Литтре, Конту, Оуэну и Белинскому. Как мы покажем далее, установки этих статей очень далеки от объявленной программы журнала. Тем не менее, автор их настолько приобрел доверенность Ф. М. Достоевского, что он поручил Родевичу обучение своего пасынка П. Исаева, а на время отъезда за границу поселил их вместе и поручил Родевичу все заботы о пятнадцатилетнем подростке. Ряд недоразумений бытового характера, которыми закончилось это предприятие, и последовавший обмен резкими письмами между Достоевским и Родевичем объясняются, как мы думаем, в большой степени отрицательными свойствами посредника между ними — П. Исаева, которые не раз разоблачали и Ф. М. и А. Г. Достоевские. Но сыграло здесь роль и оскорбленное самолюбие Родевича, возмущенного возведенным на него обвинением, и обостренная мнительность Достоевского, болезненно реагировавшего на письмо Родевича. Сохранились два черновика ответа Достоевского, в которых нам интересны его высказывания о молодом поколении журналистов.

В более позднем тексте Достоевский писал Родевичу: «Я читал Ваши статьи о разных гуманных предметах и виноват был только в том, что поверил в *дело*, тогда как это все были только слова в гуманном мундире новейших времен». В предшествующей редакции это место читалось так: «Никогда не прощу себе этой ошибки. Но ведь если я и знал, что в «молодом поколении» есть несколько шарлатанов и ⟨негодяев⟩ прикрывающихся модными фразами и пренаивно думающих, что за модную, мундирную фразу им простятся всякие ⟨пакости⟩ ⟨безобразия⟩, то обратно, настолько же я и верил в молодые и свежие силы,

[15] Письма Ф. М. и М. М. Достоевских к М. И. Владиславлеву 1861—1862 г.— Жур. «Искусство» М., 1927, кн. 1, стр. 99; «А. А. Григорьев», стр. 266—268; «Достоевский в изображении его дочери, Л. Ф. Достоевской», 1922, стр. 42; Письма, т. III, стр. 69.

чтоб считать, что негодяи составляют одно только исключение. Вы тогда еще не дали мне никакого повода судить о вас дурно... Вы писали модные статейки на модные темы, и хоть статейки ваши ровно ничего о вас самих не доказывали, но по крайней мере можно было верить в вашу искренность и честность». Хотя письмо к Родевичу было вызвано частным случаем, но Достоевский вложил в него более общий смысл, о чем и говорил в конце второй редакции: «Я написал Вам слишком длинное письмо. Но это единственно потому, что давно уже хотелось, Вам ли, другому ли, так называемым прогрессистам, ⟨а в сущности⟩ внушить, что прогресс состоит не в фразе и что недостаточно модной фразы для успокоения собственной совести и для прикрытия безобразнейших беспорядков» [16].

А. С. Долинин, в комментариях к этому письму, высказал предположение, что Достоевский «навсегда запомнил нравственный облик этого нигилиста-поповича; может быть, некоторые черты его воспроизведены в лице семинариста Ракитина из «Братьев Карамазовых» [17].

Как мы выше сказали, это сопоставление должно быть расширено: не только Родевич и не только Ракитин могут быть сближены, а ряд молодых людей, окружавших в 1861—1865 гг. Достоевского, мог быть у него в памяти при создании Разумихина, молодежи в «Подростке», «Идиоте» и в «Братьях Карамазовых».

Хотя мы коснулись в этой главе лишь части сотрудников «Времени», но и из этого материала можно сделать некоторые выводы. Страхов свидетельствовал, что в редакции «Времени» «в течение нескольких лет, днем и ночью происходили бесконечные споры» и люди делали попытки «перестраивать или исправлять свое миросозерцание чуть ли не с самых основ». Он указывал, что одним центром был А. А. Григорьев, другим Ф. М. Достоевский. Но мы ощущаем другое размещение сил. Действительно, одним полюсом был А. А. Григорьев, с его сложным в прошлом путем и стремлением в настоящем найти связи западничества с славянофильством, не отвергая и погодинскую «народность» и, вопреки всему, постоянно обращаясь к Белинскому и споря и восхищаясь им. Его спутником стал Страхов, пафос которого, однако, был вовсе не в поисках «почвы», а в непримиримой вражде к материализму и пропаганде борьбы с ним. На другом полюсе стоял «Стенька Разин» — т. е. А. Е. Разин, который последовательно, из месяца в месяц вел в журнале радикальную демократическую линию, приближая журнал к «Современнику» и вызывая ненависть Григорьева. Линию Разина проводили П. Ткачев, Благовещенский, Бибиков, Щеглов, Родевич и ряд художников слова — Помяловский, Левитов, Воронов и др. А центр составляли люди 40-х годов, либеральные демократы, частично

[16] В угловых скобках зачеркнутый Достоевским текст.
[17] Письма, т. I, стр. 383—390, 574—576.

связанные в прошлом с кружком Петрашевского,— Плещеев, Милюков, М. Достоевский, Порецкий, Полонский, к которым примыкала частично и молодежь — Ф. Берг, Владиславлев и др. Жизнь редакции «Времени» проходила во внутренней борьбе, в которой выковывалось не только направление журнала, но и мировоззрение Ф. М. Достоевского. Но вместе с тем редакционная жизнь протекала и в хорошем дружеском общении разных поколений, в совместной работе над общим дорогим делом. В 1868 г. Страхов писал Достоевскому: «С грустью вспоминаю я о веселых редакционных временах и как хорошо я понимаю теперь Ап. Григорьева, который всю жизнь тосковал о времени молодой редакции «Москвитянина»[18].

До нас дошел рассказ начинающего писателя о посещении им впервые редакции «Времени» с описанием встреченных там сотрудников и среди них центральной фигуры — Ф. М. Достоевского. Нам кажется, что этот рассказ поможет реально представить себе атмосферу, в которой создавался журнал:

«Однажды я с замиранием сердца шел в редакцию только что возникшего в тот (1861) год толстого ежемесячника «Время» братьев Достоевских, органа так называемых «постепеновцев», «почвенников» с Аполлоном Григорьевым во главе, присылавшим свои критические статьи из Оренбурга и вдохновлявшим страстностью своей фанатичность собратьев по журналу. Сердцу моему было отчего замирать: мне предстояло увидеть воочию ряд писателей, в особенности автора «Записок из Мертвого дома»... Я нес в редакцию переводный рассказ ради подкрепления моих слабых дел из-за хлеба насущного. Передо мной предстала целая галерея пишущего люда разных рангов. Были тут: Страхов, забытый теперь философ, ставший виновником закрытия «Времени»... Майков, «наш флюгер-поэт», как окрестил его Апухтин; Алексей Егорович Разин[19], поэт-бородач Мей, тут же нервно набрасывавший стихи, чтобы немедленно пустить их «в обращение»; другой поэт — Федор Берг, высокий человек, напоминавший верстовой столб, с русой, слегка вьющейся шевелюрой, под пиджаком, достаточно потертым, носивший красную кумачовую косоворотку, как символ свободы... Николай Курочкин, брат переводчика Беранже, врач, сатирик, буржуй в самом неприглядном смысле, еще один поэт, Апухтин, худощавый, золотушный юноша, и, наконец, Всеволод Крестовский, «мастер на все руки», принятый во всех литературных кругах. На мое появление никто не обра-

[18] Сб. «Шестидесятые годы», стр. 259.

[19] Наружность Разина П. В. Быков описал на предшествующих страницах воспоминаний: «Красивый, видный, прекрасного сложения, высокого роста, бородач, он сразу производил обаятельное впечатление. Умные, выразительные глаза, светившиеся добротой, незлобивостью, взгляд немного исподлобья, ласковый, но и упорный, проницательный... большой, открытый лоб, по которому проходили уже борозды, не особенно, впрочем, заметные... Черты лица настоящего русского типа невольно бросались в глаза» (стр. 46—47).

тил внимания, и я чувствовал себя очень неловко; заметил меня Разин и тотчас поспешил перезнакомить со всеми присутствующими.— Потерпите немного,— ободрял он меня,— сейчас вон из той двери выйдет Федор Михайлович; пожалуйста, не робейте только. В случае надобности приду к вам на подмогу,— добавил он со своей доброй улыбкой.

И наконец я увидел *его*. Немного выше среднего роста, он смотрел старше своих сорока лет, шел сгорбившись и слегка вперевалку. Порою казалось, будто он хочет налететь на кого-то и, точно спохватившись, замедляет шаги. Глаза его быстро перебегали от одного лица к другому. Толстая мрачная складка легла у него между бровей, густых взъерошенных; губы как-то нервно подергивались. Бегающие глаза его остановились вдруг на мне. Я с большим трудом мог выносить его испытующий, можно сказать, пронизывающий насквозь взгляд, от которого становилось неловко, даже как будто жутко.

— Это что? — спросил меня отрывисто Достоевский.— Статья? Рассказ?.. Не надо... Не надо... Довольно... У нас все есть...

— Я принес на ваше усмотрение перевод... С французского, из Амедея Ашара,— выпалил я скороговоркой.— Рассказ недавно напечатан в «Фигаро».

— Находка! Зачем нам? Даром время потеряли,— ответил, пожимая плечами Достоевский и круто отвернулся от меня.

В это время Разин, обещавший прийти мне на подмогу, поймал писателя и что-то горячо стал ему доказывать. Достоевский вернулся ко мне, взял рукопись из моих дрожащих рук, погладил меня по голове, к великому моему изумлению и конфузу, и бросил на ходу: — Придите через два дня.

Я занес в мельчайших подробностях описание и впечатление этой первой встречи моей с знаменитым писателем в мой дневник».

Через два дня Быков пришел за ответом, узнал, что Разин много говорил о нем с Федором Михайловичем и тот не только принял перевод, но участливо стал его расспрашивать о его трудах и намерениях и дал ему рекомендации в журналы «Русский мир» и «Русское слово». В № 8 «Времени» за 1861 г. была напечатана в «Смеси» стр. 65—102 повесть Амедея Ашара «Мечтательница» без указания имени переводчика, повесть чрезвычайно мало гармонирующая с направлением и преобладающим характером материалов журнала.

Быков описал и еще одно посещение редакционного собрания во «Времени», вероятно, конца 1862 — начала 1863 г., на котором И. А. Салов читал свою повесть «Бутузка», напечатанную в № 2 и 3 за 1863 г. Повесть обсуждалась, и Федор Михайлович, хваля ее, ставил начинающему писателю в пример (см. глава XI) [20].

---

[20] См. *П. В. Быков*. Силуэты далекого прошлого, стр. 51—52.

Глава IV

Крестьянская реформа в журнале «Время»

Трудности, которые испытывала цензура в связи с ростом и активностью журнальной деятельности в начале 60-х годов, вызвали министерство народного просвещения на издание специального руководства для цензоров [1]. В его «Введении» читаем: «С самого начала 1862 года периодическая литература наша обращала особенное внимание на предметы правительственной деятельности и вопросы, вытекавшие из условий общественной жизни. Сочинения чисто литературные не выдвигались на первый план и не возбуждали особенного интереса в читающей публике.

Это настроение в литературе замечается отчасти уже в начале нынешнего царствования. С опубликованием же 1 января 1862 г. в «Северной почте» известия о работах, находившихся в окончательном рассмотрении высших государственных учреждений, участие журналистики нашей к правительственной деятельности выразилось еще сильнее». Перечислив 22 издания, «рассмотренных для составления Обозрения» (в перечне их «Время» стоит на пятом месте после «Современника», «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения» и «Русского слова»), автор называет «главные предметы рассуждений нашей журналистики»: I — Крестьянский вопрос. II — Дворянский вопрос. III — Вопрос о преобразовании судебной части, и т. д. до последнего — XII — Вопросы жизни общественной. В характеристике этого раздела обозреватель писал: «С конца минувшего года в периодической литературе стало заметно увеличиваться количество статей по вопросам жизни общественной, возникших отчасти вследствие новых условий, в которые поставлено общество реформами последних лет. Чисто литературные цели преследовались слабо даже в романах, повестях и в самых легких произведениях беллетристики. Это можно заметить особенно в петербургских изданиях: в «Современнике», «Русском слове», «Библиотеке для чтения», «Времени» и даже в юмористических газетах и листках».

---

[1] «Краткое обозрение направления периодических изданий и газет и отзывов их по важнейшим правительственным и другим вопросам за 1862 г.». СПб., 1862. Об этом издании см.: *Н. К. Лемке.* Эпоха цензурных реформ, 1859—1865. СПб., 1904, стр. 440—448.

Надо отдать справедливость официальному пособию для цензоров: оно правильно наметило область, куда прежде всего должно было быть направлено их внимание. Художественная литература и даже литературная полемика в указанных журналах были отодвинуты на второй план, а на первое место вышли статьи, связанные с актуальными темами современной общественно-политической жизни. Без их рассмотрения не может быть в должной мере понят и оценен не только подбор художественной прозы и поэзии, но и научных статей философского и исторического содержания. Первостепенное значение получали отделы внутренних обозрений в журналах и связанных с ними информаций и комментариев. Как указывает исследователь этого журнального жанра, именно на рубеже 1850—1860-х годов ведутся поиски новой его формы, которая органически соединила бы «оперативную информацию об общественных событиях в стране с публицистическим комментарием, современным и злободневным истолкованием событий. В таких поисках участвовали все крупные столичные и московские журналы, но первую тропу в этом направлении проложили публицисты революционно-демократического «Современника».

Правильно указав далее на роль Добролюбова в определении задач «Внутреннего обозрения» в его письмах 1860 г. к Славутинскому и детально разобрав публицистические обозрения в «Современнике» Елисеева, исследователь не совсем справедливо обобщил «в методе отбора и оценки новостей» все остальные журналы. Перечислив их (и среди них «Время»), он нашел, что их «документальной основой являлись, как правило, «бумажные» факты. Сенатские указы, отчеты министров, различных комитетов и ученых обществ занимали главное место в названных выше хрониках и обозрениях, «крупицы действительности» — живые факты общественной и политической жизни России — были на втором плане, а часто и вовсе выпадали из поля зрения публициста» [2].

Этот упрек надо отвести от «Внутренних новостей» журнала «Время», хотя их вел в 1861—1862 гг. «статский советник» Порецкий, которого Ф. М. Достоевский характеризовал в письме к Тургеневу как «тихого, кроткого, довольно образованного и без литературного имени человека» [3]. Облик Порецкого, казалось бы, мало подходил для того боевого, полемического направления, о котором было сказано в «Объявлении» о журнале. Так как «Внутренние новости» во «Времени» все время соединяют и злободневно-информационный и публицистический характер, мы думаем, что в их составлении принимали участие как оба брата Достоевских, так и ближайшие сотрудники журнала.

---

[2] *Н. П. Емельянов.* У истоков жанра («Внутреннее обозрение» в журнале «Современник»).— «Русская журналистика XVIII—XIX вв.». Л., 1969, стр. 79—101.

[3] Письма, т. I, стр. 377, 378.

Информация считалась Ф. М. Достоевским основой отдела, но не «голая» информация, а идейно осмысленная. До нас дошло его обращение к Порецкому по поводу «Внутреннего обозрения» в одном из номеров «Эпохи»: «Ради бога, умоляю вас, присядьте поскорее за «Внутреннее обозрение», Филиппов написал ужасную дичь. Надобно спешить, Александр Устинович, а потому, если на то пошло, наделайте хоть побольше выписок (не сплошь, конечно), но только чтобы вышло побольше Обозрение. Хорошо бы тоже связать все какой-нибудь общей мыслью, общим взглядом...» [4].

Можно думать, что «выписки» из газет и других изданий делал также не один Порецкий. Молодой сотрудник редакции Владиславлев, описывая свой день в письме 3 июня 1862 г. сыну М. М. Достоевского, сообщал: «В 12 ⟨часов⟩ отправлюсь к Михаилу Михайловичу, где уж неукоснительно всякой раз в это время бывает Николай Николаевич ⟨Страхов⟩. В газеты и я пустился, и сделался, как и он, газетофилом».

Интересно в связи с этим вниманием к газетной информации вспомнить о плане Лизы Тушиной в «Бесах» (ч. I, гл. 4), которая задумала издание собранной в одну книгу газетной информации за год: «Издается в России множество столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий... Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются. Многие желали бы потом справиться, но какой же труд разыскивать в этом море листов, часто не зная ни дня, ни места, ни даже года случившегося происшествия?» Собранные в одной книге, эти информации могли бы «обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год, несмотря на то, что фактов публикуется чрезвычайно малая доля в сравнении со всем случившимся». Давая дальше разъяснения Шатову, Лиза говорила: «Конечно, не все собирать и перепечатывать. Указы, действия правительства, местные распоряжения, законы, все это хоть и слишком важные факты, но в предполагаемом издании этого рода факты можно совсем выпустить. Можно многое выпустить и ограничиться лишь выбором происшествий, более или менее выражающих нравственную личную жизнь народа, личность русского народа в данный момент. Конечно, все может войти: курьезы, пожары, пожертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожалуй даже известия о разливах рек, пожалуй даже и некоторые указы правительства, но изо всего выбирать только то, что рисует эпоху; все войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслию, освещающею все целое, всю совокупность». Лиза хотела бы, чтобы книга давала «картину духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год».

---

[4] Письма, т. I, стр. 379.

Здесь был нарисован Достоевским его идеал журнального внутреннего обозрения. Как видим, вопросы социального, экономического существования народа не были им названы и, вероятно, не были обязательны для обозревателя «Времени». Но характер эпохи был таков, что обойти их было невозможно. Заняли они свое место и во «Времени». Идейно осмысленная информация всегда присутствовала в журнале, причем ее публицистическая заостренность с месяцами росла и расширялась.

В 1861 г. отдел назывался «Внутренние новости» с подзаголовком «Обзор современных вопросов» и помещался после «Критического обозрения» и перед «Политическим обозрением». В первом номере «Времени» «Внутренние новости» начинаются как бы вступлением от редакции, которая заявляла, что она придает этому отделу «значительную степень важности» и хочет, чтобы его «читали, а не оставляли неразрезанным». Далее давалась характеристика современного переходного состояния общества от миновавшей поры к новой, еще неясной. «Русское общество долго не смогло само заботиться о всех своих нуждах физических и нравственных» и пользовалось только тем, что ему давалось и чему его учили по иностранной методе. Но наступила пора самостоятельного роста, развития. Оно вступает в свое совершеннолетие, и задача журнала следить за «первыми, еще неровными шагами настоящей, живой общественной деятельности». Как признак «юности» общества обнаружился недостаток знания практики, разъединение мысли и дела и другие противоречия. За пять последних лет сделано много, но «многое, очень многое и остается еще только предметом ожиданий и желаний». Еще все в поисках путей, в страхе «не сбиться, не заблудиться, *не отстать*», еще не сброшен «ветхий человек» «Да! могуча сила предания — невозможно было обществу побороть ее в пять лет! Если теперь прислушаться чутким слухом к настроению целой массы нашего общества в отношении к каждому из новых социальных вопросов, то непременно почуется в этом настроении нерешительность, неизвестность — к чему пристать и чего держаться...».

Мы думаем, что эта вводная часть «Внутренних новостей» была написана при ближайшем участии редакции журнала, так как она развивала основные мысли, высказанные в «Объявлении».

Далее идет разговор об основных темах современной русской жизни, и начинается он несколькими строками о предстоящей крестьянской реформе, строками общего восторженного характера, но ими эта тема в отделе и исчерпывается: «Первая из заданных для общего размышления тем была вместе с тем и самая капитальная, самая святая тема, какая только могла быть поднята из нашей жизни и кроме которой никакая другая не могла в такой степени и так быстро разбудить, оживить и согреть всю громадную массу русского общества. Это был так называемый вопрос об улучшении крестьянского быта». Оставляя рассмотрение других тем «Внутренних новостей» до следующих

глав, в этой мы остановимся лишь на материалах, относящихся к крестьянской реформе.

В творчестве Достоевского 40-х годов крепостное право и отношение к нему автора почти не нашло отражения. Если не считать рассказ о судьбе крепостного интеллигента, скрипача Ефимова в «Неточке Незвановой», его «бедные люди» и «униженные и оскорбленные» — продукт городской жизни, а деревня встает лишь как идиллический фон в воспоминаниях Вареньки Доброселовой. Но личные трагические переживания, связанные со смертью отца, убитого крепостными, страстный порыв, с которым Достоевский-петрашевец дважды читал в кружке «Письмо Белинского к Гоголю», позволяют представить себе его подлинные мысли о крепостной деревне, кровоточащую рану его душевной жизни. Пребывание в «Мертвом доме» широко пополнило его знания в этой области и углубило ее оценку.

К взаимоотношению арестантов из народа и из дворян Достоевский много раз возвращался, постоянно отмечая свои тяжелые болезненные переживания, связанные с отчуждением, враждебностью арестантской массы по отношению к дворянам: «Ненависть, которую я, в качестве дворянина, испытывал постоянно в продолжение первых лет от арестантов, становилась для меня невыносимой, отравляла всю жизнь мою ядом». Именно здесь Достоевский чрезвычайно конкретно ощутил на себе, что «благородные» разделены с простонародьем глубочайшею бездною» и что ежедневное даже дружеское общение с народом «в виде благодетеля и в некотором роде отца» — ничего не может, в сущности, изменить, и будет только внешностью, «оптическим обманом»: «Я убедился не книжно, не умозрительно, а в действительности, и имел очень довольно времени, чтобы проверить мои убеждения». Там же, на каторге, Достоевский убедился в исключительной даровитости русского народа, в его чувстве собственного достоинства, чувстве справедливости и жажде ее. Вся совокупность этих переживаний, несомненно, питала «почвенническую» идеологию, которую Достоевский проводил позднее в журнале.

Во время жизни в Семипалатинске Достоевский не мог следить в полной мере за происходившей подготовкой к крестьянской реформе, тогда как в столице были известны (более по слухам, так как не разрешались к опубликованию) сведения о работе Секретного, а потом Главного комитета по крестьянскому делу и о деятельности губернских комитетов. Лишь во время жизни в Твери, во второй половине 1859 г., вращаясь в среде губернского дворянства и высшего чиновничества, Достоевский, вероятно, был полностью информирован о жестокой борьбе вокруг проекта реформы, в которой тверское дворянство, возглавлявшееся предводителем А. М. Унковским, принимало самое горячее участие и занимало наиболее «прогрессивную» помещичью точку зрения. Именно в августе 1859 г. первоначальный проект «По-

ложения о крестьянах» был закончен, но подвергся изменениям в связи с замечаниями депутатов от губернских комитетов, вызванных в Петербург. Пять либеральных депутатов во главе с Унковским указывали, что для окончательного завершения крестьянского дела необходимо провести ряд реформ в области печати, суда и администрации. Проведенный в Петербурге 1860 год в общении с представителями столичной интеллигенции, главным образом журналистов, конечно, полностью ввел Достоевского в горячую атмосферу предреформенной борьбы.

В январской и февральской книгах за 1861 г., кроме приведенных выше строк, нет ничего о реформе, но в составе «Внутренних новостей» и в общем составе книг есть сигналы, ее предвещающие. Восхваляя гласность, благодаря которой на страницах печати появляются сообщения «о всяком совершающемся на белом свете безобразии», «Время» привело в первой же книге два случая, оба напоминающие эпизоды из «Братьев Карамазовых»: сообщая, как господа и полиция вступились за седока, избившего до крови извозчика, «Время» возмущенно пишет: «взять за бороду без суда, без всякого права, на том только основании, что вы господин, а не извощик!..» Перепечатало «Время» сообщения из № 276 и 280 «Северной пчелы» о том, как собаки одной мызы заели крестьянскую девочку и как шло судебное разбирательство. Во второй книге «Времени» приведена потрясающая картина труда и быта крепостных, запроданных своими владельцами в калужские рогожные мастерские, в условия, ведущие к самоубийству несчастных. Сведения взяты из «Московских ведомостей».

Сравнивая «Внутренние новости» с пульсом, который отражает состояние русского общества, обозреватель указывал, что их задача сигнализировать подбором фактов симптомы здоровья общественности. Он приветствовал происходящие везде съезды, в которых обнаруживается прекрасное стремление решать общественные вопросы «совокупными силами», и рассказывает об обеде в Московском университете 12 января 1861 г. с выступлением Погодина о предстоящем важнейшем государственном преобразовании и с чтением пушкинских строк: «Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный И рабство, падшее по манию царя...»

«Современник», как указывают исследователи, демонстративно не напечатал никаких материалов, прямо связанных с царским манифестом 19 февраля и «Положениями», в то время как мартовские обозрения других журналов были целиком посвящены восторженному славословию происшедшего события («Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Московские ведомости» и др.). Что касается «Времени», то в Отделе III перед «Внутренними новостями» был помещен полный текст манифеста и помещено несколько фраз о «великом событии», о славе Александра II и о начале нового этапа в истории России. Далее были даны статистические данные о тех, кого затронула реформа (23 с лишним

миллиона крестьян и 116 тысяч их бывших владельцев), и говорилось о ее значении для экономической жизни страны и нравственного развития человека: «В основании разрешающегося теперь дела, с которого начали мы нашу статью, лежит великая идея развития свободного труда; эта идея начинает осуществляться у нас в параллель с ходом крестьянского дела и вне его пределов... Преимущества свободного труда над несвободным уже давно не подлежат никакому спору; они огромны не в одном экономическом смысле: за развитием свободного труда неизбежно следует развитие чувства человеческого достоинства, которое необходимо предполагает и возвышение уровня народной нравственности». Проявленное здесь внимание к нравственному значению ликвидации крепостного права, к защите личности человека стало лейтмотивом почти всех высказываний «Времени» о реформе. Естественным следствием было усиленное внимание к нарушениям дарованных прав со стороны бывших владельцев и полиции (телесные наказания и др.), а также интенсивное внимание к проявлениям интересов крестьян к грамоте, к культуре. Что же касается экономических условий, в которых оказались бывшие крепостные, и какова была их реакция на эти условия, то эти вопросы в первые месяцы издания «Время» не затрагивало.

В апрельской книжке, в первом отделе, без подписи была помещена статья «19 февраля 1861 года». Ее начало и конец развивали основную идею журнала, изложенную в «Объявлении», и могут быть приписаны редакции. Называя крестьянскую реформу величайшим историческим событием, которое может быть сопоставлено с крещением, освобождением от татарского ига, реформами Петра и 1812 годом, автор видит ее главное значение в прекращении разрозненности сословий: «Наступает пора постепенного соединения народа в гармоническое стройное целое: на месте искусственного сожительства людей на одной почве создано органическое целое — нация». Далее даются вкратце «главнейшие черты всех положений 19 февраля», о правах и сроках временнообязанных, о примерной оплате наделов в разных частях России, оброке, выкупе усадьбы, о правах и обязанностях старост, сельских и волостных сходов, о мировых посредниках, их съездах и губернских присутствиях. Освещая все статьи выкупа как «выгодные» для помещиков, автор называет их «незаметными» (?) для крестьян. Статья заканчивается патетическим призывом: «Теперь открылось необыкновенно широкое, блестящее, прекрасное поприще для деятельности образованнейших и лучших из наших дворян. Дело слития сословий в одно органическое целое, в одну нацию началось 19 февраля 1861 г., и теперь от деятельности и правдолюбия избраннейшей части нашего дворянства будет зависеть успешность этого организования...— Да будет свет! — И бысть свет».

«Время» отлично сознавало уже в апреле трудности, которые ожидали тех, кому предстояло проводить реформу. Освещая от-

клики на манифест в печати — призывы к общему труду на пользу новых взаимоотношений, к новым обязанностям дворян, «Время» признавало, что на Руси найдутся «люди правды», но напоминало и о тех, кто еще недавно не верил в возможность отмены крепостного права и видел в этом «чуть не светопреставление». Они не могли сразу измениться: «Да! многим русским людям должно или переродиться, или сойти со сцены».

Во «Внутренних новостях» проводилось настойчивое требование отменить телесные наказания и отучить народ от них: «А это привычка уже конечно не из тех, от которых отвыкать трудно, и не знаю, что другое могло бы так успешно произвести нравственное перерождение русского человека, как эта отвычка». В том же апрельском номере, приводя рассказ крестьянина из газеты «Амур» о попытках крестьян к переселению, окончившихся поркой, обозреватель отмечал, что в тоне рассказа звучит «покорность судьбе», и так объясняет ее: «Удивительного тут, впрочем, ничего нет; всякая черта в народе слагается из условий его быта, а эта черта давно замечена в русском народе». «Время» приветствовало циркуляр Нижегородского губернатора, обращенный к исправникам, с требованием, чтобы они, вместо «палок, розог, дранья и тасканья за бороду, биения по зубам», употребляли силу внушения и убеждения, вникали бы в нужды крестьян и, изменив свое обращение, не позволяли бы себе сделок и взяток, идущих в ущерб крестьянам.

Надо отметить, что параллельно с постоянным напоминанием о правах человеческой личности на всех социальных ступенях ее существования «Время» последовательно вело поход против сословных граней, которыми пыталось отмежеваться дворянство, обличало его чванство и презрение к «низшим» сословиям. В книге пятой высмеивается защита «бескорыстия» дворян, предводители которых не должны получать жалованья, так как это якобы марает их и унижает их должность. Обозреватель «Времени» видит в этом желание замкнуться в своей «чистой среде», предоставив всему остальному человечеству купаться в грязном болоте.

По неизвестной нам причине в № 6 журнала за 1861 г. произошла перестановка отделов и внутреннее обозрение стало помещаться после «Политического обозрения», которое стало третьим отделом, так как научный отдел как особый исчез, а научные статьи стали помещаться или в первом, или во втором отделе. Весь следующий за «Политическим обозрением» отдел четвертый получил общее название «Смеси», и в нем наряду с мелкими рассказами, информациями и фельетоном стали помещаться «Наши домашние дела. Современные заметки». Начиная их в «Смеси» июньского номера редакция шутливо писала о перемене места: «Мы заговорили о литературных пируэтах и скачках назад и вперед; но, право, не знаем, как это случилось. Разве не под влиянием ли нового места... Разрезывая книгу,

вы, может быть, заметили, читатель, что мы на новоселье... Да вы кажется не узнаете? Ведь это мы, *внутренние новости*! Нам отвели новое помещение с новою надписью, и мы очень рады: здесь на краешке как-то уютнее; здесь никого не стесняем, да и сами-то, правду сказать, как-то меньше стесняемся».

Думается, что на перемену места и названия повлияло то обстоятельство, что за пять месяцев отдел не сумел твердо определить своего лица, свою линию, слить воедино информационные и публицистические элементы, что являлось результатом слабости его руководителя Порецкого. Лишь попав в руки Разина в конце 1862 г., «Внутреннее обозрение» вернулось на старое место и потеряло свою рыхлость и случайность.

Отметим еще некоторые перепечатанные в «Наших домашних делах» информации, всегда характеризующиеся демократичностью, гуманностью и резким антисословным характером. Явна связь, например, известной главы «Дневника писателя» за 1876 г. «Фельдъегерь» с публикацией в шестой книге 1861 г. «Времени» сведений о жестоком обращении простого народа с животными и создании общества покровительства животным: «Жестокое обращение простого народа с животными замечается не только часто, но чуть не на каждом шагу; это, однако, не от особенного свойства жестокости, злости, а так потому, может быть, что самому ему было до сих пор не бог знает как сладко. Так что же за барыня такая его доморощенная кляча, что с ней надо церемониться. Сверх того при бедности хозяина и кляча его становилась все хуже и хуже...»

Эта мысль о связи дурных качеств народа с окружавшими его условиями крепостного права, с людьми, потерявшими человеческие чувства, постоянно проводится в «Обозрении»: «Придет время, и они исчезнут, когда у нас будет столько *людей*, чтоб можно было заменить этих *нелюдей*»,— пишет обозреватель, надеясь на новое поколение, кончающее высшие учебные заведения.

В седьмой книге в отделе «Смеси» была помещена специальная статья Н. Воскобойникова, впервые в журнале затронувшая процесс внедрения в деревне «Положения о крестьянах». Называлась она: «Заметка по крестьянскому вопросу. О выгодах третейского разбирательства споров между крестьянами и помещиками». Вспомним, что к этому времени уже многие губернии были охвачены крестьянскими волнениями, приведшими к кровопролитной расправе при помощи введенных войск (волнения в Пензенской губ., трагедия в селе Бездна Казанской губ. и др.). Статья Воскобойникова, датированная «5 июля 1861 г.», не могла не коснуться этих событий, конечно в пределах, допускаемых цензурой. Воскобойников в начале статьи заявлял, что хотя он взял лишь одну черту «великого вопроса», но взял ее «из оригинала», т. е. из жизни. Он прямо указывал на затруднения и недоразумения, которыми сопровождается решение

вопроса о выкупе усадьбы и земельного надела крестьянами, так как здесь переплетаются интересы помещиков и крестьян.

«Положение» требует добровольности соглашения и ставит пределы требованиям обеих сторон. Воскобойников разъясняет роль мировых посредников и третейских судов в возникающих несогласиях и при «взаимном недоверии» обеих заинтересованных сторон. Он упоминает «официальные известия» о волнениях в селе Бездна, где крестьяне заподозрили власти в стачке с помещиками, освещает роль «грамотеев», знакомящих крестьян с «Положением», и заблуждения, которым способствует невежество. Тем важнее, чтобы добросовестные помещики принимали на себя роль посредников в третейских судах, которые способствовали бы сближению сословий, помогали бы крестьянам изучать «Положение» и бороться с ложными слухами. Это относится также ко всем образованным людям, которые могли бы помочь в третейских разборах и облегчить труд мировых посредников [5].

В сентябре обозревателю «Времени» уже невозможно было молчать о положении в крестьянской России. В главке «Интересы мелкожитейские» он сообщал о целом ряде несчастий, которые преследуют русскую деревню в текущем году: засуха, пожары, плохой урожай, саранча, появление сибирской язвы, общее вздорожание товаров, печальные перспективы на зиму. Далее в главке «Нечто о крестьянском деле» он вновь обращается к жизни деревни и именно к отношениям крестьян и помещиков. Он должен был констатировать факты столкновений, хотя и не имел возможности писать о них открыто, но можно легко понять, что он имел в виду. В этих информациях он всегда неизменно стоял на стороне крестьян, хотя причину столкновений видел не в самом характере «Положения», обдиравшего, по словам Ленина, крестьян «как липку», а в ложных сведениях и невежестве крестьян: «Конечно, тяжело было слышать о так называемых недоразумениях, возникших в разных местах с началом полевых работ, но теперь и из печатных сведений и из устных отзывов и рассказов даже противоположных из двух заинтересованных сторон, узнаем, что почти ни в одном из этих недоразумений

---

[5] Н. Н. Воскобойников (р. 1838) поместил всего одну статью во «Времени», но, по свидетельству П. Д. Боборыкина, был близок к кружку Страхова, Ап. Григорьева «и довольно-таки язвительно рассказывал о жизни братьев Достоевских». Его направленность как журналиста Боборыкин, у которого в «Библиотеке для чтения» Воскобойников работал, охарактеризовал так: «Он искренне возмущался всем, что делалось тогда в высших сферах, и в бюрократии, и среди пишущей братии антипатичного, дикого, неблаговидного и произвольного. Его тогдашний либерализм был искреннее и прямолинейнее, чем у Зорина... Идеями социализма он не увлекался, но в деле свободомыслия любил называть себя «достаточным безбожником» и сочувствовал в особенности польскому вопросу в духе *освободительном*» (*П. Д. Боборыкин.* Воспоминания, т. I, 1965, стр. 338—341). Но уже в начале 60-х годов Воскобойников полемизировал с Чернышевским и «Искрой», а в дальнейшем занял влиятельное положение в редакции «Московских ведомостей» Каткова.

не был безусловно виноват сам народ, если ему не ставить в вину его неведения,— что эти недоразумения были вызваны отдельными недобрыми личностями...»

С явным недоброжелательством говорил обозреватель о помещиках, требовавших, чтобы мировые посредники защищали их интересы, о дворянах, которые заявили своему уездному предводителю, что он действует «пристрастно против дворянского сословия» и что они не согласны с ним и ему не доверяют. Предводитель выступил в печати с просьбой по этому случаю уволить его от должности, и «Время» отметило благородство тона этого выступления, особенно оценив, что человек проводит свои убеждения «не на бумаге, а на деле и в жизни» и призывает в судьи общественное мнение.

И в следующей, октябрьской книжке «Время» внимательно следит за крестьянскими делами: «Теперь весь народ живет положениями 19 февраля и разрабатывает их. Мы постоянно читаем сообщения и постановления мировых учреждений, губернских присутствий и главного комитета, разъяснения статей, положений, дополнений или изменений их, и вот в чем состоит существеннейшая черта этой общей работы: она порождается практическим применением этих статей, вызывается условиями народной жизни и тотчас вся входит в эту жизнь». По мнению обозревателя, в этой разработке выявляется дух народа и коренные черты его характера. Обнаруживается, однако, и его скрытность и «крайняя недоверчивость к бывшим господам». Народ подозревает в утаивании его прав, не желает ничего подписывать, держится уверенно, выражает свои мнения. Но автор обзора ясно намекает, как дорого достаются крестьянам выступления в защиту своих мнений, как продолжаются телесные наказания в виде «личной расправы» и по суду: «Нынешним летом было много поводов к этой печальной мере: сколько мы читали сведений о так называемых недоразумениях, а сколько еще осталось ненапечатанных и, следовательно, непрочтенных частных случаев личного уклонения от исполнения предписанных обязанностей».

Продолжая «наблюдения над проявлениями народа», автор обзора дает ряд сведений из газет и журналов: как себя ведут крестьяне, мировые посредники и помещики, как последние предъявляют чрезмерные требования и стремятся наказать несогласных крестьян, всюду проявляя явное сочувствие к крестьянам и осуждение их врагов.

В последних двух книжках «Времени» Порецкий продолжал собирать сведения о деятельности мировых посредников и хотя в целом находил, что они проявляют «светлое понимание и разумные действия», но отмечал, что встречаются и обратные явления, когда они арестовывают особенно активных крестьян и даже вызывают войска для усмирения. Откровенно писал Порецкий и о том, что подпись уставных грамот крестьянами задерживается в связи с их осторожностью, надеждой на получение

более благоприятных для них решений, чем те, которые закреплены в грамотах. В № 12 он приводит цифры: в 35 губерниях подписана 831 грамота, причина же неподписания остальных только отчасти в отсутствии планов и размежевания, а в основном в «ложной надежде» крестьян, их враждебной настроенности по отношению к помещикам. Он упоминает об организации крестьянами стачек против помещичьих наймов, что приводит к гибели урожаев на земле помещиков. Автор обзора с удовлетворением отмечал появление у крестьян общественных интересов в виде организации взаимного страхования, хранения денежных сбережений в казначействах и др. С особым вниманием отмечался предстоящий в 1862 г. выход издания «Мировой посредник», двухнедельной газеты, отражающей деятельность посредников и мировых съездов.

Подводя годовой итог в последнем номере журнала, Порецкий (а может быть, редакция?) писал, что задачей отдела была «ловля безобразных общественных явлений и всенародное их обличение», а также «внушение современных человеческих понятий, в силу которых замеченные явления необходимо должны быть признаны безобразными, а противоположные им — отрадными». Констатируя, что все вопросы общественной жизни тесно сцепляются друг с другом, автор отмечал, что важной темой обозрения была тема труда. «Перед кончиной обязательного дарового труда» стала ясна необходимость трудиться каждому человеку, живущему в обществе, заслужить право пользования его благами *собственным* трудом. Честный труд не может быть осужден ни при каком общественном положении, пишет демократически настроенный автор.

В первые месяцы 1862 г. выступления «Времени» по вопросу о взаимоотношении крестьян и помещиков получили в связи с журнальной полемикой боевой характер. Уже в конце декабрьской книжки 1861 г. была помещена небольшая заметка без подписи под названием «Дворянин, желающий быть крестьянином» по поводу № 45 и № 49 «Современной летописи», где сообщалось, что в Оренбургской губ. дворянин Мясоедов, женившись на дочери государственного крестьянина, захотел приписаться к семье тестя. Публикатор «Современной летописи» не понимал причины и выгод, которые могли бы побудить Мясоедова на это. Он приводил для сравнения психологию белокожего маркиза, который поселился бы среди ирокезов. «Два лагеря» исторически так отделились, что потеряли возможность понимать друг друга. Почти всякий так называемый «благородный», которому случалось иметь дело с простонародьем, с ужасом вспоминает о чрезвычайном упадке нравственности другой половины, об отсутствии добросовестности, о недостатке доверия к самым понятным и честным мерам. Автор «Времени», выступая в защиту народа, пишет, что «чувство правды, чести, справедливости точно так же присуще организму крестьянина, как и благородного». Приводя

примеры из народной жизни, он признает, однако, что крестьяне, честные между собой, не стыдятся обманывать лиц другого лагеря. «Антагонизм двух лагерей существует; реформа 19 февраля стремится к уничтожению, к сглаживанию неравноправности; но явление, укоренившееся историей, не сглаживается в один день или в один год; оно, старое, тогда только исчезнет, когда новое будет приобретено вполне». Автор «Времени», указывая на практические выгоды поступка оренбургского дворянина, считал вместе с тем, что «одних психологических причин за глаза довольно, чтобы оправдать желание г. Мясоедова».

Б. В. Томашевский, говоря о статьях в № 12 «Времени» за 1861 г., приписываемых Л. П. Гроссманом Достоевскому, и считая их принадлежность сомнительной, писал: «В том же номере обращает на себя внимание сходством с журнальными приемами Достоевского статья «Дворянин, желающий быть крестьянином». Однако и здесь мы не имеем достаточной уверенности, чтобы включать ее в текст». Чтобы судить о ее принадлежности Достоевскому, надо сопоставить ее с рядом высказываний о крестьянской реформе, которые мы находим в его статьях 1861 г.

Во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» он несколько страниц посвящает вопросу о сближении общества с народом, считая, что «пример к сближению нам подал сам монарх, устранивший последние фактические к этому препятствия, и нет ничего выше, ничего святее его дела во все тысячелетие России». И далее Достоевский с уверенностью утверждает возможность при прямоте, искренности, правдивости и, главное, любви преодолеть разрозненность, заслужить взаимное уважение и доверие. В статье третьей «Книжность и грамотность» Достоевский вновь упоминал о реформе как важнейшем шаге к объединению общества и народа: «В нынешнем году правительство высочайшим манифестом даровало народу новые права. Таким образом призвало его к наибольшей самостоятельности и самодеятельности, одним словом — к развитию. Мало того: оно до половины завалило ров, разделявший нас с народом, остальное сделает жизнь и многие условия, которые теперь необходимо войдут в самую сущность будущей народной жизни». И вновь далее говорит о необходимости сближения «двух исторических явлений» — народа и цивилизованного общества.

Нельзя не отметить негодование, которое вызвала в Достоевском помещенная в аксаковском «Дне» статья Н. Б. (Н. М. Павлова?), идеализировавшего отношения помещика к своим крепостным, и «деликатные» возражения и сопутствующие замечания самого редактора «Дня»: «До какой же отупелости должен дойти человек,— пишет Достоевский,— чтобы быть уверенным в *божеской* законности крепостного права. А если так, то как можно ручаться, что такой человек мог относиться к своему крестьянину *дружелюбно*. Вы говорите, что у нас не было ничего подобного феодальным отношениям на Западе? Ну нет-с: одно другого, верно,

стоило. Спросите у мужиков. «Крестьянин,— говорите вы,— не был для помещика виленем, а рабом божиим, христианскою душою». А холоп, хам, холуй, хамлет — что, эти названия, по-вашему, благороднее виленя?.. Но что говорить!.. Об этом так уж много сказано и это так для всех ясно, что трудно в настоящее время не понимать этого» [6].

Начиная обозрение в январской книге 1862 г. с подзаголовка «Наследство старого года: задачи и «День», «Время» обращает внимание на защиту аксаковской газетой в № 5 и № 7 дворянского сословия и приводит большие цитаты. «День» требовал уважения прав дворян, возникших из «начал, однажды допущенных нашей общественной жизнью». Нельзя приносить их в жертву, надо озаботиться о «материальных» интересах помещичьего сословия, не дать ему разориться, отчего пострадают невинные. Как выход предлагалась «Уставная грамота», проект текста которой помещался в газете. Ее основная мысль в том, чтобы крестьяне вносили оброк и оплачивали деньгами повинности не помещикам, а казне, а помещик получал бы из казны ежегодную ренту. От этого оброк «изменился бы в самом принципе».

Далее «Время» приводило рассуждения «Дня» о том, что такое русское дворянство, о его происхождении, о цензе для участия в дворянских выборах и т. д., и официальное разъяснение «Северной почты» по этим вопросам: в мыслях правительства не было, «что с отменой крепостного права русское дворянство утратило отдельное значение в ряду государственных сословий» (как это пишут некоторые газеты), что для русского дворянства крепостное право не было коренным условием существования и «оно призвано не к самоуничтожению, но к дальнейшему непосредственному участию при введении в действие тех законоположений, которыми означенное право навсегда отменено». Ограничившись приведением этих сведений по поводу дворянской позиции в проведении реформы и нашедшей выражение в «Дне», автор обзора во «Времени» закончил их замечанием, что сейчас не время рассуждать о «дворянском вопросе».

Но в февральском обозрении «бой о дворянах», начатый «Днем», получил дальнейшее освещение в сообщениях о позиции «Нашего времени», издаваемого Павловым, со статьями Чичерина и «Русского вестника» Каткова. Обозреватель «Времени» глубоко возмущен заявлением передовой «Нашего времени», что образованного человека «в точном значении слова» можно встретить только среди дворян: он или родится дворянином или становится им. Обозреватель заметил, что как ни толкуй эти слова, они остаются «во всем их буквальном безобразии». Раздражению Чичерина, который видит в либерализме отрицание всего законного,

---

[6] *Достоевский*, т. XIII, стр. 611, 58—60, 98—99, 153—154. Н. Б.— по «Словарю псевдонимов» Масанова — Н. М. Павлов — «День», 1864—1865 (т. II, стр. 211).

автор обзора противопоставляет свое понимание, как «разумное, честное, свободное, нестесненное никакими предвзятыми расчетами и целями, никаким нравственным мундиром стремление к лучшему». «Время» высмеивает мысли Чичерина об особом положении дворянства в обществе, его сплочении на основе его преданий, чести и прав, касается его споров с «Русским вестником» о существовании и значении в России среднего сословия. Отмечая разногласия этих изданий по вопросу о третьем сословии, «Время» иронически сожалеет, что союз Павлова, Чичерина и Каткова не состоялся, а мог бы быть «классическим». Свою точку зрения журнал нашел нужным изложить в особой статье, которая без подписи была помещена в мартовской книге под заглавием: «Дворянство и земство. (По поводу журнальных толков)».

Касаясь всех вопросов, поднятых в периодике вокруг судеб дворянства, «Время» в основном направляет статью против высказываний и защиты дворянства Чичериным. Вся первая часть статьи посвящена разбору прошлого русского дворянства как класса; автор утверждал, что у нас не было и не могло быть дворянства в том смысле, как в Западной Европе, не было завоевателей и завоеванных, а была служба князю. Он посылал на управление землями доверенных лиц, не закрепляя их первоначально ни земельной собственностью, ни владением людьми. Никакого духа корпорации, сословности не было у этих людей, была борьба между ними, и закрепление земель и крестьян немного этому помогли. Петровский табель о рангах, потребовавший непременной службы дворян и грозивший отнятием поместий, проводил принцип владения землей не как родовой собственностью, а как наградой за личные заслуги. Прилив в дворянство недворянских выслужившихся элементов продолжал разрушение корпоративного духа. Не удались и бюрократические попытки путем жалованных грамот 1762 и 1785 гг. создать дворянское сословие. Самым существенным признаком дворянства оставалось лишь владение крестьянами.

Вся эта историческая часть приводилась автором статьи для показа необоснованности утверждений Чичерина об особых правах дворян на руководящее положение в государстве, о том, что дворянство за века «привыкло к власти», что необходимо укреплять далее его положение и понятие о дворянской «чести». Иронизируя над позицией Чичерина, автор доказывал, что с уничтожением владения крестьянами у дворян не остается никаких привилегий, отделяющих их от других сословий. Всеобщее уничтожение телесных наказаний — это осуществление общечеловеческого права; взимание податей не с человека, а с имущества и дохода охватит всех. Общую военную обязанность, начинающуюся с рядового, против чего особенно восставал Чичерин, автор считает естественной и необходимой.

Претензии Чичерина на «привычки» дворян к власти и к политическому значению в стране, на особую дворянскую честь и

нравственные силы не состоятельны, а его предложение включить в это сословие высших государственных лиц, а также лиц, владеющих 500 десятин земли и имеющих высшее образование, доказывает, что дворянство предполагает опираться на администрацию и капитал, оставив людей ума и таланта «для украшения и славы других сословий».

Чичеринской защите дворянства автор противопоставляет *земство*, которое всегда было подлинной основой русского государства, тогда как идея образовать в России дворянское сословие была утопией, «взятой именно с Запада, а не с Руси». «Ее не было и нет de facto в жизни». Приводя ряд цитат из документов в защиту древнего русского права на самоуправление, говоря о значении и силе веча, земских соборов и существования не сословий, а классов (по занятиям), не имеющих ничего общего с цеховым порядком феодализма, автор расценивает «могучее здоровое земство», с его духом общины, артелей, ассоциаций, заселившее огромные просторы Руси, как игравшее решающую роль в жизни России вплоть до событий 1812 г.

Стремление укрепить дворянское сословие на данном этапе противоречит ходу истории, так как сословный быт рождает рабство личности, деспотизм сильных над слабыми. Было время общественной жизни для одних только привилегированных людей, поставленных судьбой в исключительные условия. Это время отходит в иных местах с миром, а в других — без мира. Жизнь, до сих пор видная только на поверхности, хочет идти вглубь: история вызывает на сцену меньших братий к лучшему или худшему; к более глубокой жизни или еще более мелкой — это другой вопрос. Надо понимать знамения времени, «хотя можно закрыть глаза на них».

В ответ на заботы Чичерина о сохранении дворянства как «сдерживающей, охранительной силы» автор указывает, что «благоразумно-консервативный дух» более всего воплощен в сельском населении. «В народе-то и нужно искать здоровой охранительной силы. Ядром жизни всегда будет народ; он будет корнями и стволом, которые будут питать все русское дерево». Но, как бы отделяя свою позицию от славянофильской, автор спешит указать на значение и для нас европеизма: «Европеизм не потому общечеловечен, что он создал привилегии и цехи... а потому общечеловечен, что первый провозгласил свободу личности, дал ей общечеловеческие права и своими общественными учреждениями старался оградить ее от всякого произвола». Дворяне сейчас — «горсть людей без крепкой взаимной связи». Соединение их с народом выведет их из изолированного положения, а образование, которое так ценит народ, даст им возможность занять положение «лучших мужей, старцев народных». В образовании будет точка опоры дворян. Но, указывая на Францию, автор высказывался против сближения посредством среднего сословия, которое всегда является представителем деспотизма капитала и угнетения труда:

«К счастью, история не создала у нас такого среднего сословия». Единение дворян и народа должно быть добровольным и непосредственным.

В заключении статьи ясно слышна основная идея редакции журнала, изложенная в «Объявлении»: «В жизни бывают поворотные пункты, когда решаются важнейшие ее вопросы... Мы именно теперь на таком поворотном пункте. Куда пойдем? того еще никто не знает. Но куда должны мы идти, это мелькает в глазах. Пойдем ли мы в противную сторону от народа, или туда, где стоит он, ожидая нас? И, вероятно, общение с народом, идея нашего журнала, которую мы первые провозгласили, непременно осуществится. Жизнь как будто шевелится и хочет направиться на народную дорогу. Оно, впрочем, так и должно быть.

В здоровых идеях есть страшная сила: она побеждает человеческий эгоизм и заставляет его отказываться от мелких интересов».

Кто бы ни был автором этой статьи, ее концовка подтверждает, что с ней солидарна редакция журнала. Статья эта позволяет зачислить «Время» в антидворянский лагерь. В том же духе продолжалась и информация следующих обозрений, касающихся дворянства и крестьянской реформы. В той же мартовской книжке, где была помещена рассматриваемая статья, находится заметка о мировых съездах и о противозаконной попытке сделать их заседания закрытыми под тем предлогом, что некоторые участники не решаются открыто выступать и высказывать свои суждения о помещичьих делах. «Время» требует гласности, видит в этом страхе остатки старины, считает нужным разъяснять народу его юридические права, бороться с недоверием всех друг к другу.

Приводятся примеры из газет как случаи благополучного обсуждения уставных грамот с полным вниманием к нуждам крестьян, так и случаи, когда посредники и помещики пытались скрыть от крестьян некоторые пункты Положения и возбуждали недоверие крестьян.

В январской и февральской книжках печаталась также подборка газетных сведений о продолжающихся издевательствах над крестьянами и о телесных наказаниях помещиками своих бывших крепостных. Интересно опубликованное письмо «иногороднего подписчика» «одному из сотрудников «Времени» с просьбой выступить против порки. Можно предположить, что это результат публикации глав о телесных наказаниях в «Записках из Мертвого дома» Достоевского. Подписчик писал: «Я вполне уверен М⟨илостивый⟩ Г⟨осударь⟩, что вы, как человек образованный и вполне сочувствующий всему разумному и доброму, в теплых и красноречивых словах выскажете всю несообразность, чтоб не сказать дикость, телесных наказаний. Прошу вас, приступите к делу как можно скорее; вы поймете мою просьбу, если я вам скажу, что поводом к этому письму послужило именно то, что многие, кото-

рых с психологической точки зрения нельзя даже назвать преступниками, подвергаются именно теперь этому роду наказания» (1862, кн. II, стр. 87).

Обозреватель «Времени» высоко оценил издание «Мировой посредник», которое «по-человечески» разбирается в отношениях между дворянами и крестьянами, помещает корреспонденции от временнообязанных крестьян, способствует привлечению крестьян к выбору посредников, вопреки мнению дворян, которые в своих интересах объявляют крестьян несозревшими для общественной деятельности. Но обозреватель подчеркивает, что дело не в невежестве крестьян, а в тех потерях, которые они несут при применении «Положения» и которые заставляют их иногда признавать старый порядок выгоднее. Поэтому они занимают выжидательную позицию, а надежды и ожидания двадцати миллионов человек «не могут не слиться в один общий, тревожный, беспокойный гул».

В апрельской книжке с сочувствием перепечатывается из «Мирового посредника» статья (цитата в две страницы) крестьянина Ив. Иванова, вскрывающая недовольство крестьян реформой, причину их выжидания. Передаются жалобы крестьян мировым посредникам на то, как мало земли им отводится и как не под силу им выкуп усадьбы. На эти жалобы посредникам нечего ответить, так как это результат проводимого «Положения». «Время» выражало пожелание, чтобы больше Ивановых высказывались в печати.

Неизменно во всех случаях изложения столкновений помещиков и крестьян обозреватель «Времени» стоит на стороне крестьян. Чем далее, тем более его захватывает дело «между землевладельцами и земледельцами», дело, которое заставляет, по его мнению, лучших людей «сживаться с интересами народа». Вместе с тем все острее и неприязненнее становятся его отзывы о позиции изданий, защищающих дворянские интересы. В мартовской книжке сообщалось о дворянских съездах, которые происходят в новых условиях, так как дворяне лишились своего прочного базиса — крепостной массы. Здесь нашло место и сведение об оппозиционном выступлении тверского дворянства с признанием неудовлетворительности «Положения», его критикой и об отказе группы тверских мировых посредников применять его на деле.

«Время» перепечатало из № 39 «Северной почты» без всяких комментариев сообщение об аресте и предании суду 13 лиц из состава мировых учреждений Тверской губернии, которые письменно заявили, что они не согласны с «Положением» 19 февраля 1861 г., что будут действовать по своим убеждениям и всякий другой образ действия «признают враждебным обществу». Среди арестованных находились двое Бакуниных. Рядом с этими голосами честных защитников народного дела «Время» отмечало с осуждением сведения о посредниках, тяготеющих к богатым помещикам, пренебрегая бедными, и жалобы помещиков

на посредников, защищающих в первую очередь интересы крестьян.

В обозрениях за май — август 1862 г. мы почти не находим материалов, относящихся к крестьянскому вопросу, что, конечно, объясняется усилением цензуры [7]. Проскальзывают отдельные замечания, в которых звучит какое-то разочарование в успехе дела, за которым полтора года следил журнал. В майской книжке, возражая «Отечественным запискам», считающим, что Базаров как отрицатель и разрушитель опоздал, что наступила пора строительства нового, обозреватель «Времени» иронически спрашивал: действительно ли мы многое сломали на деле или только на словах: «Крепостное право — на деле?.. Да точно ли многое поломано у нас на деле? Не на словах ли еще только посломали мы кой-какое старье, начиная с огромнейшей и наиболее безобразившей нашу почву башни — крепостного состояния?» Еще мы не сложили с себя крепостной зависимости от застарелых привычек и мнений.

Обозреватель сообщал, что до сих пор лишь одна шестая часть уставных грамот подписана, тогда как к 1 марта 1863 г. «Положение» должно быть введено полностью, и называл это дело самым жарким, «которое должно быть жарким по его внутреннему свойству, какова бы ни была его температура в настоящую минуту». Однако обозрения летних месяцев свидетельствовали, что «жаркими» событиями в это время были другие — пожары в Петербурге, появившиеся прокламации и явно обнаружившийся поворот курса правительства на борьбу с фактами, свидетельствовавшими о революционной ситуации.

Очень возможно, что новый курс имел влияние и на обозрение «Времени» и на смену обозревателя. Последние обозрения Порецкого за август и сентябрь 1862 г. почти лишены обобщающих публицистических тем, а собраны из информаций, взятых из «Современной летописи», «Нашего времени», «Московских ведомостей», «Северной почты», «С.-Петербургских ведомостей», «Современного слова», «Одесских ведомостей», «Иллюстрации», «Московской медицинской газеты» и других. Отсутствуют серьезные оценки приводимых фактов, которые подаются в ироническом тоне, не связаны между собой и иногда переходят в подбор бытовых анекдотов, граничащих с зубоскальством. Возможно, что кто-то составлял эти компиляции без прямого участия Порецкого, хотя гонорар выписывали ему. Напомним, что Ф. М. Достоевский был в это время за границей. В сентябре внутренние обозрения вновь перенесли с конца номера вперед, перед «Политическим обозрением», и «Наши домашние дела» вместе с критическими и политическими статьями составили единое «Современное обозрение». Так планировалось «Время» до конца его издания.

---

[7] Об изменении цензурного режима и отражении его на «Времени» см. далее — гл. XIV.

«Внутренние обозрения», составленные Разиным[8] в трех последних книжках за 1862 г., отличаются от обозрений Порецкого прежде всего своей публицистической заостренностью, полемичностью и определенной направленностью на самые актуальные общественные темы — на перспективы развития экономической жизни страны и на предстоящую реформу судебных и городских учреждений. Проведения крестьянской реформы Разин касается попутно и только в октябрьской книжке подробно рассказывает о «преобразовании земско-хозяйственных дел в России», приводя перечень обязанностей, возлагаемых на губернские и уездные земские управы и собрания, сведения о принципах выборов их членов, о степени их самостоятельности, распорядительной и исполнительной власти, о контроле и т. д. Но это — краткое изложение опубликованных официальных сведений и не содержит оценок обозревателя. Что касается процессов, происходивших в деревне в это время, Разин писал: «Уставные грамоты вводятся и представляются чрезвычайно медленно». Срок представления окончился, представлено же всего 71 212 грамот, а введена в действие 39 371. Только одна треть обязанных крестьян обладает уже действующими уставными грамотами.

В ноябрьской книжке он сообщал о медленности, с которой идут выкупные операции: к этому времени только $^{1}/_{57}$ часть крестьян покончили свои счеты с прежними владельцами. Так как Разин был целиком захвачен вопросом о пути развития народного хозяйства в России, то сейчас же от уставных грамот он переходил к тому, что ждет крестьян. Он констатировал, что «вольнонаемный труд в сельском хозяйстве далеко не дает тех удовлетворительных результатов, которые от него ожидали», и что «наше сельское хозяйство должно по необходимости измениться радикально, сообразно с происходящим радикальным изменением нашего сельского быта и что наука должна и здесь быть руководительницей наступающих преобразований». Для всей деятельности Разина, как будет видно и в следующих главах, характерна вера в значение для всех областей народной жизни науки, книги, печати.

Заканчивая ноябрьский обзор, он писал: «Печать, в особенности наша, русская, всегда верой и правдой служила либеральным намерениям нашего правительства. Сошлемся в этом случае на крестьянский вопрос, несмотря на то, что у нас был «Журнал землевладельцев» (защищавший крепостное право.— *В. Н.*). Если бы населения не были подготовлены к его разрешению печатью,

---

[8] Утверждение, что именно Разин сменил Порецкого во «Внутреннем обозрении», основывается, во-первых, на резком увеличении гонорара Разина с октября 1862 г. и кончая апрелем 1863 г., соответствующего оплате двух ведущихся им разделов, а также на сообщении Достоевского в письме Тургеневу 20 сентября 1864 г.: «Порецкий... когда-то составлял «Внутреннее обозрение» в «Отечеств. записках». Этим занимался он и во «Времени» в 61-году, потом его сменил Разин» (Письма, т. I, стр. 377).

такого рода явления, как в Казанской губернии, повторялись, может быть, в каждой волости».

Четыре внутренних обозрения 1863 г., написанные Разиным, также почти не касаются крестьянской реформы и только дают сведения о ходе составления грамот и выкупных свидетельств. К тому же к прежним основным темам обозрения Разина в 1863 г. прибавилось польское восстание и вопрос о положении в Западном крае. В ответ на ожидавшиеся здесь волнения в связи со сроком окончания обязательств между помещиками и бывшими дворовыми Разин писал, что наш народ «просто и естественно» отнесся к свободе, «принял освобождение как что-то должное и усвоил его так глубоко, как будто никогда и не терял свободы». Он отмечал, что не было ни заносчивости, ни особенной радости — «он получил только должное, что будет следовать — заплатит пóтовым трудом и не волнуется, не трепещет от восторга, как француз, сделавшийся проприетером» (кн. 4).

Хотя обозрения Разина очень велики — от 25 до 50 страниц,— в них почти нет «голой» информации, а если и есть выписки, то они отличаются резко обличительным характером с точным указанием источника и адреса, как, например, в книге десятой: «В Подольских губернских ведомостях напечатано: 29 июля крестьянин с. Глинянцы, Михальчук, семидесяти лет, страдавший с давнего времени чахоткой, умер от удара в лицо, нанесенного мировым посредником 4 участка Брацлавского уезда Запольским».

Сведениями, включенными во внутренние обозрения, и двумя-тремя специальными статьями далеко не исчерпывалось влияние крестьянской реформы на содержание журнала. Не говоря о том, что почти все напечатанное в связи с современной экономикой, с реформами суда, образования теснейшим образом было связано с нею, откликами на нее насыщены многие художественные произведения, научные статьи и разного рода очерки, о чем будет сказано в следующих главах.

В итоге общее отношение журнала к крестьянской реформе можно сформулировать так. Она была встречена как благотворное историческое явление в жизни русского народа, и честь ее проведения была отдана царю. Она была воспринята как освобождение человеческой личности от насилия, утверждение ее достоинства и открытие возможностей для ее развития. Лишь в связи с растущими крестьянскими волнениями и протестами стали появляться во «Времени» сочувственные отклики на гибельное экономическое значение реформы для крестьян и их бедственное положение. По цензурным условиям эта тема не могла быть развернута в журнале.

Но с первых же пореформенных месяцев и до последней книги журнал вел разоблачение крепостнической психологии и идеологии проводников реформы и помещиков. Оно вылилось в критику дворянства как класса, его истории, преимуществ в прошлом

й претензий на будущее. Веруя в могущественное значение знания, просвещения, «Время» видело дальнейшую роль дворянства в качестве необходимой в жизни народа интеллигенции, а в образовании народа — приближение его к слиянию с «обществом», к уничтожению разрыва между ними. От начала до конца «Время» выступало с защитой крестьян во всех возникавших их конфликтах с администрацией и бывшими владельцами, хотя не высказывало понимания, что основная причина конфликтов заключалась в самом «Положении» о реформе, а объясняла их злоупотреблениями одной стороны и недостаточной подготовленностью к происходящему — другой. Но нигде, ни разу не высказалось оно с призывом к примирению, а тем более к смирению народа в создавшихся условиях. Наоборот, его активность и рождающийся интерес к общественной жизни всегда встречали в журнале сочувственное внимание и одобрение.

Глава V

«Время» о капиталистическом развитии России

В заключении статьи «Дворянство и земство» («Время», 1862, кн. 3), отражающей редакционную установку журнала, автор писал: «В жизни бывают поворотные пункты, когда решаются важнейшие ее вопросы... Мы именно теперь на таком поворотном пункте. Куда пойдем? того еще никто не знает. Но куда должны мы идти, это мелькает в глазах».

Вопросу «Куда пойдем?» и критике разных путей, которыми может пойти страна после происходившей ломки крепостных отношений, журнал отдал много места. Вопрос почти не обсуждался во внутренних обозрениях: факты, сигнализирующие об общем экономическом и финансовом положении России, Порецкий приводил бегло, с очень краткой оценкой, спеша адресовать читателя к специальным статьям на эти темы, помещенным во «Времени». Ему был не по силам анализ сложных процессов, которые развертывались в жизни, но указать на них он считал свои долгом.

Уже в январской книге за 1861 г., после «первой из заданных тем», т. е. крестьянской реформы, Порецкий напоминал о вопросе экономическом, о создании и деятельности акционерных обществ, железнодорожных компаний, давал сведения о специальных статьях в прессе, в которых можно узнать о них подробнее, и лишь мимоходом замечал о нашей неопытности в этой области, злоупотреблениях, ажиотаже, которые в ней господствуют. В апрельской книжке, говоря об оживлении промышленности, он высоко оценивал свойственную русскому народу предприимчивость и ее значение для обогащения страны: «Дух предприимчивости, дух движения присущ, конечно, и русскому простому человеку; только в нем он до сих пор все дремал, и если шевелился изредка, то или шевелился во сне, стремясь к какому-нибудь фантастическому предмету, или, если ему случалось очнуться и устремиться к предмету действительному, то являлась какая-нибудь фатальная сила, становилась на пути и снова укладывала его спать. Грустная доля, которая, может быть, скоро сделается нашим прошлым, отойдет в историю». Лишь в агустовской книжке за 1861 г. Порецкий отвел небольшую главу финансовому и экономическому состоянию России, назвав ее «Самые простые

взгляды на самое больное место наших домашних дел». Это были действительно «простые взгляды», т. е. констатирование того, о чем говорили кругом, передача некоторых общественных фактов.

Порецкий отмечал общие жалобы на отсутствие денег, подорожание рабочих рук и продуктов, споры о том, нужен ли выпуск новых денег. Не только простые люди, мелкие собственники «недоумевают о судьбе своей собственности», но и крупные промышленники и «глубокие экономисты». Беря сведения из «Вестника промышленности», Порецкий сообщал о банкротствах, об отсутствии цен на земли, фабрики, государственные облигации. В связи с тяжелым положением промышленности он остановился на сообщении о петербургской выставке мануфактурных произведений и характеризовал речи, произнесенные по случаю ее открытия. В речах отмечалась необходимость поддержки промышленности со стороны кредитных учреждений и административных властей. Как недостаток выставки указывалась ориентация изделий на высшие слои общества, отмечалось, что значительно менее внимания оказано потребностям среднего слоя, а изделия для массы народа вообще не представлены. Как необходимая мера для развития промышленности указывалась необходимость фабричных училищ для повышения квалификации рабочих (особенно для приобретения технических сведений), организации железных дорог, русских контор для связи с иностранцами и др. В главке «Интересы больших размеров» в сентябрьской книжке Порецкий вновь коснулся (но именно только коснулся) вопроса о финансовых затруднениях, отсутствия капиталов, уплыве за границу звонкой монеты, о необходимости развития промышленности, торговли, мореплавания.

В 1861 г. и начале 1862 г. «Время» как бы готовило читателя к овладению финансовыми и экономическими вопросами, стоявшими перед Россией, путем публикации серьезных статей общего и частного характера. Такой общей статьей можно назвать рецензию без подписи (18 страниц) на книгу Бруно Гильдебранда «Политическая экономия настоящего и будущего» (СПб., 1860, перевод М. П. Щепкина). Другая статья (свыше 90 стр.) в №№ 1, 3 и 4 за 1862 г. принадлежала В. Л. Фуксу и называлась «О налоге в западноевропейских государствах с точки зрения теории (Théorie de l'impôt, par Proudhon)». Обе эти статьи относим к главе IX нашей книги, задача которой — рассмотрение научной литературы во «Времени». Здесь же остановимся на статьях публицистического характера, ставивших вопрос об общем ходе экономического развития России, и на нескольких частных — о ее финансах, откупах, кустарной промышленности, переселении и некоторых других.

Статьи, прямо ставящие вопрос «Куда пойдем?» и дающие на него ответ, сосредоточены в последних книгах журнала за 1862 г. Авторы их — профессор-финансист И. Шилль, публицист-экономист Владимир Фукс и сменивший Порецкого обозреватель

«Домашних новостей» А. Е. Разин. Грубо говоря, их тема может быть сформулирована так: должна ли Россия догонять промышленный Запад, развивая свою промышленность и расширяя торговлю, или стремиться к интенсивному развитию сельского хозяйства и за сырье получать то, что изготовлено в Европе на ее фабриках и заводах. Скажем сразу, что все три автора дружно стоят против закабаления России европейским капиталом, за развитие русской инициативы и своей промышленности.

Статья Вл. Фукса, помещенная в сентябрьской книге 1862 г. и занимающая 42 стр., называлась: «По поводу некоторых экономических вопросов. 1. Свобода торговли». Она предполагала продолжение в следующих номерах, которое, однако, не появилось. Но и эта первая статья представляет большой интерес своей проницательностью в решении важнейшего для России вопроса и конкретным его обсуждением. Предполагая широко развернуть изложение, Фукс начинает с рассмотрения существующих в России направлений экономической мысли.

Констатируя отсутствие оригинальных исследований в этой области и имея в виду «Русский вестник» и «Современник», он делит русских экономистов на тех, кто «либо слепо следуют доктринам английских школ, либо впадают в крайние утопии, неприложимые ни в каком человеческом обществе». Называя первых «экономистами», или школой предания, Фукс характеризует их как защитников «личных интересов» в обществе, которое якобы само идет к процветанию, не нуждаясь во вмешательстве науки. Задача науки лишь фиксировать происходящее, наблюдать факты, выводить из них экономические законы и, изучая прошлое, объяснять настоящее и предсказывать будущее. Эта теория построена на эгоизме, так как человек для нее — «единственное орудие, употребляемое владельцем этого капитала для получения вознаграждения за право пользования им».

«Экономистам» противостоят социалисты, или школа утопий, которые указывают на аномалию современного общества, на угнетение, нищету и преступления. Они видят в современной политической экономии «эксплуатацию большинства меньшинством». Они отрицают собственность, которая является краеугольным камнем политической экономии, противопоставляют личной собственности «начало ассоциации» и создают «новое право, новую политику, новые нравы и учреждения, совершенно противоположные старым». Они отвергают прошлое и настоящее современной цивилизации и сулят ей гибель. Они изучают патологические стороны современного общества, «и в этом, по нашему мнению,— пишет Фукс,— главная заслуга социализма. Отыскивая дурные стороны в нашей цивилизации с таким же старанием, с каким экономисты ищут ее хорошие стороны, социализм не дает последним уснуть на лаврах своих утешительных теорий и подстрекает их к более серьезному и глубокому исследованию общественных вопросов. Но, отвергая старый экономический порядок, со-

циалисты, в свою очередь, предлагают коренные общественные реформы, которые решительно оказываются бессильными в практическом своем приложении и возбуждают только одни насмешки противников».

Фукс предупреждал, что он не предполагает разрешить экономические проблемы, но хочет лишь правильно их поставить. Для этого он рассказал, как появилась Лига свободной торговли, обещавшая уничтожение войн, рабства и достижение общего благосостояния. Он указывал, что инициатором Лиги была Англия, для которой в силу ее особого положения и экономики была особенно выгодной централизация торговли. Как для землевладельца, военачальника, так и для купца — общая цель — «власть над другими классами», почему обычно они помогают друг другу: «Обогащая меньшинство, торговая централизация обедневает массу населения, и, позволяя первому строить дворцы и замки, заводить парки, она заставляет вторую искать убежища в самых жалких хижинах и создает таким образом население, всегда готовое продавать свои услуги тому, кто больше даст». Лишь создание ассоциации может поставить препятствие успеху лиц, живущих присвоением, делающих общество орудием для своей наживы. «Торговая централизация, рабство и смерть идут всегда об руку как в экономическом, так и в нравственном и в политическом мире».

Восхвалению «экономистами» учреждений и богатств английской нации Фукс противопоставлял то разрушение, которое она вносила во все цивилизации, подпадавшие под ее влияние. Он рассматривал, какой вред принесла Англия Ирландии, Португалии, Турции, Индии, ставя их в полную зависимость от метрополии, подавляя в них промышленность и внутреннюю торговлю. Она обязывала все страны вывозить свое сырье для развития английской промышленности. Это приводило колониальные страны к рабству, нищете, истощению земли, одичанию и вымиранию населения. Таков результат будет всегда «от полной свободы торговых отношений между нацией сильно организованной, с одной стороны, и слабой и несовершенной — с другой».

Фукс высмеивал ложную филантропию капиталистов в связи с войной за освобождение от рабства негров: «*Общественное* мнение — мнение тех самых людей, которые более всего поглощали плоды труда несчастного негра,— принудило правительство объявить эмансипацию черного населения. Поистине великолепная филантропия».

Обличал Фукс и обыкновение начинать дело разрушения и грабительства стран миссионерами и библиями. Но «своекорыстная» система Англии привела к отрицательным результатам внутри самой страны: она способствовала развитию пролетариата, которое, «несмотря на все усилия законодательства и общества, идет, все более усиливаясь», она уменьшила возможность сбыта своей продукции, так как истощила народы, с которыми торгова-

ла, и привела к постоянным вспышкам коммерческих и промышленных кризисов в стране.

После яркой характеристики того, что несет «свобода торговли» слаборазвитым странам, и прямо сказав о «слабости организации России», Фукс утверждал, что Россию свободная торговля еще ослабит и превратит все ее население в земледельческое. Он рисует мрачную картину, которую представляет такая страна, и противопоставляет ей расцвет той, которая сама удовлетворяет потребности цивилизованного человека. Он удивляется, что в России почти все экономисты — поборники «свободы торговли», хотя не могут не понимать, что при этом исчезнет ряд промышленных предприятий, наступит безработица, что в свою очередь вызовет рост капиталов и капиталистов. Их владычество, «деспотизм торга и капитала», по мнению Фукса, «в тысячу раз более ужасен, чем всякий другой деспотизм». Фукс предполагал «в одной из будущих статей» заняться «вопросом о монете», о финансовой политике, но продолжение не появилось ни в 1862, ни в 1863 гг., может быть, потому, что в это время внутреннее обозрение перешло к Разину, который и начал развивать финансово-экономические темы в своих статьях.

Но прежде чем говорить о позиции, которую занял Разин, скажем о появившейся в № 11 за 1862 г. статье И. Шилля, казалось бы посвященной частной теме: «К вопросу о постройке железной дороги на юге России».

Автор «Современной теории финансов» И. Шилль [1] поместил во «Времени» в 1861 г. следующие три статьи. В феврале была написана статья «Куда девались наши деньги?», объяснявшая читателям законы политической экономии: «денег делать нельзя, они создаются, производятся единственно народным трудом, народной промышленностью». Указывалось в ней на стеснения и ограничения нашей торговли и промышленности вследствие политических событий и недостатка капитала и кредита.

В книге седьмой помещена его же небольшая статья «Один из проектов чудесного обогащения России» с разбором брошюры Л. Геллера «Земской кредит в соединении с государственным — не как теория». Шилль обличал невежество автора и прожектерский дутый характер его предложений. В октябре—ноябре того же года напечатана большая статья Шилля «По поводу уничтожения откупной системы и замены ее акцизной». Ею журнал отклик-

---

[1] И. П. Шилль (ум. 1870 г.) — экономист, автор ряда трудов, появившихся в 1860—1861 г. и рецензированных в «Современнике» Н. А. Серно-Соловьевичем («Размышления по поводу статьи г. Шилля о государственном и земском заемном банке», 1861, № 6), Ю. Г. Жуковским («Заключительная лекция по политической экономии, читанная И. П. Шиллем», 1864, № 7). Добролюбов писал в сентябре 1860 г., что его «Теория финансов» Шилля должна быть у Чернышевского (Собр. соч., т. IX, стр. 451). Шилль был введен в сотрудники «Времени» Ап. Григорьевым.

нулся на опубликованные «Новые акцизные правила» перед предстоящей важной финансовой реформой. Шилль не критиковал «правила», но ставил себе задачей показать их слабые стороны, надеясь привлечь к ним внимание. Считая доказанной вредность откупной системы и для государства и для народа, он изложил критически различные системы акциза, существующие в разных государствах, после чего рассмотрел предполагаемую организацию акциза в России. Особенно остановился он на борьбе с возможным произволом и взяточничеством. Хотя в результате он признавал, что акциз лучше откупа, а предполагаемый проектом русский акциз более совершенен, чем в других странах, вывод его тот, что акциз только из других зол меньший, но что самое существование косвенных налогов есть поблажка неправде и лжи и свидетельствует о плохой научной разработке экономики, которая требует правды и полного благосостояния для отдельных лиц, государств и всего человечества.

В статье 1862 г. (октябрь) Шилль в связи с вопросом о постройке железной дороги на юге России широко касается развития русской промышленности, которое задерживает отсутствие дорог. Их отсутствие сказывается и на ухудшении нашей торговли с заграницей. В этом одна из причин отсталости нашей экономики. В России «крепостное право не менее как наполовину уменьшало производительность народного труда и при этом не менее как вдвое увеличивало расходы природных сил страны». Пока еще мы только стоим на пути к улучшению сельского хозяйства. Чтобы повысить экспорт хлеба, необходима южная железная дорога к портам Черного моря. В связи с ее строительством важно решить вопрос, кому ее строить. Шилль энергично доказывает, что строить следует, по возможности, «исключительно на капиталы и вообще промышленные средства и силы России», что необходимо использовать свой металл, свои заводы для изготовления локомотивов, пора «выучиться практической механике», иначе всегда будем отставать и терять. Как одно из преимуществ «русской компании» и русских денег — борьба с безработицей: «Очень много русских людей всех классов нуждается в занятиях, в честном заработке насущного хлеба». Их скоро будет, может быть, еще больше в связи с реформой администрации. Шилль, как и в других своих статьях, особенно настроенный против Франции Наполеона III, предупреждает против финансовой зависимости от нее, от «дома Ротшильда».

Вторую часть статьи Шилль посвящает защите развития промышленности против тех, кто боится, что от этого пострадает земледелие. Он указывает, что рабочих рук хватит и для той и для другой области, так как в будущем земледелие будет с меньшим количеством рабочих давать бóльшие результаты. Для крестьян северных областей особенно необходим заработок, связанный с промышленностью. Горячо защищает Шилль промышленность и от обвинений в том, что она способствует развитию

безнравственности в народе. Чем менее праздности, чем свободнее условия труда, тем более возможности к просвещению, повышению знаний, оплаты и улучшению быта. Честный, нормальный труд всегда облагораживает человека, и от развития промышленности выиграет наиболее многочисленный класс и в просвещении, и в благосостоянии, и в нравственности.

Защита промышленного развития России получила во «Времени» особую публицистическую остроту во внутреннем обозрении, которое с октября 1862 г. стал вести Разин. Уже в своем первом обозрении он одну из подглавок называет: «Экономическая будущность России». И прямо заявляет, что, вопреки желаниям некоторых европейских держав, «Россия не останется государством чисто земледельческим», и «никто, конечно, не усомнится, что с окончательным освобождением крестьян наша деятельность примет другое направление». При крепостном праве развитию промышленности препятствовало прикрепление человека к месту, подушные оклады, паспортная система, да и самое свойство фабричной работы, более «тщательной, отчетливой», какой «нельзя было ожидать от крепостного труда». Лишь с освобождением «экономическая деятельность наша примет свое естественное направление, но какое именно, это едва ли кто теперь может сказать на сколько-нибудь прочных основаниях». Разин уверен лишь в том, что существовать земледелием, как советуют англичане, потому что им это выгодно, мы не можем и не будем.

То, что было коротко заявлено в октябре, Разин широко развил в обозрении ноябрьской книжки. Он начал его прямо вопросом «Куда мы идем?» и рассуждениями, что значит идти вперед, как понимать прогресс, какая цель впереди. «Нужен идеал, и прежде всего идеал»,— писал Разин. Только тогда можно судить, какой шаг к будущему «имеет более революционное значение. Революция, как всякому известно, значит переворот, перемена, преобразование, и революция в быте наших бывших крепостных есть, без сомнения, не исключительная, не одиночная мера: она есть только начало, краеугольный камень будущего здания, приближающегося к идеалу. Преобразование судебной части есть прямое продолжение, и дело на этом не остановится. Вперед, вперед!— есть девиз нашего правительства».

Приписывая «революционные» намерения царскому правительству, Разин обращается к существующим направлениям в обществе и хотя признает, что один и тот же девиз звучит в «Объявлениях» на новый год всех журналов, но в них есть оттенки, которые он так саркастически характеризует: «Есть либеральные прогрессисты, есть прогрессисты умеренные, есть умеренные либералы, есть либеральные консерваторы, прогрессивные консерваторы, умеренные консерваторы. Всем этим и многим другим, еще более тонким оттенкам нельзя придавать особенного значения, потому что все это происходит в пределах цензурного рассмотрения и разрешения».

Признавая важность «удовлетворения насущных потребностей», Разин повторяет, что нельзя за ними забывать «идеал», план общего прогресса. Идеал перестройки всех государственных частей ищут в политической экономии, но она еще беспомощна и не может дать рецептов для каждого государства, потому что у каждого народа свои особенности и «свой путь к своей особой цели». Для этого он предлагает разобрать особенности населения нашей страны: «Начать с того, что надо определить с точностью: что́ мы такое — земледельческий народ или какой другой, определить отношения между собою различных слоев общества, определить наши свойства, наклонности, стремления, восприимчивость к преобразованиям, т. е. революционную способность, определить нашу способность к городской и сельской жизни и т. д.».

Ответ па этот вопрос в наших изданиях найти нельзя, так как печатают отдельные, часто бессмысленные мелочи, из которых вырастает грустная картина невежества, произвола, мошенничества, воровства и потворства им. Приводя в саркастическом тоне ряд безобразных явлений, нашедших отражение в прессе, Разин показывает, что «своеобразие» нашей жизни никак не может дать нам идеал. Обращаясь к основам политической экономии, он на двадцати страницах исторически рассматривает вопросы о разделении труда и необходимости мены, излагает с большими цитатами мысли Ад. Смита и Рикардо и переходит к идеям Милля, «знаменитого английского политико-эконома, стало быть пристрастного поклонника капитала». Разин считает, что его учение имеет ложное основание и ложное развитие. Он не согласен с Миллем в том, что с точки зрения народного труда, все равно как потребитель тратит деньги для удовлетворения своих нужд: обращается ли он к национальной промышленности или к иностранной. «Но мы покамест останавливаться на этом не будем,— пишет Разин.— Когда-нибудь мы подробно разберем эту основную теорему капитала и докажем, как она далека от истины».

В английских экономических трудах Разин всюду ощущает мысль о «купеческих барышах», видит выводы, выгодные только для Англии, задача которой заставить народы поставлять ей свое сырье. На анализе вопроса о вывозе русской ржи и льна Разин доказывает, как невыгоден он для нас и как необходимо развивать русскую промышленность, для чего временно нужна покровительственная система. Вывозя сырье за границу, мы постепенно понижаем плодородие наших почв, а «этого надо бояться пуще всего». Чтобы не отправлять сырье и не оставаться навсегда в роли чернорабочего, нам нужны фабрики для обработки наших продуктов и нужны пути сообщения. В той же книге журнала, где Шилль хотя и призывал к созданию своей промышленности, но развивал мысль о постройке южных дорог для вывоза русского хлеба, Разин призывал к строительству внутренних дорог небольших размеров, соединяющих производящие и промышленные центры. Эти внутренние дороги, по мнению Разина, надо строить

не административным порядком, что неудобно и невыгодно, а общинным, для чего необходима возможно большая самостоятельность городских обществ.

С иронией пишет Разин, что наше общество привыкло «с похвальной безропотностью переносить административный произвол» и не верит в возможность самостоятельной деятельности. Он постоянно привлекает для иллюстрации бессмертные образы гоголевских героев, излагает факты из газет в виде народных диалогов и вообще живо и доступно излагает свои соображения и выводы, направляя их против всего, что изжило себя, обречено на уничтожение. В обозрении за декабрь, в основном посвященном полемике с «мистером Катковым», обличающей защиту Катковым дворянства и его роли как сословия, имеющего больше «привычки управлять людьми», Разин вновь касается вопроса о вывозе хлеба за границу. Неурожай, результатом которого явился в ряде местностей голод, вызывает его возмущение: собирают в пользу финляндцев и черногорцев, когда русский крестьянин должен умирать с голоду, вывозят белый хлеб за границу, а крестьяне едят черный с мякиной. Между тем иностранцы не так уж и нуждаются в нашем хлебе». И опять он повторяет: «А хлеба будет больше только тогда, когда заведутся фабрики, разовьется промышленность, а без фабрик и без домашнего сбыта страна никогда из периода хлебных растений не перейдет в период торговый, когда можно, не боясь истощения почвы, вывозить хлеб за границу».

Четыре внутренних обозрения 1863 г. (январь — апрель) Разина еще более целенаправлены на обличение уходящего и на поиски путей к будущему. В январской книге он дает подзаголовок: «Неизбежность вопроса об экономической будущности России». Он считает нужным вновь обозреть недавно пройденный исторический путь. Все недостатки были и 10 и 15 лет назад, но тогда правительство считало все удовлетворительным, «мнение народа, мнение тех, кто нес на себе гнет этих учреждений, тогда не спрашивалось», но если бы спросили, гарантировав, «что человек не потерпит за высказанное мнение, тогда оно дало бы весьма важные указания на потребность, которых удовлетворение не должно было откладываться, и сверх того оно указало бы на направление, в котором общая польза требует решения данного вопроса». Разин подчеркивал, что правительство само «сознало, что крепостное положение крестьян вредно для экономического развития государства», и сперва разрешило, а потом приостановило участие печати в обсуждении этого вопроса. Теперь намечены многие преобразования, из которых каждое — «государственное событие, а из всех вместе выходит не переворот, а перемена, не виданная в истории народов».

Говоря далее о том, что эти перемены «составляют предмет напряженного желания» общества и что правительству вся «слава» за них, Разин, однако, указывает, что на правительство ложится и вся ответственность «за возможные неудачи и ошибки». «Об-

щая их (перемен) цель, план их, идеал будущей России, то, к чему она должна стремиться, к чему могут если не прямо довести, то хотя направлять наше отечество все эти перемены,— нам неизвестны. Счастье России будет зависеть от того, в какой мере верно будет угадано ее истинное назначение, ее роль между соседями, ее смысл в истории цивилизации». Как бы подсказывая верное направление, Разин еще раз напоминает, как опасно слушать иностранцев, которым выгодно, чтобы Россия «была вечно чернорабочею Западной Европы», что она по своему географическому положению и свойствам обречена оставаться земледельческой страной и получать в обмен продукты промышленности. Разин доказывал, что уже сейчас России нет выгоды быть земледельческой страной, так как в западных странах, вследствие лучших средств обработки и лучших дорог, хлеб обходится дешевле, чем у нас. Сторонники земледелия и противники промышленности «не хотят видеть, что до сих пор в самом деле Россия была государством исключительно земледельческим только вследствие свирепствовавшего у нас крепостного права». 19 февраля 1861 г. указало ей путь не к дикости и первобытности, а к цивилизации. Ей мешало не только крепостное право, но и «излишняя правительственная опека, чрезмерно стеснительная регламентация, удушающий формализм». Разин обосновывает дальнейшее развитие России не на росте промышленности и железных дорогах как таковых, видя в них лишь следствие, а на глубоких причинах, к ним приводящих: «Эти причины, во-первых, наука, образованность и потом, тоже во-первых, свобода. Все остальное придет потом, само собою, очень скоро и, главное, естественно, широким ходом, как приходит все то, на что есть незыблемые основания».

Усиливавшийся голод возвращал Разина в февральской книге 1863 г. вновь к вывозу русского хлеба за границу, к продаже его там дешевле, чем в России, и не потому, что он там нужен, а потому, что нам надо платить долги, а платить нечем. Между тем «у нас у самих его мало, и поэтому желательно, чтобы он остался дома, чтобы жители хотя бы, напр., Полесья в Смоленской губ., которые едят чистый ржаной хлеб только по праздникам, а в будни пополам с сосновой корой,— ели бы хоть по праздникам пшеничную муку, а в будни оставили бы неудобоваримую древесную примесь». В России хлеб дорожает, потому что, продавая по необходимости за границу хлеб дешевле, купец вознаграждает себя, сдирая с русских покупателей: «И платит страна, платит втридорога за так называемую свободу торговли, которая на деле оказывается совершенным рабством, довольно, впрочем, выгодным для хозяев». «У нас в «экономическом обществе» составляются комиссии, изучающие вопрос, как увеличить сбыт сырых продуктов за границу, а капитал, держась за крышку своего сундука, самодовольно посмеивается».

«Да,— писал Разин,— разумеется, и мы стоим за свободу торговли, но только не за ту, при которой капитал свободно распо-

ряжается трудом, при котором свободна только одна сторона, а другая находится в строжайшем и тягостнейшем подчинении, не за ту тоже мы стоим свободу торговли, при которой на человека свободного возлагается стопудовая тяжесть конкуренции и бедняка уверяют, будто он свободен двигаться, куда хочет». Только при равных условиях возможна «свобода» в отношениях, иначе всегда будет деспотизм одного и рабство другого.

Рисуя «ужасный эгоизм, страшное беспристрастие и непреклонный деспотизм» как неизбежное свойство капитала, Разин угрожает России судьбой Турции, Мексики, Египта, когда страна становится в подчинение и зависимое положение от другой и теряет политическую самостоятельность. Наше преимущество в том, что с 19 февраля мы разорвали с прежним хозяйственным бытом и можем по отношению к промышленности «пойти заново». Все ведет «к вопросу об экономической будущности нашей»: быть ли России первостепенным, второстепенным или третьестепенным государством, а первостепенным может быть государство только органически всесторонне развитое. Отсюда на первое место становится забота о развитии своей промышленности, своих дорог и для своих надобностей.

Еще раз к тому же вопросу Разин вернулся в апрельской книжке по поводу строительства южнорусской железной дороги, которая была явно предназначена для экспорта русского хлеба. Он предостерегал, что в Одессу нахлынет масса зерна, что будет на руку иностранцам и что может вредно отразиться и на нашей промышленности (свекло-сахарной) и на навыках рабочих к фабричной деятельности, так как усиленный вывоз хлеба вызовет усиление его производства, вследствие чего «работники бросят фабрики и займутся земледелием».

Отметим в апрельской книжке на ту же тему ироническое обращение к Каткову, который от пропаганды «свободы торговли» вступил «на путь покровительственной системы народного хозяйства». Как Фукс, так и Разин, ведя полемику с защитниками у нас «свободы торговли», интересов иностранного, в первую очередь английского, капитала, имели в виду англоманствующего Каткова и его издания. Когда же обнаружилось, что Катков «открыл Россию» и убедился, «что свобода торговли заключается не в том, чтобы стеснять свое производство невыносимым раздавливающим соперничеством стран, которых промышленность давно установилась на прочных основаниях, а в том, чтобы свою-то промышленность и торговлю избавить от всего, что их стесняет», продолжались саркастические замечания по поводу прежней точки зрения Каткова. Разин заключал их так: «Но г. Катков изменил, предался, и мы, конечно, далеки от того, чтобы ставить это ему в упрек. Напротив, мы его с этим усердно поздравляем. Во всяком случае это приобретение в области здравого смысла».

Позиция катковских изданий вызвала и большое выступление Разина по финансовым вопросам в мартовской книге за 1863 г.

Называя бессмыслицей высказывания «Русского вестника» и «Московских ведомостей» о том, что у нас деньги есть, но нет капиталов, «бессмыслицами, соединенными с торжественно-важным диктаторским тоном», издеваясь над «длинно-худощавым словом г. Каткова», Разин изложил читателям «Времени» целый курс по финансовому праву, значительно в более доступной форме, чем это делал профессор Шилль. На тридцати страницах из тридцати шести он писал о значении денег как средстве обмена труда и товаров, о роли и значении золота для этой цели, о финансовых кризисах и сложности их разрешения. Далее он давал необходимые сведения о кредите, векселях, об условных знаках обмена, об удобстве банков для проведения денежных операций и создании банковых билетов для удобства вкладчиков. Он сообщал также о банковских злоупотреблениях, о банкротствах, о выгодах банкиров и их наживе на клиентах, о плохой разработке финансовых законов в науке, в результате чего очень часто практика расходится или не подчиняется теории.

Переходя к современному финансовому положению России, Разин видел причину современного кризиса в усиленном выпуске бумажных денег после войны и в осуществлении торговли с заграницей. В связи с широким вывозом сырья, давшим много денег, началась энергичная покупка заграничных товаров, расплата за которые превысила доход.

В апрельской книге Разин с радостью поддерживал таможенные сборы за предметы, которые выписываются из-за границы, хотя могут быть сделаны в России. Чтобы «способствовать в своем отечестве развитию промышленности», можно временно дороже платить рабочим, пока они освоят новую работу.

Высказался Разин и по вопросу изменения налоговой системы, обнаружил полное понимание ее антидемократичности и, несмотря на цензуру, резко ее охарактеризовал. Излагая в книге за январь 1863 г., из чего состоят государственные доходы (подати, акцизные пошлины, откупа и др.), Разин доказывал, что «беднейший класс народа, рабочие люди», платит основную сумму: «Низшее сословие вносит таким образом несколько более четырех пятых обыкновенного государственного дохода, и только одна пятая приходится с высших классов». В февральской книжке Разин поднял вопрос о том, насколько облегчило бедное население снятие подушного налога с мещан и замена его налогами других видов. Отношение его к этой реформе не только скептическое, но и полно сарказма: «Таким образом, тягостный подушный налог, платившийся только за право дышать воздухом, оклад, тяготевший на беднейших людях, перенесен на собственность или, лучше сказать, на доход с собственности лиц всевозможных званий». Такими лицами являются прежде всего домовладельцы, которые, конечно, поспешат в связи с налогом увеличить плату за квартиры, и таким образом с того же бедняка мещанина возьмут те же деньги, которые он платил «с души». «Если не это, то почти это

самое будет непременно. Но так уж устроены экономические отношения: капитал командует трудом по всей своей воле». Кроме этой вероятной «пошлины», которую заплатит бедняк-квартиронаниматель, он заплатит и вновь организованный налог на его промысел, на его труд: «Вместо отмененной подушной подати с мещан назначена другая подать — на промыслы, на личный труд рабочего... Посредством такой искусной комбинации государственный доход, составлявшийся прежде из подушного оклада с мещан, сохранен вполне под другим именованием, под именем пошлины с промысла или с труда».

Подводя итоги своим рассуждениям о налогах (апрель 1863), Разин разъяснял их необходимость для защиты государства, для доставления удобств и услуг гражданам, но решительно требовал справедливости в их распределении. Все должны быть обложены налогом «прямо и лично», потому что это единственное средство обложить всякого человека «пропорционально его средствам». Все же непрямые налоги на предметы первой необходимости, например соль, несправедливы.

Рассмотренные статьи позволяют утверждать, что «почвеннический» журнал «Время» видел желательным дальнейший путь развития России как страны прежде всего промышленной. При всем отрицательном отношении к западноевропейскому капитализму, что особенно бросается в глаза в «Политическом обозрении» Разина, в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевского, в публикации романов Е. Гаскелл, о чем речь будет далее, журнал признавал необходимым остерегаться исключительно земледельческого труда и из номера в номер в сущности проповедовал капиталистическое развитие страны, отвергая опасения о развитии и вреде пролетариата.

Только в одной статье мы находим своеобразную защиту промышленности, тесно связанной с исконным занятием русского земледельца. Это обстоятельная рецензия на вышедшую в 1861 г. книгу А. Корсака «О формах промышленности вообще и о значении домашнего производства в Западной Европе» («Время», 1861, № 9). Эта книга служила одним из источников в работе В. И. Ленина «Развитие капитализма в России», где он неоднократно ссылался на нее и давал ей положительные оценки как труду, серьезно обследовавшему стадию перехода домашней промышленности в фабричную [2]. В главе пятой «Первые стадии капитализма в промышленности» (стр. 363) Ленин, указывая, что «в обстановке товарного хозяйства мелкий производитель неизбежно выделяет из своей среды не только более зажиточных промышленников вообще, но и в частности — представителей торгового капитала», дает сноску: «Еще Корсак («О формах промышленности») отметил совершенно справедливо связь между убыточностью мелкого сбыта (равно и мелкой закупки сырья) и

---

[2] *В. И. Ленин.* Полное собрание сочинений, т. 3.

«общим характером мелкого раздробленного производства» (стр. 23 и 239)». В той же пятой главе (стр. 378) Ленин, говоря о соединении крестьянских «промыслов» с земледелием, как типичном для средневекового хозяйственного режима, ссылается на гл. IV книги Корсака, где последний приводит исторические свидетельства, подтверждающие этот факт. В главе шестой «Капиталистическая мануфактура и капиталистическая работа на дому» (на стр. 388) Ленин дал ссылку на Корсака, приводя сведения о «кустарном ткачестве», на стр. 430 привел цитату из книги Корсака по поводу образования целого ряда крупных мануфактурных районов, специализировавшихся на известном производстве и подготовивших многих искусных рабочих: «Очень метко характеризует это явление термин: «Оптовые ремесла». «С XVII столетия,— читаем у Корсака,— сельская промышленность стала заметно развиваться: целые деревни, особенно подмосковные, лежащие на больших дорогах, занялись производством одного какого-либо ремесла [...]. К концу прошлого столетия этих *оптовых ремесл*, как называют их некоторые, развилось в России очень много».

В той же главе (стр. 442), говоря об эксплуатации посредниками работников на дому, Ленин вновь ссылался на «общий отзыв Корсака», а на стр. 445, отмечая, что устарелые учреждения усиливают область применения домашней работы и затрудняют борьбу с ней, писал: «Еще Корсак в 1861 г. указывал на связь громадного распространения у нас домашней работы с нашими аграрными порядками». На стр. 451 Ленин признавал понятие «кустарная промышленность» непригодным для научного исследования ввиду смешения в нем разных типов экономических организаций и осуждал экономистов-народников, перенявших без критики и без смысла это понятие. Он считал, что они «сделали гигантский шаг назад по сравнению, напр., с таким писателем, как Корсак». Наконец, в главе восьмой «Образование внутреннего рынка» (стр. 567) Ленин еще раз вспомнил о книге Корсака, говоря об индустриальных центрах в промышленных губерниях с низким процентом городского населения: «О значении этого обстоятельства, указанного еще Корсаком, сравни справедливые замечания г. Волгина».

Что же сказал журнал Достоевских о книге Корсака, тотчас после ее выхода в свет? Рецензия не подписана, общее же впечатление, что ее автор — человек, занимающийся политической экономией, знающий научную литературу и в целом симпатизирующий Корсаку, но и спорящий с ним. Во вступительной части рецензент говорит о разных направлениях в современной политической экономии в связи с проблемой «распределения богатства». Одни считают существующее положение нормальным и придерживаются теории «laissez faire, laissez passer». Их противники считают положение несправедливым, стоят за лучшее распределение богатств и, одушевленные фантастической верой в добрые качества современных трудящихся, думали исцелить их фалансте-

рами и т. п., но их надежды не осуществились. Всем ясно, что неравенство в распределении богатств ведет к росту пролетариата, который «страшен для всякого правительства». Те, кто стоят за лучшее распределение богатств, понимают гибельные результаты этого роста и желают реформ не только из страха, но и из чувства гуманности. Они ставят вопрос об ассоциациях, о сберегательных кассах, обращают внимание на отношения между производителями, между трудом и капиталом, работником и предпринимателем.

Рецензент ценит книгу Корсака за то, что в ней «формы промышленности обращают на себя внимание не столько с экономической стороны, сколько с общественной и политической». Все признают достижения фабричного производства, но многие забывают, ради экономических выгод, темные, вредные в моральном, общественном и политическом отношении стороны фабричной промышленности. До сих пор наши официальные экономисты более сочувствуют богатым предпринимателям, чем бедным работникам. Такие, как Вернадский, Леонтьев, не интересуются, как будет обеспечено существование крестьян после освобождения. Труд Корсака отличается именно тем, что его интересует быт работника и значение экономических явлений с их общественной и нравственной стороны. Но вместе с тем он не отрывается от действительности.

Рецензент излагает основные мысли Корсака о различии между фабричным, ремесленным и домашним трудом, о зависимости фабричного рабочего от предпринимателя, от обстоятельств рынка и от личного произвола капиталиста, который из выгоды сокращает заработную плату. Против него рабочие беззащитны, так как их число превышает требования фабрик. В ремесле рабочий зависит только от спроса и от своего искусства. Работа же на дому является только подсобной при основном занятии — земледелии. При любых ее условиях работник не теряет кров и питание. Рецензент отмечал, что Корсак дает высокую оценку преимуществам домашней промышленности, в которой нет фабричных кризисов, нет деморализующего влияния на работающих и особенно детей. Корсак решительно против того, чтобы наша промышленность стала копией западноевропейской, но рецензент не замалчивал и отрицательные стороны домашней работы, на которые указывал Корсак: ее рутина, масса мелких посредников в сбыте, роль кулаков, ухудшение качества в связи со стремлением к дешевизне. Домашнюю промышленность эксплуатируют барышники, у нее нет средств на усовершенствование орудий производства. Но, хваля Корсака за прекрасное знание условий домашней промышленности в России, рецензент считает, что после освобождения крестьян и повышения их образования исчезнет рутина, смогут возникнуть ассоциации, появится кредит и домашняя промышленность освободится от кулаков и в некоторых местах расцветет. К таким выводам приходит и Корсак, но он уве-

рен, что это только *пока*, что это будет *временный* расцвет, что домашняя промышленность должна упасть. Этому будут способствовать проведенные пути сообщения, рост капиталов, удорожание земледельческих продуктов.

Рецензент решительно не соглашается с Корсаком, что домашняя промышленность — низшая ступень экономического развития и что за нею непременно последует высшая — фабричная. По его мнению, наоборот, все благоприятствует домашней промышленности, она сможет существовать рядом с фабричной, и развитие техники, содействуя более высокому умственному и нравственному развитию работников, благоприятно скажется и на домашней промышленности. Идеализация домашнего труда, его противопоставление фабрике, вера в силу образования, забота о моральном облике человека — все это ясно отражает в постановке экономического вопроса основные положения, заявленные редакцией журнала. За два месяца до появления статьи о книге Корсака Ф. М. Достоевский писал: «Цивилизация не развила у нас и сословий: напротив, замечательно стремится к сглажению и к соединению их воедино. Может быть, «Русскому вестнику» это очень досадно, но английских лордов у нас нет; французской буржуазии тоже нет, пролетариев тоже не будет, мы в это верим» [3].

Еще одного вопроса, связанного с жизнью крестьянства и его экономическим положением, коснулось «Время» в двух статьях о переселении и колонизации в России. Первая статья М. И. Венюкова «Вопрос о колонизации» (1861, кн. 9) сообщала о публичном обсуждении этого вопроса в политико-экономическом комитете Географического общества. Венюков критиковал бессистемное, отвлеченное и бесполезное обсуждение, имевшее место на заседании, и рассмотрел конкретно три практикующихся вида переселения, по преимуществу в Сибирь и Среднюю Азию. Это — 1) добровольное переселение, 2) переселение, связанное с государственными военными и политическими целями, 3) переселение бывших преступников. Говоря о необходимости лучшей организации переселяющимся помощи в дороге и на местах, Венюков особенно отмечал значение крестьянской общины, которая, действуя на новом месте, помогает окрепнуть поселенцам, сжиться с новыми условиями. Решительно возражал Венюков против колоний иностранцев на русской земле (например, немецкие приволжские колонисты), указывая на вред тех привилегий, которые им даются, и их изолированного, не сливающегося с русскими существования.

Через два месяца «Время» (1861, кн. 12) вновь поместило статью на ту же тему: «О русском расселении и о политико-экономическом комитете (Заметка на статью «Вопрос о колонизации». «Время», № 9)». Небольшая статья Лескова полна конкретных наблюдений и советов, связанных с переселением крестьян.

---

[3] *Достоевский*, т. XIII, стр. 109.

Особенно он защищал необходимость предварительной посылки ходоков, что значительно полезнее для народа, чем издания книжек с описанием новых мест. Указывал он на желательность организации специальных компаний, которые брали бы на себя хлопоты, административные и дорожные, и помогали бы переселенцам. Характерно, что Лесков отмечал среди стремящихся к переселению не только крестьян-земледельцев, но и мещан, мелких чиновников и духовных лиц. Он видел в переселении также путь спасения для бывших преступников: «новый честный *естественный* образ жизни — одно из радикальных средств исправления». К этой статье Н. Лескова редакция журнала сделала следующее примечание: «С удовольствием помещаем статью эту. Вопрос о колонизации в России так важен, что чем больше будут писать о нем люди бывалые и знающие предмет, тем лучше».

Как видим, во «Времени» не был ясно решен вопрос, куда идти России, хотя единогласно признавалась опасность стать колонией европейских стран, поставщицей сырья для их промышленности. Но к созданию своей промышленности было двойственное отношение. Слышались опасения повторить путь Европы, боязнь создать власть капитала и пролетариат, оторвать народ от земли и тем способствовать падению его нравственных устоев и лишить основной материальной базы его существования. Но вместе с тем настойчиво из месяца в месяц звучал в статьях Разина призыв к энергичной деятельности в области своей русской промышленности, создаваемой русскими деньгами и руками, параллельно с развитием народного образования и привлечением общественной инициативы. Создание национальной промышленности рассматривалось как спасительная мера от грядущей безработицы, как средство улучшения обеспеченности народного быта и как путь для повышения умственного развития и нравственного уровня народа.

Глава VI

Реформа суда и проблема преступления и наказания. Судьба «бедного чиновника»

В манифесте Александра II 1856 г., который заканчивался общими фразами, обещавшими реформы, царь предрекал России: «Да утверждается и совершенствуется ее внутреннее благоустройство; правда и милость да царствует в судах ее».

Что Россия полна в судах «неправдой черной», было ясно и верхам, и низам, и революционным демократам, и реакционерам. Об этом твердили журналы и литература конца 50-х годов, пока, наконец, обострение революционной ситуации не заставило правительство поручить государственной канцелярии с приглашением специалистов-юристов разработать «основные положения» нового судоустройства и судопроизводства. Это было осенью 1861 г., а осенью 1862 г. утвержденные правила были опубликованы и разосланы для отзыва в судебные учреждения и университеты.

Внимание «Времени» к подготовке реформы суда, обилие опубликованных статей в связи с этим вопросом, конечно, объясняется ее остро назревшей потребностью, но, думается, какую-то немалую роль играла особая заинтересованность Ф. М. Достоевского в проблеме преступности и суда над нею. Осенью 1860 г. еще в «Русском мире» он начал печатать «Записки из Мертвого дома» и уже на страницах этого журнала выразил захватившие его стремления, во-первых, проникнуть в психологию преступника и, во-вторых, решить вопрос о соответствии наказания преступлению.

В первой главе он писал: «...В продолжение нескольких лет я не видал между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении и что большая часть из них внутренне считает себя совершенно правыми... но ведь можно же было, во столько лет, хоть что-нибудь заметить, поймать, уловить в этих сердцах хоть какую-нибудь черту, которая бы свидетельствовала о внутренней тоске, о страдании. Но этого не было, положительно не было. Да, преступление, кажется, не может быть осмысленно с данных, готовых точек зрения, и философия его несколько потруднее, чем полагают». Далее он рассматривал влияние острожной жизни на преступника,

его реакцию на наказание: «Конечно, преступник, восставший на общество, ненавидит его и почти всегда считает себя правым, а его виноватым. К тому же он уже потерпел от него наказание, а через это почти считает себя очищенным, сквитавшимся. Можно судить, наконец, с таких точек зрения, что чуть ли не придется оправдать самого преступника».

Свои размышления о преступлении и каре за него Достоевский продолжил в третьей главе, где особенно подчеркнул свой интерес к этой проблеме: «Но помню, более всего занимала меня одна мысль, которая потом неотвязчиво преследовала меня во все время моей жизни в остроге,— мысль отчасти не разрешимая, не разрешимая для меня и теперь: это о неравенстве наказания за одни и те же преступления. Правда, и преступления нельзя сравнять одно с другим, даже приблизительно». Признавая бесконечные «вариации» преступлений — «что характер, то и вариация», он признавал, что подвести их под один уровень — задача квадратуры круга, как невозможно сравнять и «разницу в самых последствиях наказания», от которых один чахнет, другой живет лучше, чем до преступления.

Специальные главы о телесных наказаниях Достоевский писал уже во «Времени», в начале 1862 г., когда в обществе горячо обсуждалась готовящаяся реформа, когда возмущение телесными наказаниями не сходило со страниц прогрессивных изданий, когда в редакцию «Времени» пришло письмо от читателя, ожидавшего выступления против них. В части второй «Записок», в главах I—III, Достоевский выступил со столь ярким изображением страшного зла телесной расправы с преступниками, что, можно думать, его выступление должно было как-то содействовать успеху борьбы против них, закончившейся в 1863 г. их отменой, хотя и не полной и не окончательной.

Достоевский опять свидетельствовал о своем исключительном интересе к этому вопросу: «Помню, что тогда же я вдруг и нетерпеливо стал вникать во все подробности этих новых явлений, слушать разговоры и рассказы на эту тему других арестантов, сам задавал им вопросы, добивался решений. Мне желалось, между прочим, знать непременно все степени приговоров и исполнений, все оттенки этих исполнений, взгляд на все это самих арестантов; я старался вообразить себе психологическое состояние идущих на казнь». От переживаний наказываемых Достоевский переходил к тем, кто выполняет наказания, а от палачей — ко всем «джентльменам», которым власть над телом, кровью другого человека доставляет наслаждение садиста.

Обличение психически ненормального явления переходит в широко обобщенное обличение публицистического характера: «Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и власть пьянят: развиваются загрубелость, разврат; уму

и чувству становятся доступны и, наконец, сладки самые ненормальные явления. Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен. К тому же пример, возможность такого своеволия действует и на все общество заразительно: такая власть соблазнительна. Общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже само заражено в своем основании. Одним словом, право телесного наказания, данное одному над другим, есть одна из язв общества, есть одно из самых сильных средств для уничтожения в нем всякого зародыша, всякой попытки гражданственности и полное основание к непременному и неотразимому его разложению».

С интересом к психологии преступника и к расследованию его дела нельзя не сопоставить обилие публикаций во «Времени» уголовных дел, начиная с первых книжек его издания. Печатая в № 2 за 1861 г. «Процесс Ласенера. Из уголовных дел Франции» (пер. Р. Штрандмана), редакция поместила следующее примечание, подчеркнув сложность психологии преступника и пользу знакомства с судебным процессом русских читателей: «Мы думаем угодить читателям, если от времени до времени будем помещать у себя знаменитые уголовные процессы. Не говоря уже о том, что они занимательнее всевозможных романов, потому что освещают такие темные стороны человеческой души, которых искусство не любит касаться, а если и касается, то мимоходом, в виде эпизода,— не говоря уже об этом, чтение таких процессов, нам кажется, будет не бесполезно для русских читателей. Мы думаем, что, кроме теоретических рассуждений, помещаемых так часто в наших журналах, узнание практического наглядного применения этих теорий к разным процесссам на западе было бы тоже не бесполезно для наших читателей...»

Характеризуя далее Ласенера как жертву безграничного личного тщеславия, выставляющего себя как жертву своего века, редакция отмечала: «Процесс был веден доблестно беспристрастно, передан с точностью дагерротипа, физиологического чертежа...»

С подзаголовком «Из уголовных дел Франции» были напечатаны в 1861 г.: «Лезюрк»— № 4, «Мадам Лафарж» — № 5, «Мадам Лакост» — № 10; в 1862 г.: «Таинственное убийство (1840-е гг.)» — № 1, «Убийство Пешара (1857—1858 гг.)» — № 2. К этим публикациям можно присоединить и публикацию процесса 1820 г. «Каролина Английская и Бергами» (1861, № 7).

Этот занимательный для чтения и поучительный в смысле знакомства с судебным опытом на Западе материал сопровождался в журнале и публикацией исторического обзора в области уголовного права разных европейских стран. Надо отметить, что в связи с ожидавшейся реформой суда так поступали и другие журналы. «Современник» в ноябре 1860 г. поместил статью Б. И. Утина «К вопросу о мировой юстиции и самоуправлении в Англии» и рецензию на «Введение к изучению российских за-

конов» И. Пискарева; в декабре рецензию Чернышевского на соч. Бентама «О судоустройстве». В 1861—1862 гг. там же были напечатаны три статьи М. А. Филиппова «Взгляд на русские гражданские законы», а в 1863 г. (январь — март) А. М. Унковского «Новые основания судопроизводства» и др. Достоевские поместили в двух последних книгах «Времени» за 1863 г. статьи В. П. Попова под названием: «Иностранная литература. Преступления и наказания. (Эскизы из истории уголовного права)» [1]. Автор ставил себе задачей познакомить читателя с новыми книгами и переизданиями старых на тему преобразования уголовного законодательства и системы организации тюрем. Это вновь появившиеся работы («Les crimes et les peines dans l'antiquité et dans les temps modernes, étude historique, par M. Jules Loiseleur. Paris, 1863», «English convicts. The Westminster Review, 1863. January») и переиздание в серии «Causes célèbres» сочинений: «Système Pénitentiaire, par Gustave de Beaumont et A. de Tocqueville», «Dei delitti e delle pene, par Beccaria».

Сделав беглый исторический очерк системы наказаний (о преступлениях он писал по существу очень мало) у первобытных народов, в античном и европейском государствах в эпоху средневековья, останавливаясь на описании жестоких пыток и казней, В. Попов подчеркивал отсутствие мысли о соразмерности между преступлением и наказанием. Далее он прослеживал практику французского и английского суда XVIII—XIX вв. и указывал, что в эпоху, когда Вольтер был идолом Европы, Монтескье написал «L'esprit de lois», французское правосудие «возвратилось к самым мрачным временам средних веков. Лучшее доказательство невозможности прогресса там, где правосудие находится в руках касты».

Резко осуждая классовый характер правосудия, когда знатный преступник может быть уверен в своей безнаказанности, В. Попов видел во Французской революции поворот к новой эре в юриспруденции и судебной практике. Он придавал большое значение борьбе передового общественного мнения с юридической рутиной и развил глубоко гуманные и демократические идеи во второй

---

[1] Попов Василий Петрович — штабс-капитан, друг Благосветлова, помогал ему в пересылке нелегальной литературы от Герцена из Лондона в Россию в 1858 г., входил в число главных членов крайней партии Шахматного клуба вместе с Чернышевским, Благосветловым, Писаревым и др. В момент ареста Писарев жил на квартире В. П. Попова, и при обыске были взяты бумаги последнего. Он был привлечен к допросу, и в результате 5 августа 1862 г. следственная комиссия доносила о «неблагонамеренности действий... прикомандированного ко II кадетскому корпусу гвардии штабс-капитана Попова и литератора, занимавшегося в редакции «Русское слово» Благосветлова» и просила «об учреждении секретного наблюдения за Поповым, Благосветловым...» В «Русском слове» В. П. Попов напечатал ряд статей, связанных с европейским революционным движением, «История террора» (1862, № 4—5) и др. (См.: *Ф. Кузнецов*. Журнал «Русское слово», М., 1965, стр. 14—15, 30, 35, 44, 58, 60; «Звенья» 1932, № 1, стр. 296—344).

своей статье. Он требовал прежде всего изучения причины преступления: «Отыскание и устранение этой причины должно, по нашему мнению, составить главную задачу пенитенциарной перевоспитательной системы. Преступление бывает или следствием болезни, или недоразвитости, или вынуждается необходимостью сохранить свою жизнь и общественными условиями». В. Попов считал необходимым разрабатывать не систему наказаний, а систему перевоспитания, организации в тюрьмах мастерских, школ, больниц. Он высказывался против американской системы изоляции, воздействия библии и духовных лиц (как и Ф. М. Достоевский в «Записках из Мертвого дома») на раскаяние преступников: «Думать, что довольно поместить преступника в келью, чтобы пробудить раскаяние, значит не понимать человеческой природы: большей частью угрызения совести начинаются тотчас после преступления...»

Цитируя Бокля, он считал важным повышать умственный уровень преступника, организовать совместный труд с товарищами и т. д. Он много писал о дальнейшей судьбе преступника, отбывшего наказание, о его положении в обществе: «Всякое преступление есть протест против ненормального состояния общества или недостаток образования». Необходима дальнейшая забота о бывших осужденных, а главное, создание соответствующей общественной атмосферы. Не только перевоспитывая преступника, «но давая ему средства избежать повторения преступлений, общество может быть уверено в постепенном и прочном улучшении своих членов, и чем более будет личностей правильно развитых, тем сделается менее возможно нарушение общественной гармонии и тем реже будут проявляться преступления и нищета...»

Параллельно с материалами, трактующими об иноземной науке и практике в области суда, «Время» печатало статьи, основанные на русской истории права, русском судебном делопроизводстве, а также очерки, отображающие психологию русских преступников.

В № 2 за 1862 г. была помещена статья юриста О. Филиппова «Выдержки из русского законодательства». Помещенная в той же книге, где и глава из «Мертвого дома» о телесных наказаниях, она написана в полном контакте с выступлениями против них Ф. М. Достоевского. Статья вся полна ожидания предстоящей коренной реформы в системе наказаний за преступления. После исторического экскурса о постепенном смягчении наказаний со времен Елизаветы автор выступает за своевременность более радикальных изменений: «Общее развитие нашей гражданской жизни дает повод предполагать, что и некоторые другие виды наказаний, если еще служат наказанием для некоторых классов людей, то доживают последние дни. Нам даже кажется, что настал именно тот момент, в который они должны прекратить свое существование... Развитие нашей гражданской жизни выработало понятие о том, что права человеческие дают ни сословные начала,

ни другие преимущества, а самая личность, вследствие чего и было уничтожено крепостное право. При таком же взгляде на человека — освобождение от телесного наказания только избранных людей едва ли основательно». Приводя ряд примеров, доказывающих несправедливость применения за одни и те же преступления разных наказаний в связи с принадлежностью преступника к тому или другому сословию, автор находил такое положение несовместимым с гражданским развитием и человеческим достоинством.

Ожидание судебных реформ, а также делопроизводства правительственных учреждений вызвало публикацию в № 8 1862 г. «Времени» большой статьи А. Сагатовича (67 стр.) документального и явно обличительного характера, называвшейся «Юридический обзор одного уголовного дела, оконченного решением в 1849 году». Редакция дала к публикации предисловие: «Перед теми благими реформами, которые предпринимает правительство по части судоустройства и судопроизводства, не бесполезно оглянуться на прошлое и сознать, от каких вопиющих злоупотреблений избавляемся мы при новых институциях. С этой именно целью и напечатана предлагаемая статья. Ред.».

Автор статьи также начинает свое повествование о современной идее «правды в судах», которая будет скоро достигнута. Но предупреждает о существовании тысячи способов скрывать неправду, облекая ее в якобы законные формы.

Он рассказывает о начавшемся в 1836 г. судебном деле вокруг богатого наследства в русском небольшом городе, где законный наследник, юридически опытный и знающий законы, боролся более 10 лет за свои права с шайкой чиновников, возглавлявшейся губернатором и полицмейстером.

Задачей автора было показать, как дело о насильственной смерти и расхищении имущества вследствие массового подкупа, сложных интриг и систематического нарушения законных постановлений привело к травле законного наследника, его аресту и до самого конца осталось нераскрытым, а преступники не наказанными. В целом перед читателем раскрывалась мрачная картина состояния старой администрации, представшей в виде сплоченной банды преступников, организованно совершивших убийство и кражу наследства.

Насколько это прошлое еще чувствительно давало себя знать и в период разработки реформы, свидетельствовал отдел «Наших домашних дел». В сентябре 1862 г. Порецкий писал о недовольстве полицейских властей учреждением института судебных следователей, лишавших их немалого дохода. Вместо того чтобы помогать следователям, полиция старается усложнить им работу, запутать их. Приводя два примера из текущей действительности, обозреватель писал: «Входя в жизнь и в то же время оставляя за собой и перед собой городские и земские полиции, уездные суды, городовые магистраты и уголовные палаты в прежнем их

составе и с прежними принципами, учреждение судебных следователей было парализовано в самом зародыше».

Вступление Разина в роль обозревателя внутренних дел (октябрь 1862 г.) совпало с только что состоявшимся утверждением основного положения о преобразовании судебного дела, и он начал свой обзор с торжественных строк: «Громадный переворот готовится в судьбе России, переворот радикальный, охватывающий всю нашу внутреннюю жизнь, преобразование, которое по огромной важности своей почти равняется освобождению крестьян от крепостной зависимости». Предупреждая, что «положение» будет еще дорабатываться, Разин рассматривает его основы, самое признание которых правительством является чрезвычайно важным. Это, во-первых, *отделение* судебной власти от исполнительной, административной и законодательной; во-вторых, *публичность* судебных заседаний для гражданских и уголовных дел и значение предварительного следствия, прокурора, защитника и присяжных; в-третьих, возможность публикации и обсуждения в печати данных судебного процесса; и, в-четвертых: «*Различие подсудности* по сословиям *отменяется*». В заключение Разин писал: «Нет возможности в коротких словах передать все те подробности ожидаемого преобразования судебной части, которые изложены в «Основных положениях».

Восторженный тон Разина вовсе не обозначал, что он удовлетворен опубликованным положением. Признавая важными его четыре основания, он возлагал надежды на его детальное общественное обсуждение, о котором писал в ноябрьской книжке по поводу приглашения правительства сообщать замечания и соображения на опубликованный проект: «Эта наклонность к разрешению всем и каждому сметь свое суждение иметь является и в объявлении от комиссии для составления проектов законоположения о преобразовании судебной части». Разин считал целесообразным организовать обсуждение в печати. Действительно, «Время» уже в это время выполняло это предложение, поместив три специальные статьи в связи с предстоявшей реформой и критикой ее положений.

Автором этих статей был 18-летний студент П. Н. Ткачев, только что отсидевший три месяца в Кронштадтской крепости за участие в студенческих волнениях 1861 г. и впервые выступавший в печати. Его мировоззрение, сформировавшееся под влиянием великих русских просветителей, его революционная деятельность, сближение с С. Г. Нечаевым и осуждение по его процессу, дальнейшая жизнь в эмиграции — все это выделяет его среди сотрудников «Времени». Но вместе с тем факт, что ему были доверены очень ответственные злободневные публицистические статьи, характеризует настроение редакции, которая привлекала молодежь, уже зарекомендовавшую себя активной борьбой против правительственного произвола. Так было и с публикацией статей Щапова после репрессий, которым он подвергся за выступление в связи

с восстанием крестьян в с. Бездна, с публикацией стихотворения М. Л. Михайлова (Илецкого), после его приговора к каторжным работам.

Статьи же Ткачева были насквозь полемичны и полны революционно-демократического духа. Их никак нельзя считать только «работой из-за заработка», как определил работу Ткачева для «Времени» Б. П. Козьмин. Конечно, не «почвеннические» идеи журнала, а общий демократический дух и явное сочувствие молодежи, которые слышались в каждой книжке журнала, могло привлечь Ткачева.

Его первая статья была помещена в июньском номере «Времени» за 1862 г. и называлась «О суде по преступлениям против законов печати». Оставляя ее рассмотрение до главы XIV, в которой рассматриваются отношения «Времени» с цензурой, скажем здесь о его следующих двух статьях «О мировых судьях», из которых первая была помещена в июльской книжке «Времени» 1862 г. и имела подзаголовок: «По поводу «Писем из деревни» Сумарокова (Отеч. зап., 1862, № 6)». Автор прежде всего сообщал о делении будущих судов на *несокращенные* (судьи с высшим образованием, присяжные, адвокаты, апелляции) и *сокращенные*, лишенные указанных атрибутов, представляющие суд одного человека, которому доверяют,— мирового судьи. Разбирая, какие дела где будут слушаться, Ткачев высказывался против определения важности дела оценкой иска, так как одна и та же сумма имеет различное значение для богатого и бедного тяжущегося. Он высказывался за то, чтобы дать право тяжущимся направлять дело в тот суд, который они найдут для себя вернее. Ткачев, рассматривая разные случаи судебных дел, всюду горячо высказывается за соблюдение интересов малоимущих и за сокращение до минимума их затрат в судебном процессе: «Только тогда право суда, суда свободного, зависящего от выбора тяжущихся, перестанет быть мнимым правом, по крайней мере для большинства, и тогда суд и правосудие будут одинаково доступны как для богатых, так и для бедных».

Рассматривая разные проекты выборов мировых судей, опубликованные в «Современной летописи» и в «Отечественных записках», Ткачев называл их «псевдолиберальными», так как ясно видел их лицемерие, стремление скрыть основную цель: обеспечить главную роль в выборах мировых судей помещикам. Этот классовый характер обсуждения проекта, предлагаемый Сумароковым, для него так ясен, что он замечал: «Мы его и не виним. Мы очень хорошо понимаем, что смотреть иначе он вряд ли и может». Ткачев выступал против деления выборов на дворянские и земские, за их объединение, что может помочь и сближению сословий. Он высказывался за то, что мировым судьей может быть простой крестьянин. Необходимо лишь общее доверие к нему, грамотность, а здравый смысл ему подскажет решение. Он предлагал, чтобы вознаграждение мировому судье шло от «мира» и было бы пропор-

ционально числу решенных дел. По его мнению, это заставит судей дорожить общественным мнением и не будет тяжело для тяжущихся.

Не исчерпав в этой статье острую злободневную тему, Ткачев написал вторую, которую назвал «Еще о мировых судьях», но она была задержана цензурой в октябре 1862 г. Ее текст обнаружен нами в специальном издании: «Сборник статей, недозволенных цензурою в 1862 г., т. I. СПб., 1862. Напечатан по распоряжению г. Управляющего министерством народного просвещения для комиссии по делам книгопечатания». Здесь на стр. 269—287, под № 16, напечатана без указания автора и журнала, из которого она изъята, статья «Еще о мировых судьях». Но авторство легко вскрывается, так как она начинается ссылкой на предшествующую статью: «В июльской книжке «Время» была помещена моя заметка «О мировых судьях»; пиша ее, я имел главным образом в виду разобрать и опровергнуть несколько помещичьих проектов, о которых поведал миру г. Сумароков. Цель заметки была «обличить во лжи» мнимый помещичий либерализм».

Основная мысль второй статьи заключалась в том, что суд над крестьянами должен перейти в руки крестьян, стать «самосудом», на него не должны влиять ни помещики, ни бюрократия. «Судья выбирается непосредственно земством, находится под его контролем. Существующее «недоверие» между дворянами и крестьянами вызывает их постоянную борьбу, и навязывать одного судью дворянам и крестьянам значит только разжигать вражду». Ткачев выступил горячо против тех, кто отказывает крестьянам в достаточном развитии для отправления судебной должности. Он признавал наличие в народе «глубокой гуманности, разумной высшей справедливости». Отказ плотников чинить эшафот для наказаний, не желавших «марать топоры об этакое срамное дело», отказ, который приводился как доказательство непонимания народом законности, Ткачев расценивал именно как свидетельство того, что народ сохранил «столько истинной гуманности, столько человеколюбия, мягкости и сострадания к своим страждущим братьям». Считая, что любой грамотный крестьянин, облеченный доверием своих выборщиков, может быть судьей, Ткачев утверждал, что практика скоро позволит ему овладеть навыками и знанием законов. В сложных же случаях возможно привлечение ему в помощь «мировых присяжных». Предлагал также Ткачев ввести в начальных школах вместе с обучением грамоте «элементарное изучение законов империи», что будет способствовать здравому отношению народа к судебной практике.

Эта запрещенная в октябре статья не помешала появлению в ноябрьской книжке 1862 г., после опубликования правительством основных положений судебной реформы, новой статьи, которая называлась «Мировой суд по смыслу «Главных оснований для проектов гражданского и уголовного судопроизводства и судоустройства». Ткачев вспоминал в начале статьи о своем первом вы-

ступлении против «двуличных, псевдолиберальных помещичьих» проектов и должен был, разъясняя правительственный проект, убедиться, что именно они легли в его основу. Так как от кандидата в мировые судьи требовалось высшее или среднее образование, то, по мнению Ткачева, было ясно, кто окажется избранным. Очевидно, большинство мировых судей будет состоять из помещиков и чиновников, богатых купцов и мещан и «очень небольшого процента богатых крестьян-собственников». Общий характер, возможно, дворянско-мещанский, но пока еще не известен ценз, который будет установлен для права быть избранным. Если он будет велик, то мировой суд примет исключительно дворянский характер, что будет чрезвычайно несправедливо, о чем Ткачев возмущенно писал: «Допустить до избрания в мировые судьи только или по крайней мере почти только одних помещиков, да еще притом многоземельных, значит убить в начале, в самом зародыше наши мировые учреждения, сделать мировой суд непопулярным, ненавистным для народа, уничтожить в народе всякое к нему доверие, а мировой суд без доверия, опять повторяю, худшая нелепость из всех нелепостей... С точки зрения *чистого* права такой мировой суд покажется также бессмысленным. Какое право имеет одно, сравнительно малочисленнейшее сословие присваивать себе суд над другим сословием, сравнительно многочисленнейшим?».

Разбирая другие стороны проекта, Ткачев всюду отмечал антидемократические тенденции. Так он указывал, что в проекте назначен объем сумм, дела по которым должны были поступать в общий или мировой суд, и тем самым все дела бедняков отдавались на решение мирового суда, где справедливость решения гораздо менее гарантирована. Решение особенно важного требования — избрание мировых судей зависело от всего мира — оказывалось сомнительным, так как в проекте говорится о выборах «совокупно всеми сословиями», но не сказано о важном условии: пропорционально чему будут производиться выборы — если числу выбирающих, то это будет выгодно помещикам, а если численности сословия, то выгодно крестьянам. Перечисляя ряд кардинальных вопросов, которые еще должно будет разрешить постановление, Ткачев заключал статью: «Будем ждать и надеяться».

Еще одна статья Ткачева о судах появилась в апреле 1863 г., т. е. в последней книжке «Времени». Она называлась «Наши будущие присяжные» и, очевидно, должна была начинать серию статей о новой форме суда. Так, коснувшись деятельности прокурора, Ткачев заметил: «Впрочем, об этом вездесущем и всезнающем чиновнике мы будем говорить особо, ему мы посвятим отдельную статью».

Статью о присяжных Ткачев начал полемикой со славянофильским «Днем», который, указывая на свойства русского человека, считал невозможным для него выступать в качестве присяжного, судить и накладывать наказание на подсудимого. Само понятие

о «праве», по мнению «Дня», у русского народа другое, чем писаный закон, иногда прямо противоположное. Ткачев напоминал, что еще у древних славян суд совершался с 12 выбранными людьми, а что касается «соболезнования», с которым русский народ относится к преступникам, называя их «несчастными», то этого обстоятельства не следует опасаться, наоборот: «Пусть живая струя жизни, гуманности, человечности широким потоком вольется в сухой безжизненный формализм наших официальных судов».

Разбирая вопрос о составе присяжных, о праве ими быть, Ткачев обращал внимание на то, что по проекту списки присяжных просматривает губернатор, следовательно они контролируются правительством, а также на то, что в списки включаются лица, обладающие определенным движимым и недвижимым имуществом, хотя размер ценза еще не указан. Сам же Ткачев считает необходимым включение в списки всех совершеннолетних, неопороченных судом, и составлять списки без лишних формальностей и без правительственного вмешательства. Он озабочен, чтобы в число присяжных входили представители «черного народа». Как на пример демократичности он указывал на «способ избрания присяжных, установленный французским законодательством в 1791 году», цитировал источники и объяснял, как этот способ мог бы быть применен у нас.

Отметив, что по проекту наши суды не будут рассматривать дела «о преступлениях, совершенных против верховной власти и установленного государственного порядка посредством печатного или вообще публичного слова», Ткачев делал такой вывод: «Вопрос: будут ли наши присяжные иметь какое-нибудь политическое значение, решается сам собою.— Не будут, ровно никакого не будут. Бессмысленные мечты, ни к чему не ведущие иллюзии — утверждать противное. Наши присяжные не удовлетворяют ни одному из тех трех условий, которые необходимы для присяжных, претендующих на политическое значение. Хорошо ли это или худо — мы не говорим. Мы заявляем только факт, как он есть». Таким образом, Ткачева не удовлетворяет решение вопроса в проекте, ни *как* избираются присяжные, ни *кого* избирают, ни *что* подведомственно их решению. Он констатирует, что присяжные наших судов будут иметь только юридическое и социальное значение, сблизят суд с народным сознанием, внесут гуманность, но это только в том случае, если ценз будет сведен к минимуму.

В 1863 г., в связи с закрытием журнала, Ткачеву уже не удалось продолжать свои статьи, но через год, в апреле 1864 г. он выступил как сотрудник «Эпохи» [2].

---

[2] Интересно привести оценку советским исследователем этих ранних статей Ткачева: «В бедной и скудной русской юридической литературе того времени они были незаурядным явлением. Просматривая их, невольно поражаешься тому обширному запасу знаний, которым располагал 18—20-летний юноша, и тому критическому отношению к общепринятым взглядам и установившимся мнениям, которые он обнаруживал» (*Б. П. Козьмин.* П. Н. Ткачев и революционное движение 1860-х годов. М., 1922, стр. 43).

Обостренное внимание «Времени» к судебной реформе и к ряду относящихся к ней проблем, как было сказано в начале главы, возможно, связаны с особым интересом к ним автора «Записок из Мертвого дома». Можно было бы продолжить рассмотрение этой связи, обратившись к дальнейшему творчеству Достоевского. Во всех его романах можно проследить элементы, сближающие их с рассмотренным выше материалом, начиная от названия «Преступления и наказания» и деталей этого романа, напоминавших исследователям о «Процессе Ласенера», кончая последней частью «Братьев Карамазовых», с точным изображением и глубокой критикой того судопроизводства, проект которого в 1861—1863 гг. горячо обсуждался на страницах «Времени». Но это не входит в задачу данной книги.

Остановимся на проекте еще одной реформы, которая должна была волновать Достоевского: упрощение делопроизводства в правительственных учреждениях, борьба с бюрократизмом, канцелярщиной, волокитой, особенно характерными для тогдашнего судебного производства. Эта реформа была связана с судьбой сотен маленьких тружеников, мелких чиновников, писцов-копиистов, их сокращением и лишением единственного заработка, к которому они были способны. В 40-х годах у Достоевского зрел план повести «об уничтоженных канцеляриях», вероятнее всего об участи увольняемых при этом чиновников. С этим планом, несомненно, связан рассказ «Господин Прохарчин», о чиновнике, который под влиянием постоянного страха возможности лишиться места (так как канцелярия «сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра, как-нибудь там и не нужна»), делается помешанным на бережливости, обеспечении своего будущего в роковом случае.

Реформа должна была выкинуть с насиженных мест сотни прохарчиных, и их судьба стала занимать общественное мнение. Так, в «Современнике», в августе 1860 г. была помещена статья Н. И. Ростиславова: «Несколько мыслей относительно устройства чиновников, остающихся вне службы по случаю сокращения штатов». Много раз, но большей частью бегло касалось этого вопроса и «Время». Отметим, что в № 11 и 12 за 1861 г. во внутреннем обозрении сообщалось о понимании чиновниками непрочности своего положения и о предположении создать «общество взаимного воспомоществования чиновников». Но они слишком апатичны, боятся новшеств, ничего не видят и не знают, кроме бумаг и канцелярии, и бегут от жизни: «Видите ли, какую неизменную формулу может сделать из человека исключительно бумажное поприще, если оно по силе обстоятельств... поглотит его целиком». А между тем ему нужно готовиться к другим поприщам.

В журналах высказывались различные предположения о судьбе мелких уволенных чиновников: или посадить их на землю, переселив на новые места, или направить на педагогическую работу за недостатком учителей, или использовать на будущих железных дорогах и т. д. По существу дела во «Времени» была

напечатана лишь одна статья, в № 11 1862 г. Она называлась «Делопроизводство в департаментах» и принадлежала П. Бибикову. Сказав о том, что «в последнее время..... только и слышится об ограничении расходов, об упрощении делопроизводства, о сокращении штатов», Бибиков констатирует, что само по себе необходимое делопроизводство из средства обратилось в цель, за бумагами не стало видно дела. Одно из зол — обилие инстанций, через которые проходит дело от «входящего журнала» до писаря «исходящей». Бибиков ополчался на так называемых начальников отделений, которые фактически не изучают и не знают дела (за них это делают делопроизводители), но обязаны о нем докладывать директорам. Поэтому требуются огромные письменные изложения дел, тогда как знающие дело de facto делопроизводители могли бы лучше и без лишних письменных докладов излагать все высшему начальству, от которого зависит решение. Считая целесообразным совсем ликвидировать промежуточную ступень, Бибиков заботился о судьбе маленьких чиновников: «Сколько молодых людей с университетским образованием, с юношеской пламенной готовностью служить обществу сидят столоначальниками или их помощниками в совершенной и несправедливой неизвестности, чернорабочими делопроизводства, между тем как ими и исполняются все дела, за которые только не им следует награда!» Далее он пишет: «Нам небезызвестно, что проект наш найдут зараженным демократическим духом,— мы настаиваем на несомненной его пользе». Приближение власти к «чернорабочим» исполнителям, уничтожение ненужных инстанций приведет к упрощению форм, уменьшению переписки, сокращению штатов и расходов и к быстроте продвижения дела в департаменте. В заключение Бибиков жалел, что эти вопросы почти не затрагивались литературой [3].

В той же, ноябрьской книжке за 1862 г., где была напечатана статья Бибикова, Достоевский поместил свой рассказ «Скверный анекдот». Посвященный петербургскому чиновничеству разных рангов, рассказ этот, по нашему мнению, явился, с одной стороны, откликом на всеобщую заинтересованность в реформе внутренней жизни канцелярий и департаментов, а с другой — пересмотром автором своих позиций в чиновничьих повестях сороковых годов. Он перенес «бедного чиновника» в шестидесятые годы и показал, какие сдвиги совершились в его психологии.

Как и в рассказах 40-х годов, в «Скверном анекдоте» изображены «два полюса чиновничьей жизни»: «бедный чиновник» на 10 руб. жалованья и «его превосходительство» — вершитель его судьбы. Мы мало что знаем о генерале, благодетеле Девушкина,

[3] В повести Сусловой «Покуда» («Время», 1861, кн. 10) герой, оканчивая университет, полон гордых надежд активно участвовать в деле общественного преобразования, но, став чиновником, был принужден переписывать бумаги и лишен возможности высказывать мнения, спорить, ограничиваясь лишь критическим описанием своих бездарных начальников (стр. 282—283).

об Олсуфии Ивановиче — генерале Голядкина, немного более о Юлиане Мастаковиче, начальнике Васи Шумкова из «Слабого сердца». Мы ощущаем лишь пропасть, отделявшую их от ничтожных героев, которым отдавал все свое внимание автор. В «Скверном анекдоте» героем рассказа явился именно генерал, Иван Ильич Пралинский, а на другом краю пропасти — его подчиненный, чиновник Пселдонимов.

Если два других генерала, с которыми провел вечер Пралинский, судя по их характеристике, могли бы вполне оказаться в повестях 40-х годов, то этого нельзя сказать о Пралинском. Это был генерал «в новом вкусе», на которого наложила отпечаток эпоха начала 60-х годов. Достоевский тщательно фиксирует злободневные особенности характера и поведения Пралинского. «Генеральский сын и белоручка», выросший «в бархате и батисте», воспитавшийся в аристократическом заведении, Пралинский был еще молод, с большим самомнением, но вместе с тем без уверенности в своих силах и возможностях: «Но обновляющаяся Россия подала ему вдруг большие надежды. Генеральство их довершило. Он воспрянул; он поднял голову. Он вдруг начал говорить красноречиво и много, говорить на самые новые темы, которые чрезвычайно быстро и неожиданно усвоил себе до ярости. Он искал случая говорить, ездил по городу и во многих местах успел прослыть отчаянным либералом, что очень ему льстило». Его девизом стала «гуманность», которая «все спасет и все вывезет», которая послужит «краеугольным камнем предстоящих реформ и вообще к обновлению вещей».

Но поверхностный либерализм Пралинского терпит жестокое поражение, когда он решает на практике проявить «гуманизм», облагодетельствовать ничтожного Пселдонимова своим присутствием на его свадьбе. Любуясь в мечтах своим решением, своей ролью, говоря современные красивые слова — «я униженного нравственно подыму, я самому себе его возвращу»,— Пралинский в сущности остается на «патриархальной» позиции генерала 40-х годов, с крепостнической формулой: «они уже мои; я отец, они дети...» А от этой формулы уже недалека была и мысль о розгах для самовольно отлучившегося кучера.

Однако «патриархальный» визит кончился не единением «отца с детьми», а скандалом, и причина оказалась в том, что Пселдонимов и его гости не были уже «бедными чиновниками» 40-х годов. Те, безотказно работая по мере сил, кротко несли свою участь, питали благоговейный страх и преданность к начальству и только где-то глубоко в душе постоянно ощущали неуверенность не только в прочности своего положения, но и в своей кротости и терпении. «Ты пойми, ты пойми только, баран ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потом и несмирный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольнодумец!...» — вырывается у больного Прохарчина признание. Этот глубоко скрытый протест людей, превращенных в ветошку и «только в грязных складках

хранящих остатки чего-то человеческого, неслышного, безответно-но, но как-то по временам дающего себя чувствовать»,— отметил Добролюбов в статье о творчестве Достоевского «Забитые люди».

Пселдонимов не был Васей Шумковым, и психология Девушкина ему была чужда. Появление генерала не вызвало в нем «трепета благоговения», унизительных заискивающих слов и жестов, а только сперва недоумение, замешательство, а потом решительное безразличие: «Ивану Ильичу показалось даже, что в глазах его есть что-то холодное, затаенное, даже что-то себе на уме, особенно злокачественное...» Его серьезный и даже угрюмый вид все более раздражал генерала, противореча всем его представлениям и ожиданиям: «Когда он входил, он, так сказать, простирал объятия всему человечеству и всем своим подчиненным; и вот не прошло какого-нибудь часу, и он, всеми болями своего сердца, слышал и знал, что он ненавидит Пселдонимова, проклинает его, жену его и свадьбу его. Мало того: он по лицу, по глазам одним видел, что и сам Пследонимов его ненавидит, что он смотрит, чуть-чуть не говоря: «А чтоб ты провалился, проклятый! Навязался на шею!..» Все это он уже давно прочел в его взгляде».

Пселдонимов умно сдерживал свои чувства к генералу, соблюдая чиновничий этикет, но собравшаяся на его свадьбу демократическая молодежь была молодежью начала 60-х годов. Все эти студенты-медики, офицеры, вольные художники, учащиеся, канцеляристы дружно противостояли барским претензиям и замашкам генерала, высмеивая его, а пьяный сотрудник «Головешки» разоблачил, очень ясно и трезво сформулировав свои обвинения, так что «каждое слово его было новым кинжалом» для сердца генерала: «Вы ретроград... Вы пришли ломаться и искать популярности... Да, вы пришли, чтоб похвалиться гуманностью! Вы помешали всеобщему веселью. Вы пили шампанское и не сообразили, что оно слишком дорого для чиновника с десятью рублями в месяц жалованья...» При всем гротескном характере повествования Достоевский с явной симпатией, без всякой иронии рассказал историю Пселдонимова и его матери, указав на такие черты этого «бедного чиновника», каких не могло быть ни в одном из его героев 40-х годов, его «твердый характер», его «инстинктивную, кряжевую, бессознательную решимость выбиться на дорогу из скверного положения». Особенно в концовке рассказа, в умении достойно выйти из тяжелого положения, в которое его поставил легкомысленный генерал, Пселдонимов обнаруживает все свое превосходство над Пралинским, так и не сумевшим ни выдержать взятого тона, ни хотя бы молчать о происшедшем.

Думается, что сопоставление новой повести о «бедном чиновнике» со старыми не было чуждо и самому автору во время ее писания. Между прочим вряд ли случайно в «Скверном анекдоте» нашлось место ситуации, которая повторяет (но в зеркальном отражении) ситуацию из «Двойника», которого как раз в это время автор перерабатывал. В главе четвертой Голядкин долго

стоит на черной лестнице генеральской квартиры, где пышно, с музыкой и танцами справлялся день рождения Клары Олсуфьевны, набираясь храбрости, чтобы войти. Размышляя о разных предметах и вдруг решившись, Голядкин очутился в буфетной, где «сбросил шинель» и «прямо, как снег на голову, явился в танцевальную залу». Далее описывается, как воспринимает общество его внезапное появление и то нелепое состояние, в котором он очутился. В «Скверном анекдоте» Пралинский, проходя мимо дома Пселдонимова, где шумно с музыкой и топотом плясали на свадьбе гости, остановился у крыльца и «все более и более раздумывался», представляя свое появление в доме подчиненного, его значение и результаты. И так же внезапно решившись, вошел по лестнице в сени, где, ступив ногой в галантир, прошел в переднюю, еще думая, «не улизнуть ли сейчас же?», «сбросил с себя шубу» и вошел в комнату, где «доплясывали кончавшийся танец».

Характерно, что оба героя, после нерешительности, сомнений и размышлений действуют как бы по внезапному наитию. О Голядкине говорится: «Рок увлекал его. Господин Голядкин сам это чувствовал, что рок-то его увлекает». О Пралинском читаем: «Звезда увлекала его. Он бодро вошел в открытую калитку...» Можно было бы указать на ряд параллелей в изображении богатого генеральского праздника и мещанской свадьбы Пселдонимова и самочувствия обоих героев, которые предчувствуют катастрофу, и это при явно подчеркиваемом различии стиля изложения. Обратим внимание лишь на одно еще обстоятельство. Связующим лицом между генералом и маленьким чиновником является и тут и там среднее чиновничье звено — начальники отделения Андрей Филиппович в «Двойнике» и столоначальник Аким Петрович в «Скверном анекдоте». Этот персонаж сохранил свои характерные черты и функции без изменения в рассказах 40-х и 60-х годов. Но в последнем он получил блестящее социальное объяснение и раскрытие, которое перекликается со статьей Бибикова, направленной против бюрократического бумажного чиновничества, культивировавшегося в Петербурге.

Еще об одной информации, напечатанной во «Времени», заставляет вспомнить основная мысль «Скверного анекдота». В № 5 за этот же 1862 г. были помещены сведения о том, как «два юных чиновника *белой кости»* воспылали благородным негодованием на бедного канцеляриста, служившего на 10 или 12 руб. жалованья. Вызванный директором в связи с поступившим на него иском 20-ти рублей по счету лавочника, канцелярист ответил, что платить ему нечем, что долговое отделение лучше его квартиры, а на угрозу исключить со службы, сказал: «Извольте исключить». Юношей возмутила дерзость ответа, тогда как, по их мнению, чиновник должен был воззвать к состраданию начальника, который, вероятно, облагодетельствовал бы его. Очевидно, Пселдонимовы и Пралинские были характерным явлением своего времени.

Глава VII

Проблемы народного образования и демократизации культуры

«Настоятельная необходимость учреждения повсеместно сельских училищ» была признана еще редакционными комиссиями, вырабатывавшими «Положение» о крестьянах, как неизбежная предпосылка и следствие при проведении реформ. К началу издания «Времени» «Положение о начальных народных училищах» еще не было опубликовано, но уже начали открываться в разных губерниях сельские школы, а в городах энергично действовали воскресные, в которых увлеченно работала демократически настроенная молодежь, главным образом студенты. Правительственные начинания и общественная деятельность в этом направлении встретили самое сочувственное внимание журнала. На протяжении всего времени издания из номера в номер он информировал о развитии этой деятельности, освещал ее направленность, вступал в дискуссии и выступал как с теоретической разработкой вопроса, так и с практической критикой и предложениями. Можно отчасти объяснить этот интерес журнала тем, что большинство его ведущих сотрудников были практики-педагоги и деятели детской литературы. М. М. Достоевский, Страхов, Разин, Порецкий, Полонский, Ап. Григорьев, Милюков были еще недавно связаны с педагогикой, а некоторые и продолжали учительствовать. Отметим, что и в художественной литературе, помещенной во «Времени», целый ряд произведений, отражал жизнь учебных заведений от бурсы до женских пансионов.

Но основная причина внимания журнала к проблеме образования заключалась в самом принципе, положенном в основу его деятельности, о котором было заявлено в «Объявлении» о его выходе. Констатируя разъединенность народа и общества и называя «девизом» журнала «соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее», редакция писала: «Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен... Распространение образования, усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало — вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всей деятельности».

Объявив в первом номере публикацию «Ряда статей о русской литературе» и поместив в нем «Введение» к ним, Достоевский писал: «Наша новая Русь поняла, что один только есть цемент, одна связь, одно духовное примирение, начало которому лежит в образовании... И теперь, когда она обращается к народному началу и хочет слиться с ним, она несет ему в подарок науку,—то, что от вас (Запада.— *В. Н.*) с благоговением получила и за что вечно будет помнить вас добром,— не цивилизацию вашу несет она всем русским, а науку, добытую из вашей цивилизации, представляет ее народу как результат своего длинного и долгого путешествия от родной почвы в немецких землях, как оправдание свое перед ним и, передавая ее ему, будет ждать, что сделает он сам из этой науки».

Такова коренная установка журнала: принести народу науку, приобщить его к ней в уверенности, что ее дальнейшее развитие и использование будут своими, русскими, народными: «Наука, конечно, вечна и незыблема для всех и каждого в основных законах своих, но прививка ее, плоды ее именно зависят от национальных особенностей, т. е. от почвы и народного характера». Отсюда две задачи — дать возможность народу приобщиться к науке (грамотность, школы) и направить наше образование и науку, как существующие, так и их дальнейшее развитие, в соответствие с народным характером. В первую очередь встает вопрос о защите грамотности народа от тех, кто еще преследует ее, выдвигая якобы здравые, практические соображения, оказывающиеся, однако, совершенно несостоятельными при внимательном рассмотрении.

В ответ на указания, что среди преступников в острогах преобладают грамотные, из чего делается вывод, что грамота способствует порче народа, а потому его и не надо учить грамоте, Достоевский на основании недавнего личного опыта общения с народом на каторге, анализирует психологию грамотеев-простолюдинов и делает вывод, что вредно действует на них их явное превосходство над невежественной массой, среди которых они ощущают себя привилегированными одиночками: «Вместо того чтоб делать грамотность привилегией, исключением, уничтожьте исключительность. Сделайте ее достоянием всех по возможности, и она не породит ни в ком и ни при каких обстоятельствах ни высокомерия, ни заносчивости. Не перед кем и заноситься-то будет,— все будут грамотные. А потому, чтоб уничтожить вредные последствия грамотности, нужно как можно более распространять ее; в этом все лекарство». Никакие препятствия развитию грамотности в народе не могут «уничтожить ее совершенно».

Обращаясь к врагам грамотности, он писал далее: «Правительство первое бы воспротивилось вашим рьяным усилиям и защитило бы народ от вашей филантропии... грамотность есть первый шаг к образованию: как же достигнуть образования без этого первого шага?» И, повторяя гнев и обличительный пафос Белин-

ского, который в ответ на утверждение Гоголя о вредности народу грамоты восклицал в письме к нему из Зальцбрунна: «Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, предавши ее бумаге, Вы не знали, что творили...»,— Достоевский обращался к своим противникам: «Ведь не можем же мы серьезно представить себе, что вы нарочно хотите держать народ в темноте, в пороках и в невежестве, одним словом — убить и развратить в нем душу? Или, может быть, это тоже входит в вашу систему?..»

Достоевский утверждал, что, вопреки мнению «филантропов», народ созрел для грамотности и сознал ее необходимость: «Взгляните на воскресные школы. Дети наперерыв приходят учиться, иногда даже тихонько от своих хозяев. Родители сами приводят своих детей к учителям». Общество должно идти навстречу этой осознанной народом потребности. Обращаясь к тем, кто ищет полезной деятельности, он предлагает: «Научите хоть одного мальчика грамотности; вот вам и деятельность».

От пропаганды всеобщей грамотности Достоевский переходит к широким перспективам будущего роста русской науки, которая до сих пор была «оранжерейным цветком», не прививалась ни теоретически, ни практически: «Но привьется, наконец, и наука; все это совершится, может быть, тогда, когда уже нас не будет на свете. Мы даже и угадать не можем, что тогда будет, но знаем, что будет не совсем дурно. На долю же нашего поколения досталась честь первого шага и первого слова».

«Введение» Достоевского к «Ряду статей о русской литературе» стало и «введением» к энергичной пропаганде всем журналом идей развития грамотности, образования, науки. С первой же книжки начались информации Порецкого во внутреннем обозрении о появлявшихся в периодической печати сведениях в этой области. Он давал в обозрении специальные подзаголовки: «Ход дела по распространению грамотности: новые воскресные школы и училища». Он негодовал на тех, кто видел в увлечении воскресными школами только «моду», и приводил в пример разные случаи повсеместной тяги народа к образованию.

Тщательно сообщая, сколько и где открыто воскресных школ, он приводил сведения о содействии и препятствиях к распространению грамотности, обличая виновников и выражая сочувствие пострадавшим. Особенно это относится к рассмотрению им участи ремесленных подмастерьев, которым хозяева ставят преграды к посещению школ. Но уже в третьей книге 1861 г. Порецкий принужден был сигнализировать о том, что правительство, напуганное энтузиазмом молодежи и ее самостоятельной инициативой в деятельности воскресных школ, забило отбой, предвещавший их закрытие. Порецкий сообщал о предложении министра народного просвещения следить за тем, «чтобы воскресные школы не выступали границ определенного ими круга действия» и являлись «только пособием приходских училищ». Запрещалось преподавать

другие предметы, требовались «вполне благонадежные» учредители и выражались опасения относительно «направления, противного религиозным истинам, государственному управлению и правилам нравственности».

Сочувствуя молодежи, которая «в порыве горячего усердия, в порыве юношеских всегда великодушных стремлений, собиралась, было, делиться с детьми познаниями своими, не стесняясь программою приходских училищ», т. е. преподавать физику, химию, естественные науки, и которую «новое распоряжение» привело в уныние, Порецкий спешил предупредить ее охлаждение к делу. Он стремился доказать, что и без этих предметов «благородное стремление» молодежи найдет свое применение. Общаясь «с самым бедным, часто заброшенным людом» и научая его не механическому, а разумному чтению, преподаватели помогут ему разобраться в понимании и значении правды и неправды и борьбе с последней: «Простодушная вера в дозволенность неправды не заключается в одних отношениях извощика к его хозяину, она глубоко лежит в обществе; она растет всюду, прививается ко всем сферам общественной деятельности и кладет свой отпечаток на все стороны жизни». Грамотность и ее распространение — «вопиющая потребность» для успешного проведения в жизнь реформ. Сообщая о ряде вновь открывшихся в селах школ, Порецкий мечтает, что уже с этой осени во всех избах при лучине начнут читать специальные, изданные для народа журналы. Он твердо верит, что «свободное движение общества и его отдельных членов не может не согласоваться с насущными потребностями самого общества».

Однако действительность поспешила охладить мечтания Порецкого. В майской книге журнала он был принужден констатировать, что в воскресных школах катастрофически убывают взявшиеся безвозмездно за дело педагоги и школы приходится не расширять, а сужать. Конечно, причиной было и опубликованное распоряжение министра, но особенно вмешательство местных властей. На их произвол Порецкий ясно намекает, говоря, что «какой-нибудь ревностный блюститель порядка хватает за полу и делает невозможным движение», хотя «внутренний голос, события времени, подчас и голос власти призывает нас вперед». Приводился пример, как в Казани были прекращены субботние домашние встречи педагогов, договорившихся собираться «для обмена мыслей», ими было задумано «много прекрасного». — «И однако ж... *сходки эти должны были прекратиться...*»

Проблема распространения грамотности поставила перед ее защитниками две требовавших быстрого разрешения задачи: что читать народу и откуда взять учителей для его обучения. В половине 1861 г. (июль, август), когда правительство не только подозрительно смотрело на готовность прогрессивной части общества нести в народ образование, но уже дало сигнал препятствовать этому движению, во «Времени» появились две статьи

Ф. М. Достоевского «Книжность и грамотность». О чтении для народа Достоевский еще в «Введении», в первой книге «Времени», писал: «Мы знаем, что для народного чтения у нас еще до сих пор ничего не сделано. Хоть бы и было бы что̀ читать, но и то, что есть, недоступно народу. Всякую попытку устранить эту недоступность мы встретим с искреннею радостью».

В февральской книге «Отечественных записок» появилась статья Н. Ф. Щербины: «Опыт о книге для народа», в которой давался проект такой книги под названием «Читальник». В майской книге «Времени» в «Смеси» была помещена на 14 страницах статья «Вместо фельетона», в которой среди других тем (полемика с «Отечественными записками» о народности) фельетонист касается названной выше статьи Щербины. Он осуждает намерение автора художественным изложением приманивать к чтению поучительного характера, давать сведения об артели, труде, домоводстве, и советует: «Пусть его (народа.— *В. Н.*) чтение будет сначала забавою, наслаждением; потом он выжмет из него пользу».

Редакция (в этом случае, конечно, Ф. М. Достоевский) сделала примечание: «В скором времени мы надеемся поместить обстоятельный разбор статьи г. Щербины». Две статьи «Книжность и грамотность» и были выполнением этого обещания, хотя собственно разбору была посвящена лишь вторая статья. Но начал Достоевский первую статью с нового выступления за народное образование, необходимость которого признает все «прогрессивное большинство» общества: «Мы потому говорим об этом так *наверно*, что в обществе достиглась, наконец, полная необходимость всенародного образования. Постиглась же потому, что само общество дошло до этой идеи, как до необходимости, увидело в ней элемент и собственной жизни, условие собственного дальнейшего существования. Мы этому рады: мы говорили еще в объявлении о нашем журнале: «грамотность прежде всего, грамотность и образование усиленные,— вот единственное спасение, единственный передовой шаг, теперь остающийся и который можно теперь сделать. Мало того: даже при возможности и других шагов грамотность и образование все-таки остаются единственным первым шагом, который *надо* и должно сделать». Мы обещались особенно стоять за грамотность, потому что в распространении ее заключается единственное возможное соединение наше с родной почвой, с народным началом».

Прежде чем перейти к конкретному рассмотрению плана «Читальника» Щербины Достоевский, развивая свое понимание народности в литературе, вступил в полемику с «Русским вестником» и «Отечественными записками». Но и в пылу полемики он возвращался к теме горячей защиты образования, его огромного значения для демократизации общества: «Образованность и теперь уже занимает у нас первую ступень в обществе. Все уступает ей; все сословные преимущества, можно сказать, тают в

ней... В усиленном, в скорейшем развитии образования — вся наша будущность, вся наша самостоятельность, вся сила, единственный сознательный путь вперед, и, что важнее всего, путь мирный, путь согласия, путь к настоящей силе». Требуя далее «настоящего правильного обучения», «правильно широкого развития образования» и предостерегая против возможности ложного пути самоучек и людей, «односторонне знакомых с наукой», Достоевский утверждал: «Только образованием можем мы завалить и глубокий ров, отделяющий нас теперь от нашей родной почвы. Грамотность и усиленное распространение ее — первый шаг всякого образования».

Во второй статье (август 1861 г.), признавая необходимость создания книг для народного чтения, отдавая должное уму, стараниям, тщательности проекта Щербины, Достоевский разбирает как теоретические предпосылки, так и предлагаемый состав будущего «Читальника». Как основные принципы издания, так и его композиция, состав каждой из его частей, вплоть до названия книги, способ распространения, рекомендуемый автором, вызывают его решительные возражения: он во всем видит исконно барское отношение к народу, отсутствие его подлинного понимания и демократического подхода к выполнению задачи. Стремление поучать народ, которое пронизывает план «Читальника», особенно осуждает Достоевский: «Мы вовсе не про то говорим, что *учить не надо*. Сами же мы только одно и кричим, только об одном и возвещаем: грамотность! грамотность! учить, напротив, надо. Только много, слишком много надо иметь, по нашему мнению, самоуверенности, чтоб думать, что народ так вот и разинет рот, слушая, как мы будем его учить. Ведь народ не совсем же стадо. Мы даже уверены, что он сам про себя смекает, а если не смекает, то хоть чувствует, что мы, господа, сами еще чего-то не знаем, идя к нему в учителя, так что нам самим прежде надо бы кой-чему у него же поучиться, а оттого и действительно не уважает и всю нашу науку, по крайней мере, не любит ее».

Требование «подступить к народу на более ровных отношениях» пронизывает статью Достоевского. Он предупреждает против хитрости с народом, излишней осторожности и подозрительности, против стремления в одной книге достигнуть «и воспитания, и образования, и развития народного... чуть ли не университетского образования». Предлагая в заключение план своего «Читальника», Достоевский ставит себе первой задачей распространять грамотность и охоту к чтению, а для этого доставлять народу «как можно более *приятного* и *занимательного* чтения», а уже тогда, когда народ полюбит чтение, приняться за его обучение и образование.

Разрабатывая этот план, Достоевский все время подчеркивает, что «господского-то обучения» народ более всего не любит, а поэтому на первом месте должна быть занимательность, талантливость предлагаемого чтения, а *польза же* придет сама потом. Ин-

тересно, что, обличая «барское происхождение, тон, подступы и подходы» «Читальника» Щербины, он отмечал и «барскую» ориентацию книг для народа прямо к «мужику-пахарю». Достоевский вскрывает в «простолюдинах» слои разной степени подготовленности к восприятию культуры, называя как их «высший класс» лакеев, городских мещан, писарей, граничащих с мелкими чиновниками и помещиками, а через дворовых соприкасающихся с «сельским народом» — деревенским пахарем. Естественным путем распространение книг для народа является не через начальства школьные и волостные, а переход от читающих «простолюдинов» высшего класса к низшим, т. е. от городского мещанства, дворовых — к земледельцам-крестьянам.

Демократическое, антиадминистративное отношение к проблеме народной грамотности и чтению статей Достоевского продолжал проводить в своих внутренних обозрениях Порецкий. В сентябрьской книге он сообщал, что с 1 сентября 1861 г. будут издаваться народные журналы «Грамотей» и «Крестьянский листок», последний сельскохозяйственного характера. Цитируя «Объявление» о «Грамотее», задача которого «удовлетворение насущных потребностей народа», обозреватель писал: «Дело, стало быть, в исполнении, в котором мы все еще не можем приноро виться к народу... Об этом много было говорено и, без сомнения, еще много будет говориться и без нас; а мы (т. е. я, составитель этой летописи), как уже сказали раз, не берем на себя разрешения мудреных вопросов».

Но зато с явным интересом и удовлетворением дал тут же Порецкий сведения о предпринимаемом с 1862 г. Л. Н. Толстым журнале «Ясная Поляна» и изложил по «Объявлению» принципы этого журнала, направленного против кабинетного изучения народа, за приближение к нему через учителей, работающих с крестьянскими детьми. Приветствуя частную инициативу издателя, стремление привлечь самый народ к разрешению проблемы о его грамотности, Порецкий желал, «чтобы удался этот смелый опыт выбора книг и статей для народа». Как и Достоевский, он особенно опасался вмешательства администрации в дело грамотности. В ноябрьской книжке он, признавая общее стремление крестьян к грамотности, отмечал, что наблюдаются случаи, когда семья препятствует учению детей, не желая терять работника, и что имеются предложения в таких случаях воздействовать «законом» и в обязательном порядке предоставлять эти случаи «ведению государственной власти». Порецкий, видя в такой постановке вопроса проявление изжитых форм общения с народом, иронически «с трепетом» спрашивал, какое наказание постигнет «необразованных».

Как выше было сказано, вопрос о грамотности вызвал к жизни вместе с вопросом, что читать народу, вопрос, кому его учить — вопрос о народных учителях. Еще в апрельской книге за 1861 г. Порецкий рассказал с похвалой об идее некоего Золотова

открыть специальную школу для подготовки сельских учителей, «преимущественно взятых из среды самого народа», считая, что мысли, рождающиеся в свободном обществе, не могут не согласоваться с его потребностями и легко приспосабливаются к местным условиям.

В февральской книге 1862 г., сообщая о вновь открытых школах, Порецкий отмечает, кто является инициатором открытия. В Рязанской губернии таким явился временнообязанный дворовый человек Александр Петрович Пушкин. Рассуждая по этому поводу, Порецкий писал: «Мы знаем, что народ уже почувствовал надобность в грамотности, следовательно, он непременно выучится грамоте, а потом проснувшаяся жизнь и воспитает его. Чтобы ускорить это дело, нужно только достать как можно больше учителей».

Как бы отвечая на эту заявку, в мартовской книге во «Времени» печатается в первом разделе статья «Откуда взять сельских учителей». Это очень принципиальная, целеустремленная статья, которая критикует выдвигаемые предложения поручить школы духовенству или обязать оканчивающих семинаристов отработать два года сельским учителем. Автор статьи не указан, но он явно хорошо знает и жизнь деревенского духовенства и возможности семинаристов. Прежде всего он указывает, что в одном приходе находится несколько далеко друг от друга разбросанных селений, детей из которых нельзя объединить в одной школе. Кроме того, духовенство постоянно может быть оторвано от занятий поездками с «требами». Никакой контроль за работой такой школы невозможен. Второй проект тоже не достигнет цели, так как кончающих семинаристов значительно меньше, чем требуется учителей. Не зная педагогики, они будут насаждать в школах метод воспитания, который сами прошли «по Домострою». Для автора статьи характерен скептический тон в характеристике духовенства, которое приобретает свой сан не по призванию, а по рождению, что вызывает «отсутствие их нравственного влияния».

В статье выдвигаются два основных требования: 1) не должно быть *обязательных* учителей, только те, у кого есть призвание, могут идти на эту работу; 2) *«народные* учителя должны быть взяты из самого народа». Это не должны быть ни дворяне, ни духовенство. «Нам нужны учителя, которые были бы *возможно близки* к народу, совершенно знакомы с его нравами, обычаями, воззрениями на вещи, совершенно понимали бы дух народа. Этого требует самый успех распространения в нем образования. А таких учителей мы найдем только в тех людях, которые взяты из среды народной, выросли среди народа и, следовательно, близки к нему по плоти и духу».

Учителя, чтобы не быть в тягость народу, должны быть дешевы, следовательно, привыкшие довольствоваться малым. В будущем должна быть создана учительская семинария, в которой будут готовиться в учителя бывшие воспитанники сельских школ

для государственных и удельных крестьян. Но уже сейчас можно найти в деревнях много грамотеев, которые охотно будут зимой учить детей. Надо избегать формальностей, быть ближе к мужику: «Очень может быть, эти доморощенные школы впоследствии дадут нам самых лучших людей для приготовления в народные учителя. Дело распространения грамотности и образования в народе не может обойтись «без него самого». В каких угодно школах — грамотности просто, или других каких, главная масса учителей должна быть взята из среды самого же народа. В этом заключается и наш ответ на вопрос: откуда взять сельских учителей?»

В плане поисков журналом сближения с народом на почве его обучения и грамотности воспринимается рецензия Н. Н. Страхова на первый номер журнала «Ясная Поляна», помещенная в № 3 за 1862 г. Страхов счел нужным отметить, что в то время как теоретизируют на тему, как сблизиться с народом, нашелся человек, казалось бы, чуждый по сословию народу, который создал нечто самородное — школу и журнал, в которых поставил целью стремление к природе, к свободе обучения без принуждения и наказания, к приближению учения к жизни и интересам самого ребенка. Приводя большие цитаты из высказываний Толстого, рецензент рисует свободную и непосредственную атмосферу, царящую в Яснополянской школе, заитересованность детей в знаниях и решении моральных вопросов. Страхов оставил рассмотрение педагогических приемов на суждение специалистов, сам же более всего ценил, что дети признаны мыслящими и независимыми людьми, которых надо охранять от обмана и лжи, что избрана дорога к сердцу ребенка без посягательства на его маленькую личность.

В апрельской книге Порецкий сообщил об опубликовании проекта устройства народных училищ по одному па тысячу душ населения и это пресекало рассуждения о том, кто и как будет организовывать школы и обучать народ грамоте. Порецкий выразил опасения в успехе правительственных школ ввиду «чиновничьей безучастности» и «нерасположения народа к казенным училищам». В июне 1862 г. в связи с петербургскими пожарами, с появлением прокламации «Молодая Россия» со стороны правительства последовал ряд репрессивных мер, в числе которых было и закрытие воскресных школ, якобы в связи с распространением «вредных и ложных учений», о чем и было сообщено во «Времени». Тема народной грамотности из широко приветствовавшейся становилась в ряд подозрительных и сомнительных тем. В сентябре Порецкий ограничился приведением статистических сведений о числе сельских школ до и после реформы, указав, однако, что эти «сведения касаются самой прочной части нашего нравственного основного фонда, на которой покоятся наши лучшие надежды». В декабре 1862 г. были даны сведения, что число сельских школ после крестьянской реформы

увеличилось в четыре раза, из чего делается вывод, что крепостное право препятствовало народному образованию.

К принципиальному и резко критическому обсуждению вопроса о народном образовании «Время» вернулось в двух последних своих книжках (март и апрель 1863 г.) в статьях Долгомостьева и Разина. Это уже не были либеральные информационно-статистические сообщения Порецкого. Статья Долгомостьева (Игдева) «Некоторые педагогические и научные тенденции» пронизана отпором стремлению правительства все регламентировать и охранять народ от нежелательных знаний. Он также указывал на нелюбовь народа к казенной школе и предпочтение им частных грамотеев, обучающих детей. Вспомнил он и историю воскресных школ, куда сперва направилась масса учителей-добровольцев, свободно решавших вопрос, что и как преподавать, и как они разбежались, когда появились инструкции и программы. Откровенно вскрывая подоплеку закрытия воскресных школ, Игдев писал: «Но тут-то и пришло добрым людям на мысль, что не обо всем-де следует знать простонародью, да и учителя-то еще бог знает чего нарасскажут, коммунизм и социализм станут проповедовать (как будто нет в народе ни федосеевцев, ни бегунов, ни тому подобных беспоповщинцев!)». Свои выводы Игдев формулировал так: народным школам вредит всякая регламентация, которая ведет к формализму программ, образцов, отметок, экзаменов, расписаний,— народ этого не примет. Народ хочет сам выбирать себе учителей, независимо от дипломов, и тянется к более ему близкому духовному сословию, хотя именно оно поставляет «полчища нелюбимого чиновничества». Нужно, чтобы школа готовила к жизни, не отрывала от своего класса и дела и не противопоставляла ученика его семье. Нужно, чтобы в школе не было науки для науки, а было бы приближение ее к жизненным русским нуждам, а не к чуждой цивилизации.

В том же мартовском номере 1863 г. Разин коснулся горячо обсуждавшейся Достоевским в 1861 г. проблемы народного чтения. В 1863 г. Комитетом грамотности была объявлена премия в 300 руб. за лучшую книгу для народного чтения. Разин назвал эту премию «насмешливой», так как ее не хватит даже на нищенское существование автора, пока он будет писать книгу. А между тем у Экономического общества, при котором состоит Комитет грамотности, полмиллиона бесплодно лежащего капитала. Он рассказал тут же о тяжелых условиях, в которых находятся в настоящее время школы, открываемые на средства самих инициаторов, страстно преданных этому делу. Эти школы нуждаются в необходимых средствах на оплату помещения, бумаги, букварей, чернил. Откликаясь на хвалебные отзывы об Яснополянской школе как «образцовом педагогическом учреждении», ярый демократ Разин ставит выше ее школу священника Темперова в Уфе, так как «тут пламенное желание пользы соеди-

нилось с упорнейшей силой воли и борьбой с величайшим врагом... гнетущей бедностью»,— от чего избавлен граф Толстой

Свое отношение к делу народной грамоты Разин развил в последней книжке «Времени», критикуя напечатанный проект «положения о народных училищах». Он придавал ему чрезвычайное значение: «Но какие бы ни принимались правительством меры для расширения общественных наших прав, первейшим и неизбежным условием всякого шага вперед все-таки будет и останется образованность, и потому новый проект положения о народных училищах имеет неисчислимую важность».

В немногих строках Разин вскрыл весь реакционно-бюрократический смысл проекта. Хотя проект провозглашает целью школы образование, религиозное, нравственное, умственное воспитание и практическое приложение знаний к занятиям и обязанностям, но в сущности основное его содержание — забота о начальствах и управлении училищами, а все остальное — пустые фразы. По мнению Разина, никакое моральное воспитание в школе невозможно: «Школа в воспитательном отношении бессильна; человека она воспитать не может; субъект воспитывается жизнью, обществом, а это общество как организм приспособляет себе свои органы сообразно со своими потребностями». Он несогласен с Пироговым, который считает, что «школа должна приготовлять прежде всего человека». Школа, по мысли Разина, должна учить, образовывать — читать, писать, считать, давать верные сведения в области географии и истории, о явлениях окружающего мира: «В самом знании заключается значительная воспитательная сила»,— повторял он лозунг, проводимый им в «Мире божием».

Решительный отпор его вызывали заботы проекта о «благонадежности» лиц, которым доверяется преподавание в школах. Разин иронически говорил о четырех этажах начальств, блюдущих благонадежность,— инспектор, училищный совет, попечитель учебного округа и министерство. Практически это ничего не может дать, но может содействовать образованию «тайных школ». Лучший надзор за школами — это общественное внимание к ним. Только общественный надзор может решить, кому можно, а кому нельзя доверять детей. В связи с огромной нуждой в учителях Разин восстает против требований, предъявляемых проектом, и вносит дерзкое предложение, которое шло вразрез всем рекомендациям проекта, учительствует «пусть всякий, кто хочет и может дать нам знаний, как можно больше, всяких, каких угодно... Покамест с голодухи всякие годятся. Жизнь все это переварит, усвоит, все это окрепнет...»

Многое, о чем говорилось выше, относилось не только к народным училищам, но и к средним учебным заведениям. Но в них была своя специфика, и ей также были посвящены и сообщения из периодики, специальные статьи и рецензии на соответствующую литературу. Можно выделить три основных во-

проса, которые волновали журнал. Это вопросы о сословности учащихся, о связи и оторванности школы от жизни (в частности, вопрос о специальных школах) и, наконец, о телесных наказаниях в школе.

Порецкий сообщал о преобразовании устарелых учебных заведений в современные: московские ремесленные училища — в реальную гимназию и высшее техническое училище, Гатчинский сиротский институт — в учительскую семинарию — и выражал пожелание, чтобы учебные заведения были доступны по возможности «для всех желающих образования». Он хвалил демократический принцип, положенный в основу новой Петровской академии: «для всех, без различия звания и лет», без вступительных экзаменов, что даст возможность поступать самоучкам, из которых многие оказываются очень образованными и талантливыми. Касаясь сословных трений, возникших в женских пансионах, куда потомственные дворяне отказывались отдавать дочерей, так как туда принимались и мещанки, Порецкий писал, почти повторяя рассуждения Ф. М. Достоевского о грамотеях в среде народа: «Пусть учится народ, пожелавший учиться; пусть поднимется он до надлежащего нравственного уровня, и когда придет время, что уже не перед кем будет гордиться преимуществами развития, когда этих преимуществ в наличности не окажется, тогда гордость уляжется сама собою. Одного только надо желать, чтобы училища... забыли об отсутствии дворянок и делали бы свое дело, не думая о том, откуда пришли сидящие на их скамьях ученицы».

О приближении школы к жизни писал автор статьи в сентябрьской книжке за 1861 г. «Один из важнейших педагогических вопросов», поставивший на обсуждение целесообразность изучения в гимназиях древних языков. Если это изучение было оправдано в прежнее время, то теперь, при наличии переводов, а также ничтожности результатов этого изучения, не следует расходовать на него время: «В наше время гораздо полезнее обойтись без древних языков, чем без тех наук, которые объясняют нам жизнь, дают хлеб, а главное, делают нас людьми вполне развитыми и образованными». Автор советует знакомить учащихся, «например, хоть с естественными науками. А без этих наук ведь уж очень плохо современному человеку».

В ряде рецензий на педагогическую литературу журнал отразил борьбу с устарелыми традициями, обнажал их вредную, антидемократическую сущность. Особенно воинственно настроен автор статьи «Плоды ученого педантизма. Как бывает и как быть могло б. Педагогические мысли Федора Кестнера. СПб., 1862». Автор рецензии поражен, что такой схоластический «средневековый» труд мог появиться после «Вопросов жизни» Пирогова, опытов Л. Н. Толстого и «стольких споров и рассуждений о воспитании». Размечая по параграфам свою систему воспитания и образования, Кестнер откровенно говорит, что она предназначена

только для высших классов и богатых людей, дети которых «по природе своей способны» и по положению своему могут достигнуть конечных идеалов, в то время как в народной школе возможно только «хотя какое-нибудь пробуждение сознания человеческого достоинства» в учениках и возможность «хоть на сколько-нибудь сделать их полезными членами общества».

Рецензент отмечал, что десять лет назад «можно бы было, пожалуй, доказывать, что одна часть общества по самой, так сказать, природе своей назначена в поте лица зарабатывать деньгу, а другая проживать чужой труд и деньги в российских столицах и заграничных городах», и что поэтому важнее заботиться о «нравственной и умственной высоте, занимаемой высшим сословием», чем разбрасывать «крохи образования многим сотням тысяч народа». Теперь другое время: «С освобождением от крепостной зависимости народ наш вышел на сцену, требует для себя образования, хочет учиться... первой заботой национальных педагогов должно быть удовлетворение именно вот этой народной потребности». А данных в природе нашего народа для нравственного, умственного и физического воспитания больше, чем «в каком-нибудь богатом семействе, отупевшем от неги и бездействия».

Не только к образованию, но к самому развитию науки, по словам автора рецензии, общество предъявляет утилитарные требования. Оно требует от науки, чтобы она была на страже нужд общества, помогала ему в его устроении, разрешала его больные вопросы: «Наука для науки едва ли мыслима, и общественная жизнь *должна* оказывать какое-либо влияние на направление и ход науки...» Успех естественных наук в настоящем столетии, между прочим, обязан именно живому воздействию жизни на науку (1862, кн. 6).

Резко критические отзывы дало «Время» на педагогический журнал «Учитель» (1861, № 6) и «Журнал для девиц «Рассвет» (1861, № 9). В первой рецензии преследуется какой-то школьный «немецкий» дух, который ведет к оглуплению ребенка, стремлению заставлять его все анализировать, педантически рассуждать и убивает в нем живую самостоятельную мысль. Рецензент, наоборот, требует развития фантазии, самодеятельности ума, непосредственного восприятия жизни. Рецензент «Рассвета», не находя в журнале ничего специфического для чтения девиц, не понимает, зачем нужен такой журнал, а не общий для юношества. Он отмечает узость мысли, недомолвки, скуку и водянистость изложения, отсутствие силы, бодрости, духа борьбы: «Надо давать что-нибудь существенное, что-нибудь такое, что, устанавливаясь в обществе, само собой разрушило бы старые предрассудки и поверья». Вместо этого дается много громких слов, за которыми нет убеждений и которые только плодят фразеров среди женщин.

Свою положительную педагогическую программу развил в журнале П. Казанский в статье «Мысли по поводу современно-

го движения в русском педагогическом мире» (1861, № 11). Задачей воспитания, по его мнению, является не *делать* человека путем приучения и принуждения, а *способствовать* выявлению в нем того, что заложено природой, сознанию человеческого достоинства и гармоническому проявлению всех сил его духа. Только выявляя индивидуальные особенности и давая им возможность развиться, можно создать из ребенка достойного человека и полезного гражданина. Система же приказов, правил подводить всех под один уровень лишает индивидуальности, создает «безличные личности, каких много бродит по святой Руси».

Казанский стоит за *общественное* воспитание, выявление у учеников заложенных в них «начал общественной жизни». Дети — маленькие люди: «С ощущением личного значения в них должно пробудиться и движение к самостоятельной деятельности, открывающей полный простор развитию природных сил и способностей». Лишь так, без принудительной силы, выработается «тип образованного русского человека и гражданина».

Тот же идеал воспитания без принудительной педагогики, калечащей учащихся, с установкой на «живую душу воспитываемого» видит Страхов в журнале и школе «Ясная Поляна» (1863, кн. 1), противопоставляя метод Толстого «новой психологии», применяемой в журнале «Учитель», с его немецкой ориентацией, где вся душевная жизнь ребенка рассматривается как результат воздействий и влияний, без собственного самобытного ядра.

Контрастом к этим критикам литературы предмета и развиваемым в них педагогическим теориям, противоположным гуманности и демократизму, является статья М. Родевича в октябрьской книжке 1862 г., в которой он критикует не книги, а практику, подлинную жизнь современной гимназии. Статья называется «Купцы — реформаторы гимназии». Это название ироническое: в связи со слухами, что московские купцы, недовольные постановкой дела в гимназиях, хотят основать их на свой лад, Родевич, как бы сочувствуя их недовольству, разбирает отрицательные стороны постановки дела, вредно влияющей на нравственность учеников. Он указывал, что в гимназиях не *воспитывают,* а *учат* религии и нравственности, что приводит к лицемерию, подавляет природу ребенка, не может создать «честный, прямой, искренний характер», а производит «бездушные натуришки, искаженные принятой от других моралью».

Особенно останавливается он на системе наказаний, «органическом необходимом элементе нашего воспитания». Вместо внутреннего положительного переворота, которого должен добиться воспитатель, наказание развращает детей, убивает в них внутреннее нравственное чувство, стыдливость. Наказания учат оплате зла худшим, сознательным злом по древним законам античной и библейской истории. «Зачем и долго ли будут оставаться эти призраки, когда в человечестве засветились великие имена: Бентама, Шопенгауэра, Конта, Гутчесона, Оуэна, Литтре, Фурье и

другие современные нам?» — спрашивает автор статьи. Он отмечает и третий вреднейший элемент современной средней школы — это существование надзирателей, которые соединяют функции гувернеров, квартальных, учителей и дядек: «Величайшая служба человечеству и обществу — служба воспитателя — в наших средних учебных светских заведениях чрез присоединение в ней к *чисто воспитательному* элементу совершенно чуждых и разнородных элементов *дядьки* и *полицейского* до того уничижается, становится бессильною противоречащею себе, что в своем status quo большею частью не воспитывает юношество, а скорее препятствует его здоровому нормальному воспитанию». Указывая и на другие отрицательные стороны современной гимназии, Родевич считал, что необходимо ее радикально реформировать.

Перечисляя наказания, которым подвергаются учащиеся гимназий, Родевич не упоминает о розгах и порке. Между тем вопрос о их применении в школах в это время стал предметом журнальной полемики в связи с двумя статьями Добролюбова о санкционировании Пироговым, как попечителем Киевского учебного округа, телесных наказаний. Известны записи Ф. М. Достоевского в записной книжке № 1, которые свидетельствуют, что он предполагал писать статью «Г. —бов и Пирогов», в защиту Пирогова от принципиальных обвинений, выдвинутых Добролюбовым. Оставляя рассмотрение полемических заметок Достоевского, которые, возможно, вследствие смерти Добролюбова, не были им обработаны для печати, рассмотрим отражение этой дискуссии на страницах журнала, которое несомненно надо учитывать и при анализе позиции Достоевского.

Имя Пирогова всегда упоминалось во «Времени» с глубоким уважением. Уже после появления статьи Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» («Современник» 1860, № 1) Порецкий в «Наших домашних делах» № 6 за 1861 г. отвел несколько страниц откликам печати на проводы Пирогова из Киева и произносившиеся при этом речи. Порецкий высоко ценил Пирогова за то, «что он внес в общее дело свою человеческую личность, свое неизменное честное убеждение». В широко проявленном интересе и высокой оценке в прессе деятельности Пирогова Порецкий видел «характеристическую черту нашего времени, обещающую в будущем дальнейшее развитие общественных инстинктов». Он сочувствовал идее Пирогова «о необходимости общечеловеческого образования прежде образования специального», его вере в молодежь, в ее стремление к правде и благородству. У Порецкого нет ни слова о статье Добролюбова, на которую в это время уже ответил Пирогов в «Журнале для воспитания» (1861, № 3 и 4) и появились выступления в «Отечественных записках» и «Русской речи».

В августе появилась вторая статья Добролюбова «От дождя да в воду» («Современник», 1861, № 8), которая и вызвала по-

лемические заметки Достоевского в записной книжке. Но в появившейся в ноябрьской книжке педагогической статье Казанского, особенно ратовавшего за уважение человеческого достоинства учащихся, нет откликов на злободневную тему. Лишь в четвертом номере за 1862 г. появился отклик на нее в виде рецензии на опубликованные в 1858 и 1861 гг. труды Пирогова. Это совсем не разбор и не оценка указанных книг, а именно определение своей позиции в связи с дискуссией вокруг статей Добролюбова о Пирогове и его педагогических принципах. Автор статьи высоко оценивал личность Пирогова, его смелость в борьбе со злом, отрицание мертвых педагогических систем, выступления против рутины. Он согласен с тем, что школа не должна быть специальной, готовить слуг обществу, а развивать широко заложенные в человеке силы, быть орудием общественного прогресса. Но он не сходится в мнении с Пироговым, который развитие человеческих черт в учащемся видит в изучении наук исторических, тогда как он, рецензент,— в изучении наук естественных или реальных: «Знакомство с природой, начавшееся с раннего возраста человека, развивает в нем разумные человеческие взгляды на себя и окружающее его и может дать возможность развиться широко его природным силам и способностям».

Считая Пирогова «одним из лучших наших общественных деятелей», рецензент не может признать его вполне безукоризненным: он напоминает о статье Добролюбова и называет ее «желчной, но не несправедливой». Разбирая два высказанных в печати мнения о санкционировании Пироговым розог: первое — слово и дело нельзя отделять друг от друга, и второе — если среда не принимает ваши убеждения, лучше, уступив ей, добиться каких-нибудь результатов, чем совсем отказаться от воздействия,— автор видит во втором пути уже поражение, которое доводит до подлости и до ее оправдения из эгоистических соображений. Этому компромиссному решению рецензент противопоставляет имя Белинского, который был честен и тогда, когда писал о Бородинской годовщине, мог ошибаться, но и ошибаться честно, т. е. не изменяя убеждениям. «Но люди слова и дела очень редки, Белинских у нас немного». В результате рецензент осудил Пирогова, которого никто не мог заставить выступать в роли защитника несвоих взглядов и поддерживать их своим авторитетом. Пирогов сделал уступку обстоятельствам, «может быть не совсем *нужную*», и «остался неправым перед своими убеждениями». Не такими делами он приобрел репутацию «честного и благородного деятеля».

Есть много оснований, чтобы признать автором статьи Разина, который, зная лично Добролюбова и общаясь с Достоевским, в своем выступлении сумел оправдать «желчную», но справедливую позицию критика, но и до какой-то степени отразить глубокое уважение к Пирогову Достоевского и его стремление не оправдать (Достоевский признавал, что Добролюбов прав), но по-

нять и смягчить оценку поступка Пирогова. Отметим еще, что во «Времени», № 2 за 1863 г., Долгомостьев еще раз вспомнил о статьях Добролюбова о Пирогове в статье «Некоторые педагогические и научные тенденции» по поводу значения инструкций в нашей системе образования.

Вопрос о реформе высшего образования менее отражен в журнале, но прогрессивная, демократическая точка зрения редакции и в этом вопросе совершенно неоспорима. В первый же год создания, осенью 1861 г., происходили студенческие волнения, приведшие к аресту и заключению в Петропавловскую крепость большого количества молодежи. О том, как реагировала редакция «Времени» на эти события, мы узнаем из воспоминаний Страхова, которые хотя и были написаны в пору его самых консервативных настроений, тем не менее отразили, с каким сочувствием и вниманием отнеслись в 1861—1862 гг. сотрудники журнала к «студентской истории».

Страхов писал: «Университет, вследствие наплыва либерализма, кипел тогда жизнью все больше и больше, но, к несчастью, такою, которая топила учебные занятия. Студенты составляли сходки, учредили свою кассу, библиотеку, издавали сборник, судили своих товарищей и т. д.». Страхов рассказал о запрещении этих начинаний, о сопротивлении, которое оказали студенты, и расправе с ними. Он считал, что это не был «бунт», но что «некоторые лица» хотели обратить в бунт волнения: «Революционные элементы уже назрели в обществе». Далее он сообщал: «Разумеется, весь город только и говорил о студентах. С заключенными дозволялись свидания, и потому в крепости каждый день являлось множество посетителей. И от редакции «Времени» был им послан гостинец. У Михаила Михайловича был зажарен огромный ростбиф и отвезен в крепость с прибавкою бутылки коньяку и бутылки красного вина. Когда студентов, признанных наиболее виновными, стали, наконец, увозить в ссылку, их провожали далеко за город родные и знакомые. Прощание было людное и шумное, и ссыльные большею частью смотрели героями».

В течение нескольких месяцев в обществе продолжалось сочувственное волнение, которое в связи с закрытием университета выразилось в устройстве лекций и вечеров с участием передовых сил. Страхов видел кульминацию этого движения в вечере, организованном 2 марта 1862 г. в зале Руадзе, где выступил с чтением «Воспоминаний о Добролюбове» Чернышевский, отрывков из «Записок из Мертвого дома» — Ф. М. Достоевский, играла пианистка, дочь М. М. Достоевского, Мария Михайловна, будущая жена Владиславлева. «Представители передовых сил» приветствовались бурными овациями.

Как раз в разгар студенческого движения, осенью 1861 г., когда готовился ноябрьский номер «Времени», М. М. Достоевский получил сообщение от Владиславлева из Новгорода, что он пишет для «Времени» рецензию на книгу Игнатовича «История анг-

лийских университетов» (СПб., 1861). Это обеспокоило М. М. Достоевского в отношении цензуры, и он поспешил приостановить Владиславлева, но 30 октября вновь писал ему: «Я очень жалею... что своим письмом, может быть, сбил вас только с толку. Если начали, то пишите уж об университетах; авось пройдет. В 237 № от 26 октября Петербургских ведомостей Костомаров написал статейку об университетах: прошла. Хорошенько нападите на все учреждения английских университетов, которые нам, т. е. русским, не годны. Пожалуйста, пишите. Статья эта будет очень кстати и современна». 1 декабря М. М. Достоевский сообщал Владиславлеву: «Вчера вышла наша книга. Статья ваша прошла благополучно. Два-три места в ней пропали. Жаль, но что делать?» 20 декабря он вновь сообщал ему: «Статья ваша об английских университетах очень хороша, и мы оба очень рады тому. Вырабатывайте только слог».

Статья Владиславлева, занимающая почти 50 страниц, начинается прямо выступлением против англомании и «Русского вестника». Не возражая против заимствований из опыта европейской жизни, Владиславлев выступает против механического переноса к нам того, что там выработалось исторически, самобытно, а у нас не претворено в плоть и кровь. Он критически разбирает программы английских университетов и возражает против их установки на классическое образование: «Сила современного человека заключается в изучении природы, в знании ее сил и законов ее деятельности. Поборол он природу не знанием классиков, а знанием физики, да естественной истории. Главная цель его теперь — подметить тайны природы и перевести их на свой язык». Учащийся должен познать окружающий мир с его локомотивами, электричеством, телеграфом, а его сажают за Фукидида и Гомера. Они не нужны для воспитания и образования масс, которые «страдают под гнетом материальной нужды, предрассудков и невежества».

Возражения вызывает дороговизна обучения в английских университетах, их доступность только для богатых, в то время как образование нужно «выдвигающимся на сцену истории массам». Резко отзывается Владиславлев о роли в университетах воспитателей и помощников, «туторов», которые вносят в среду студенчества несамостоятельность, ложь, лесть и т. д. Он требует для студентов «великого принципа — свободы», самостоятельности мысли, убеждений, любви к науке. «Только борьба, повторяем, воспитывает истинные убеждения... а борьба возможна только на свободе, все равно как и наука возможна только на свободе». Сама наука воспитывает студентов, так как «в науке сила гуманизирующая». В заключение высокие оценки «Русским вестником» английского характера Владиславлев критикует за преклонение перед авторитетами, преданиями, за элементы формализма и педантизма, а в прославленном джентльменстве видит прикрытые богатством ханжество, лицемерие и многие другие порочные

черты. Свои суждения Владиславлев подкреплял ссылками на Дарвина, Бокля и Д. С. Милля. Одобренная М. М. и Ф. М. Достоевскими статья Владиславлева отражала прогрессивное общественное движение, вызванное волнениями студентов.

В той же ноябрьской книжке появилась еще одна статья, посвященная той же злободневной теме, которая представляет особый интерес вероятностью ее принадлежности Ф. М. Достоевскому. Как известно, в 1861 г. печатался в журнале цикл неподписанных статей под названием «Ряд статей о русской литературе», который, по свидетельству Страхова, принадлежал Ф. М. Достоевскому. С первого посмертного издания собраний сочинений Достоевского статьи эти включались во все его издания, кроме второй части статьи пятой. Объяснялось это тем, что Страхов в списке, переданном А. Г. Достоевской, в котором указывались названия статей Ф. М. Достоевского и место их публикаций, приводя сведения о пятой статье цикла, назвал только ее первую часть и страницы, ею занимаемые в ноябрьской книжке, а о второй части ничего не сказал. Этим и определялось непризнание ее как статьи Ф. М. Достоевского, по существу же никем рассмотрена она не была.

Доказательством того, что название этого цикла статей было твердо закреплено за Ф. М. Достоевским, служит обращение к нему в январе 1864 г. М. М. Достоевского, который в это время готовил первую книгу «Эпохи», а Ф. М. Достоевский не мог активно принимать участие в журнале: «Мне бы очень хотелось, и Страхов одобряет очень мысль мою, чтоб в первой книге был «Ряд статей о русской литературе». Это напомнило бы наше старое время, и я предлагаю тебе вот что. Страхов пишет о народности в нашей литературе. Он тебе говорил об этой статье и ты знаешь мысль ее. Так вот, он же готов поместить ее под этой фирмой. Согласен ли ты? Ответчай, не забудь, на этот вопрос» («Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». Под ред. А. С. Долинина, стр. 545).

По нашему мнению, трудно представить себе, что в цикле статей, который, несмотря на анонимность, конечно, все скрепляли с именем Ф. М. Достоевского, под его «фирмой», половина одной из них была написана не им, а кем-то из сотрудников, тем более что уже в первой половине была намечена ее тема. В журнале эта выглядело так. На стр. 64 было напечатано:

«Ряд статей о русской литературе.
Статья пятая
I. Последние литературные явления.
Газета «День»

Когда дела нет, настоящего, серьезного дела, тогда деятели живут как кошки с собаками и начинают между собою разные дрязги за принципы и убеждения... Вот явилась газета «День», всего только пять номеров, а уже поднялась ругань. Явился «новый вопрос» об университетах, и вот полился на нас целый во-

допад статей об университетах. Вот и мы хотим сказать свое слово об этих последних литературных явлениях, и мы будем спорить о принципах, и мы будем упрекать других, что они не так веруют... Что делать! Одна для всех колея. А сказать свое слово надо: все участвуют... во всеобщем движении и т. д., и т. д.».

Итак, заранее сообщив, что в его статье будут две темы, автор далее на стр. 64—75 разбирал славянофильскую газету, полемизируя с ней, после чего на стр. 76 помещается подзаголовок:

«II. Вопрос об университетах»

Далее (на стр. 76—104) автор говорит обещанное во вступлении «свое слово» по второй теме. Как было выше сказано, Достоевский, как и весь кружок «Времени», был захвачен событиями в университете, сочувствовал студентам и, естественно, хотел сказать «свое слово».

«Вопрос об университетах» имеет эпиграф: «Стой, братцы! стой! — кричит Мартышка. — Погодите: Как музыке идти, ведь вы не так сидите»,— и состоит из двух главок без названий. Первая после указания на всеобщий интерес к университетскому вопросу дает сведения о появившихся в периодике статьях по этому вопросу с кратким определением отношения их авторов к реформам, корпорации, свободным лекциям, экзаменам и другим вопросам, затрагивавшим и волновавшим профессуру и студентов. Последним изложено «замечательное мнение профессора А. Н. Бекетова» («С.-Петербургские ведомости»), с которым автор во многом соглашается. Вспомним, что Достоевский был в сороковых годах связан дружеской «ассоциацией» с братьями Бекетовыми, а в 1861 г. жена А. Н. Бекетова поместила во «Времени» перевод романа Е. Гаскелл «Мери Бартон» (1861, кн. 4, 5, 6)), и в редакционной книге выплаты гонораров находятся расписки А. Бекетова, получавшего деньги за перевод жены.

Конечно, и Ф. М. Достоевский мог быть автором этой главки, но мог ее составить и Мих. Мих. Достоевский, который, как мы знаем из его писем к Владиславлеву, очень внимательно следил в это время за отражением университетского вопроса в периодике, а его участие могло остановить Страхова в атрибуции статьи Ф. М. Достоевскому. Но вторая главка и по содержанию и по стилю, по нашему мнению, принадлежит Ф. М. Достоевскому. Основная мысль этой главки, что университетский вопрос — часть общего вопроса: «Если б изменился в нашем организме основным образом взгляд на дело просвещения и развития нашего вообще — изменился бы радикально и взгляд на преобразование университета». Автор констатирует, что «в действительную жизнь наука не перешла и ее еще покамест не требуется». В результате окончившие университет и многообещавшие учителя и лекари, даже профессора и ученые забывают науку «хоть бы через одну только апатию, не говоря уже о других неудобствах». Рост науки связан с промышленностью и

торговлей, а «у нас все смотрят на науку как-то отвлеченно», и далее пишет: «Но ведь я знаю, что на эту тему можно написать тридцать пять печатных листов, а потому лучше и не писать, потому что всего не напишешь».

Какие пути указывает автор для изменения этого положения? «Образование требует к себе доверия. Надобно, чтоб само общество сознало всю силу его, не подозревало его». Нужна не ломка того, что есть, а «укоренение» науки в действительной жизни. Автора радует рост образования вместе с перестройкой действительности, и он замечает: «Ведь это все-таки обнадеживает. А мы и без того такие мечтатели! Без практической деятельности человек поневоле становится мечтателем». Это — старая мысль Ф. М. Достоевского, который еще в фельетоне 1847 г. писал: «А много ли нас, русских, имеют средства делать свое дело с любовью, как следует... Многие ли, наконец, нашли свою деятельность?... Тогда в характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности... мало-помалу зарождается то, что называется мечтательностью... И не все мы более или менее мечтатели!» (т. XIII, стр. 29—30).

Автор статьи считает, что корпорация, порожденная немецкими университетами, нам чужда, и отдаляет студента от действительности. Но он видит в ней особую чисто русскую пользу, так как она защитит студента-мещанина от полицейских розог. Он спорит с «Русским вестником», требующим опеки над студентами, и отстаивает от постоянных подозрений высокие, благородные качества юношества. Попутно автор, иронизируя над «младенческим проектом» «Современной летописи», от логических доказательств. переходит к зарисовке провинциальных нравов, психологии провинциальной интеллигенции и обывателей. Он видит в статье профессора Бекетова «горячее и честное убеждение», но не совсем соглашается с его мыслью, что «все зависит от учителей и профессоров», так как, по его мнению, «профессор есть только часть университетского организма, а университет есть часть всеобщего организма». В заключение он пишет: «Вопрос университетский достиг живого действительного своего значения, и мы этому очень рады. Значит пустило корни, значит живет!..»

Эта последняя фраза, как и вся статья, очень характерна для Ф. М. Достоевского и по идее и по образному воплощению. Свою веру в науку и значение ее для «развития человечества и полнейшего его сознания» он выразил, назвав науку силой «совершенно самостоятельной», «силой страшной, родившейся с человеком, которая не оставит его до тех пор, пока человек будет жить на земле» (XIII, стр. 551). Он писал в статье «Книжность и грамотность» в 1861 г.: «Образованность и теперь уже занимает у нас первую ступень в обществе. Все уступает ей, все сословные преимущества, можно сказать, тают в ней... В усиленном, в скорейшем развитии образованности — вся наша будущность, вся наша самостоятельность, вся сила, единственный,

сознательный путь вперед, и, что важнее всего, путь мирный, путь согласия, путь к настоящей силе... Только образованием можем мы завалить и глубокий ров, отделяющий нас теперь от нашей родной почвы...» (XIII, стр. 109—110).

Так же характерны для Достоевского выступления в защиту молодежи и большей демократизации ее образованной части: «В последнее время раздавались повсеместно крики, обвинявшие нашу молодежь; раздаются и теперь. Худо то, что рядом с дельными заботливыми вопросами нередко раздавались и предположения опасные, нелепые, вредные, которые были даже гораздо вреднее для самих обвинителей, чем для обвиняемых. Нелепица подобных обвинений падает каждую минуту и со временем падет окончательно» (т. XIII, стр. 258). «Говорят, что у нас в России не привилась наука... именно потому и не привилась, что страна располагает в пользу ее слишком малыми свежими силами. А между тем, сколько сил хранится в этих сорока мильонах людей, которые чужды вовсе науки, даже не слыхали о ней. Сколько бы могло быть даровитейших тружеников науки, если бы вся эта масса была призвана к жизни» (т. XIII, стр. 249).

«Вы спрашиваете: где русская наука? Про науку я скажу только то, что, по моему убеждению, наука создается и развивается только в практической жизни, то есть рядом с практическими интересами, а не среди отвлеченного дилетантизма и отчуждения от народного начала. Вот почему у нас и не было до сих пор русской науки» (т. XIII, стр. 195). «Не беспокойтесь, наука не наложит пут на народ наш: она только расширит его силы, и он скажет в ней свое слово. До сих пор наука у нас не прививалась и была у нас как дорогой оранжерейный цветок. Особенной научной деятельности наше общество не выказало, ни теоретической, ни практической, потому что было разъединено с родной почвой, а само по себе было слабо... Но привьется, наконец, и наука; все это совершится, может быть, тогда, когда уж нас не будет на свете» (т. XIII, стр. 60—61).

Теперь приведем несколько цитат из статьи «Об университетах».

«Именно то, что возник вопрос об университетах и так глубоко откликнулся в нашем обществе,— именно это показывает, что наступило для наших университетов то время, когда они сами стремятся сознать себя частью живого организма всей России, а не искусственной пересадкой из иностранной земли, чем они и были долгое время...» (стр. 96).

«В действительную жизнь наука не перешла и ее еще покамест не требуется... Кроме того, до сих пор еще как будто опасаются у нас науки в большом количестве. Ей как-то недоверяют... Образование требует к себе доверия. Надобно, чтоб само общество сознало всю силу его, не подозревало его, не становилось к нему в враждебные отношения. Говорят: отчего нет промышленности, отчего нет торговли? Но на все надобны гарантии

и общая гармоническая связь с тем, что в данную минуту движет обществом. Положим, промышленность и торговля требуют науки. Наука в промышленности и торговле находит свое применение. Нет торговли и промышленности — науки теряют огромную часть своих применений, и мы даже не подозреваем ее полезности и смотрим на нее отвлеченно. У нас все смотрят на науку как-то отвлеченно...

...Неужели в университетах не знают об этих всех обстоятельствах? Конечно знают, потому что все это прямо до университета касается. Да хоть бы даже и не знали, все-таки это и бессознательно отразилось бы на университетах, потому что университет есть неотъемлемая часть всего организма, а не забавная оранжерейная пересадка для одной только красы. Если образование принимает вид какой-то отвлеченности, если наука не может укорениться в действительности, если в действительности нет на нее прямых непосредственных требований, если она не может сейчас найти себе применения и заявить себя,— спрашивается, не замрет ли она сама собою? Если не замрет совершенно, то во всяком случае не разовьется нормально» (стр. 97—98).

Через все приведенные высказывания как из атрибутированных, так и не атрибутированного произведения, проходит общее образное представление о науке, как о растении с употреблением специфических определяющих его слов: «прививка ее, плоды ее именно зависят... от почвы»; «до сих пор наука у нас не привилась и была у нас, как дорогой оранжерейный цветок»; «Говорят, что у нас в России не привилась наука»; «Университеты... не забавная оранжерейная пересадка для одной только красы»... «наука не может укорениться в действительности... не разовьется нормально»... «За спасение самого здания нашей науки все стоят горячо. Все желают ей роста и укоренения на нашей земле»... «Значит пустило корни, значит живет!..»

Интересно еще отметить, что в близком к концу абзаце автор статьи «Об университетах», как бы подводя итоги, говорит, почему он не предлагает никаких реформ. Его поражает «дух ломки, перестройки, вырыванья с корнем, пересадка», которые показывает, что мы «ничего не растили, ничего не поливали, были какими-то наемщиками, а не деятелями. Какой хозяин не любит дерева, которое он посадил, дома, который он выстроил, в котором он жил и вывел детей? По-нашему, хоть сейчас ломать, хоть сейчас и на переселение. Какое равнодушие! А кто виноват?» (стр. 99).

Эта концовка невольно вызывает в памяти заключение также итогового по характеру абзаца в «Записках из Мертвого дома» о погибших в стенах острога могучих силах народа, погибших «ненормально, незаконно, безвозвратно». Достоевский закончил его тем же вопросом: «А кто виноват?» И отвечал: «То-то, кто виноват?»

Но статья «Об университетах» заканчивалась все же в оптими-

стических тонах, верой, что начинается для русской науки подлинная жизнь: «Значит пустило корни, значит живет!...» Между тем слова эти были написаны накануне закрытия университета, о чем официальным языком было сообщено в первой книге «Времени» 1862 г.:

«Петербургский университет 20 декабря закрыт впредь до пересмотра университетского устава на новых основаниях. При этом положено: всех нынешних студентов считать уволенными...» Далее сообщалось, как будет организован новый прием учащихся и возвращение профессоров, которых пока «считать за штатом». В № 2 сообщалось, что вопрос об университетах еще не рассмотрен правительством, но тут же сообщалось о напечатанных соображениях киевского университета по поводу уничтожения дисциплинарных правил, о широком приеме женщин, в частности и на медицинский факультет, и др. В № 5 приводились высказывания Пирогова также о снятии надзора за студентами, об уменьшении платы за учение и другие демократические пожелания. В № 9 были напечатаны сведения о «Кратком очерке главных распоряжений по министерству народного просвещения», причем выделялись все меры, которые были приняты с 1855 г. для улучшения деятельности университетов и приводилась цитата с обещанием в новом уставе восстановления автономии университетов, которой требовали привлеченные к обсуждению профессора: «В полученных на проект устава замечаниях большей автономии университетов придается особенное значение, и полное принятие этого начала признается всеми специалистами за единственное условие, при котором представляется в будущем прочное обеспечение достоинства науки и спокойной правильной деятельности университетов». Это была уступка правительства, сделанная под воздействием студенческого движения 1861 г., поддержанного общественностью, и «Время» поспешило ее отметить.

С вопросом о студенчестве связана во «Времени» еще одна дискуссия, характерная для позиции журнала. В седьмой книге за 1862 г. появилась статья П. Новицкого «С берегов Рейна». Это был своеобразный отклик на роман «Отцы и дети», где Тургенев упоминал о лени и невежестве русских гейдельбергских студентов [1]. Автор статьи сообщал, что студенты обижены этим обвинением, что среди них многие серьезно работают. В частности, он упоминал, что есть такие, которые «занимаются политическими науками вообще», изучают крестьянский вопрос и «Положение 19 февраля»: «В этом году русские стали посещать боннский университет и здешнюю земледельческую академию».

Среди русской молодежи, посланной за границу для подготовки к профессорской деятельности, с осени 1862 г. оказался сотрудник «Времени» Владиславлев. По сохранившимся его пись-

---

[1] *И. С. Тургенев.* Полное собрание сочинений и писем в 28 томах, т. VIII сочинений, стр. 401; т. IV писем, стр. 640. М., «Наука».

мам 1862—1864 гг. из Гейдельберга и Геттингена к помощнику М. М. Достоевского по редакции и родственнику его жены А. А. Бергману мы можем убедиться в его серьезной работе по изучению философии, которая подготовила его к позднейшей научной деятельности как автора ряда философских трудов, как переводчика «Критики чистого разума» Канта, как создателя учебников по логике и психологии и как видного профессора Петербургского университета. Конечно, основное ядро журнала «Время» было в курсе его интенсивных занятий.

Между тем в журнале «Учитель», который и ранее «Время» обвиняло в немецкой ориентации, появилась статья по поводу «Отчета» молодых русских ученых, посланных за границу. В этом «Отчете» было отражено недовольство русской молодежи далекостью от жизни и мелочностью тем, которыми их занимали немецкие профессора. «Учитель» (№ 24 за 1862 г.) вступился за авторитет немецкой науки, которую осмелились критиковать русские, не уважающие европейские светила. «Современная летопись» в № 50 тоже напечатала статью П. В. с резким отрицательным разбором двух отчетов, напечатанных в «Журнале министерства народного просвещения». На эти выступления «Время» тотчас в № 12 за 1862 г. откликнулось заметкой в шесть страничек, названной «Наши молодые и старые ученые». «Время» встало на защиту молодых ученых, в выступлениях которых нет «неуважительности» и «омерзительного тона», а есть критическое отношение к лекциям немецких профессоров, во многом справедливое, так как известно, что часто лекции эти элементарны, школьного типа, чрезмерно склонны к детализации и систематизации. Русская молодежь не недоучившиеся студенты, она имеет свои суждения, и напрасно зрелые люди, стремясь охранять авторитеты, ее осуждают.

Не ограничившись этой заметкой, «Время» в № 1 за 1863 г. поместило статью, в которой вступилось за русскую науку и ученых, кстати, обличая немцев, русских академиков, которые занимаются наукой, посылают свои исследования в заграничные журналы и ничего не делают для России. Автор статьи противопоставил им иное понимание науки, которое и руководит русскими молодыми учеными за границей: «Наука в здравом обществе, живущем действительностью, т. е. политической жизнью, никогда не может и не должна существовать вне практических интересов... Мы предпочитаем успехи образованности на нашей родине всем успехам науки на западе... требуем, чтобы русским было дано право смотреть на западную науку с точки зрения русской образованности и заимствовать оттуда то, что при настоящем ее состоянии благотворно и применимо. Такой взгляд выражают наши юноши, посланные за границу, и, несмотря на их промахи, заносчивость, увлечение, они принесут нам более пользы, чем наши немецкие педанты... Они сумеют определить свой взгляд на круг своих занятий и при этом будут руковод-

ствоваться требованиями не отвлеченной науки, а своей обязанности. Тут мало одного теоретического понимания потребностей русского образования, тут нужна горячая любовь к родине, непосредственное чувство ее нужд и недостатков».

В этих строках статьи «Жрецы науки для науки» сконцентрирована установка «Времени» на всю реформу системы образования в России — от народных школ до университета и академии. Образование как великая сила, как панацея от всех зол и бедствий современности, образование, построенное на знании действительной жизни и на связи с нею и руководимое горячим чувством любви к родине и стремлением помощи народу.

Рядом с этой общей установкой во «Времени» звучали голоса группы сотрудников, для которых ясен был конкретный путь дальнейшего развития страны и мнение которых отразилось в следующих строках Разина: «Нам приходится теперь принять решительные меры для того, чтобы образование подвинулось вперед. Это становится необходимым даже по хозяйственным соображениям: этого требуют наши выгоды, не говоря уже о человеческом достоинстве. Преобразование судебной части требует юристов в огромном количестве; сельское хозяйство силою обстоятельств поставлено так, что должно принять новое, рациональное направление, и требует естественников и камералистов; крайняя нужда в различных фабриках и заводах вызывает химиков, технологов, механиков и минералогов, всеобщий недостаток дорог требует инженеров; наконец, дух времени требует честных, нравственно развитых граждан, а с духом времени кто же совладает? Пусть никто и не пробует: совладать нельзя» («Время», 1862, № 10).

Поиски журнала в области реформирования образования, его демократизации и приближения к жизни повторяются и в поисках изменения медицинского обслуживания народа, хотя им отведено менее места. Во внутренних известиях Порецкий часто сообщал о катастрофическом положении медицинской помощи в деревне, власти знахарей и особенно о неудовлетворительном состоянии больниц и отношении медицинского персонала. В сентябре 1861 г. он писал в связи с недостатком врачей и верой в знахарей и бабок: «Недоверие крестьян к врачам — дело нерешенное. Мы, например, знаем одного отставного врача, оставившего практику и занимающегося в небольшой деревеньке сельским хозяйством. Он хотя говорит, что уже не практикует, но в сущности его практика не прекратилась, потому что со всего околотка к нему беспрестанно являются больные, приводят больных взрослых, приносят больных детей; советы его крестьяне исполняют, верят в них и благословляют его...» Далее он то же рассказывает о вдове врача, поселившейся в деревне: «Из этих фактов, пожалуй, можно заключить, что если есть недоверие, то не к знаниям врача и не к действительности его средств, а к известному официальному или официально поставленному лицу. К надле-

жащим врачебным средствам не может быть недоверия со стороны крестьян, потому что они не идиоты; но врачу, так же как священнику, надо уметь жить с народом, чтобы действовать спасительно на его тело и душу».

Тема о взаимоотношении врача и народа в это время была особенно близка Ф. М. Достоевскому. Надо думать, что оба брата Достоевские, выросшие в семье врача больницы для бедных, с детства окруженные медицинским персоналом и их пациентами, не могли не быть особенно внимательны к этой теме. Но Ф. М. Достоевский в это время работал над «Записками из Мертвого дома» и, восстанавливая в памяти жизнь в остроге, постоянно возвращался к мысли о лечивших его там врачах и больных, окружавших его в тюремной больнице В этом произведении Достоевский изложил свои размышления по их поводу, несомненно отразив и точку зрения журнала на очень злободневный вопрос о народе и медицине. Это прежде всего высокая общая оценка гуманности русских врачей, особенно молодых, и, во-вторых, вредное влияние официальной чиновничьей постановки медицинского дела.

Уже в четвертой главе первой части «Записок» Достоевский писал: «Известно всем арестантам во всей России, что самые сострадательные для них люди — доктора. Они никогда не делают между арестантами различия, как невольно делают почти все посторонние, кроме разве одного простого народа... Доктора же — истинное прибежище арестантов во многих случаях, особенно для подсудимых, которые содержатся тяжелее решенных».

Более страницы отвел Достоевский отношению народа к врачам во второй главе второй части «Записок», напечатанной в февральской книжке «Времени» за 1862 г., хотя посвященной госпиталю на каторге, но прямо адресовавшейся к читателю начала 1860-х годов: «Надо признаться, много лекарей на Руси пользуются любовью и уважением простого народа. И это, сколько я заметил, совершенная правда. Знаю, что мои слова покажутся парадоксом, особенно взяв в соображение всеобщее недоверие всего русского простого народа к медицине и к заморским лекарствам. В самом деле, простолюдин скорее несколько лет сряду, страдая самою тяжелою болезнью, будет лечиться у знахарки или своими домашними, простонародными лекарствами (которыми отнюдь не надо пренебрегать), чем пойдет к доктору или лежать в госпиталь. Но, кроме того, что тут есть одно чрезвычайно важное обстоятельство, совершенно не относящееся к медицине, именно: всеобщее недоверие всего простолюдья ко всему, что носит на себе печать административного, форменного; кроме того, народ запуган и предубежден против госпиталей разными страхами, россказнями, нередко нелепыми, но иногда имеющими свое основание. Но главное, его пугают немецкие порядки госпиталя, чужие люди кругом во все продолжение болезни, строгости насчет еды, рассказы о настойчивости, суровости фельдшеров и лекарей, о

взрезывании и потрошении трупов и проч. К тому же, рассуждает народ, господа лечить будут, потому что лекаря все-таки господа. Но при более близком знакомстве с лекарями (хотя и не без исключений, но большей частью) все эти страхи исчезают очень скоро, что, по моему мнению, прямо относится к чести докторов наших, преимущественно молодых. Большая часть их умеют заслужить уважение и даже любовь простонародья. По крайней мере я пишу о том, что сам видел и испытал неоднократно и во многих местах, и не имею оснований думать, чтоб в других местах слишком часто поступалось иначе. Конечно, в некоторых уголках лекари берут взятки, сильно пользуются от своих больниц, почти пренебрегают больными, даже забывают совсем медицину. Это еще есть, но я говорю про большинство или, лучше сказать, про тот дух, про то направление, которое осуществляется теперь в наши дни в медицине...» Обличая далее врачей, потерявших «человеколюбие» и прикрывающихся воздействием «среды», которая их «заела», Достоевский вновь повторяет, что простой народ недоверчив и враждебен более к администрации медицинской, а не к «лекарям», узнав которых, «быстро теряет многие из своих предубеждений»; он вновь отмечает несоответствие «наших лечебниц» «духу народа», почему они и «не в состоянии приобрести доверия и уважения народного».

«Время» поместило три специальные статьи о врачах и народе, и все их высказывания находятся в русле идей цитированного отрывка из «Записок из Мертвого дома». Интересно, что в конце той же февральской книжки «Времени», откуда приведена цитата, была помещена в «Смеси» статья Н. Лескова «Вопрос о народном здоровье и интересе врачебного сословия в России» (12 страниц). Базируясь на сведениях «Медицинской газеты» и «Современной медицины» (Киев), Лесков в мрачных красках изображал общее положение и врачей и населения: народ гибнет без медицинской помощи, находится в руках знахарей, боится больниц, где большая смертность и недобросовестность. Врачи загружены служебными обязанностями, и им некогда лечить, они теряют знания, отстают от науки, их вознаграждение так мало, что без взяток они не могут существовать. Служебных мест мало, и молодые врачи сидят без дела и без заработка.

Как в деле просвещения в это время была популярна идея о выборе учителей самим населением, так и в области медицины Лесков предлагает, чтобы врачей не назначало начальство, а чтобы они избирались городскими и сельскими общинами и «общественным врачам» предоставлялось некоторое количество земли и жалованье. Молодые безработные врачи охотно пошли бы в деревню и организовали «сельскую медицину». Лесков утверждал: «Правительство одно не может ничего сделать ни для обучения народа, ни для устройства в широко разбросанных селах врачебной части; оно только может дать средства идти этому делу скорее, чем оно в состоянии идти без его содействия». Он

ссылался на то, что «все устроят сами общины, сам народ, с понятиями которого, по справедливому замечанию Гакстгаузена, сроднился аграрный коммунизм и который в этом коммунизме найдет средство обеспечить основные потребности всех действительно нужных общине людей». Лесков уверен, молодые врачи поймут, что без сближения с народом ничего хорошего для них быть не может.

В майской книге «Время» поместило статью «Врачи и народ (по поводу статьи г. Лескова)» П. Добычина, автора использованной Лесковым статьи из «Современной медицины». Добычин пишет, что только в последние годы поднялся разговор «о господствовавшей до сих пор страшной духоте, сжимающей простор свежих, еще не испорченных сил медицинской молодежи. Инициатива этого пробуждения бесспорно принадлежит киевскому профессору Вальтеру и доктору Лескову». Далее Добычин упоминает, что «какой-то член управы чуть не предал проклятию г. Лескова и его последователей». Добычин не согласен с предлагаемым планом создания «сельской медицины», считает его нереальным и показывающим плохое знание деревенского быта: «Бедность не создает ничего, а особливо бедность, соединенная с невежеством и стеснением свободы». В статье отмечается, что вопрос о сельской медицине — «это, кажется, своего рода новый крестьянский вопрос... Вообще вопрос о сближении врачей с народом, кажется, почти тот же, как и вопрос о сближении с ним *образованного* сословия вообще, который теперь занимает нашу литературу. Как тут, так и там в настоящее время видно только пока *одно желание* благомыслящих людей — чтобы наше образованное сословие посбавило с себя лишнюю гордость и сбросило обветшалые формы своей барской спеси,— желание, которое нелегко перевести в действительность».

Еще раз «Время» вернулось к тому же вопросу в сентябре 1862 г., поместив «Заметку по поводу народного здоровья», подписанную И. Ч. Это новое напоминание о тяжелом положении народа без медицинской помощи, о беспомощности перегруженных работой врачей, о том, что молчать об этих обстоятельствах «было бы слишком нечеловечно».

Глава VIII

Политическое обозрение

«Время» было официально разрешено как «журнал литературный и политический» и так именовалось до закрытия в 1863 г. В его «Программе» в качестве раздела пятого указывалось: «V. *Политическое обозрение.* Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств. Известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов». Однако в «Объявлениях» о подписке на журнал в конце 1860, 1861 и 1862 гг. редакция, целиком занятая характеристикой общего направления журнала и своей позицией в вопросах литературы и журналистики, не касалась этого отдела. Лишь один раз, в заключении статьи «От редакции», помещенной на обложке первого номера 1861 г., она упомянула о нем: «Особенное внимание обратим мы на отделы Внутренних новостей и Политического обозрения. Последний отдел особенно для нас важен».

Этот особенно важный для редакции отдел был поручен с самого основания журнала Алексею Егоровичу Разину, который и вел его до закрытия в мае 1863 г., давая из месяца в месяц 30—40 страниц печатного текста. Обычно его статьи состояли из краткого введения под названием «Общее положение», далее шли обзоры состояния дел в трех-четырех государствах, избранных в зависимости от важности происходивших в них событий («Итальянские дела», «Французские дела» и т. д.), и помещалось небольшое заключение в виде «Последних известий».

Прежде чем более или менее планомерно рассмотреть позицию обозревателя в крупнейших политических событиях этого отрезка времени, кратко охарактеризуем общую направленность его информаций. Прежде всего на себя обращает внимание их демократический дух, их всегда ясно выраженная симпатия к простому народу, к массам, страдающим в результате национального или социального угнетения. И как следствие этого сочувствия — соответствующая характеристика тех, по вине которых страдают массы. Разоблачение виновных дается в форме иронического изложения их поведения, причин ими двигающих, с приведением иногда юмористических подробностей, но иногда доходящее до беспощадного злого сарказма. В этом отношении Разин

являлся учеником и последователем Чернышевского, в то же время ведшего отдел «Политика» в «Современнике». Конечно, подобное изложение было маскировкой от цензурного ока, и у Чернышевского оно было особенно изобретательно и разнообразно по приемам.

Разин любил привлекать и включать в обозрение интереснейшие политические документы или цитаты из них, пользовался бессмертными образами Гоголя для обрисовки того или другого европейского деятеля. Для Разина было очень характерно стремление помочь читателям понять, почему сложилась данная политическая ситуация, что ей предшествовало, и он обращался к истории вопроса. Его педагогический опыт сказывался в простоте и доступности изложения, оживляемого остроумными, ироническими сравнениями и замечаниями. Однако в некоторых случаях он смело и открыто возмущался порочностью установившихся политических и социальных отношений, обрекавших народы на неизбежные страдания, и приветствовал революционные события и перевороты. Вероятно, за эти обзоры Аполлон Григорьев уже осенью 1861 г. назвал его «Стенькой Разиным» и продолжал его так величать.

В политических обозрениях 1861—1862 гг. более всего было отведено места Италии, роли и личности Гарибальди, сложным политическим силам, мешавшим объединению страны. Сообщением о современном положении Италии Разин предпослал рассказ о всей истории объединения, не раз возвращаясь к этому вопросу и далее, освещая роль карбонариев, Мадзини, значение 1848 и 1849 гг. События в Италии он сравнивал с Французской революцией конца XVIII в., но отмечал, что там было задачей создание «новых внутренних форм», а в Италии — стремление к национальному единству как «способу» добиться независимости Италии, избавиться от иноземного владычества.

В первом же номере журнала Разин нарисовал образ Гарибальди, изложил его биографию, его роль в объединении — все это с чувстом преклонения перед личностью и деятельностью итальянского героя. Говоря в четвертой книге о его связи с народом, Разин привел его письмо к итальянским рабочим: «Представители рабочих итальянских артелей являлись ко мне в моем уединении, чтобы доказать сочувствие сильной и работящей половины народа. Не могло быть события приятнее для моего сердца, потому что я всегда рассчитывал на мозолистую руку людей нашего сословия, а не на лживые обещания обманщиков политиков. Поклон и братство! О. Гарибальди».

В пятой книге Разин подчеркивал, что в борьбе Гарибальди против Кавура за войско своих волонтеров моральная победа и общественное мнение оставались на стороне Гарибальди. Неожиданная смерть Кавура и многочисленные отклики европейской печати с высокими оценками «великой» роли Кавура, очевидно, как-то воздействовали на Разина. Он не сумел, как Чернышев-

ский, четко показать, что представлял собою этот политический деятель, и хотя умеренно, но с похвалой отозвался и о его деятельности и о его конституционной программе. Однако и в статье-некрологе он открыто говорил об умелом использовании Кавуром героической деятельности Гарибальди и его войска, а позднее именно только этот аспект деятельности Кавура вспоминается им.

Все более ясной становится для Разина враждебная к Гарибальди деятельность объединенного правительства Италии и его нового главы Ратацци, действовавшего по указке Франции. В течение 1862 г. высокая оценка Гарибальди и его народных связей становится все более крепкой и убежденной и вместе с тем все с большим осуждением изображаются враги объединения, их боязнь перед восставшими вооруженными массами и желание с ними расправиться. С восторгом описывал Разин триумфальное шествие Гарибальди по северной Италии, его призывы объединиться и создать войска для борьбы с иноземцами, его лозунг «Рим или смерть!», его широкую популярность.

С особенным подъемом написана информация в сентябрьской книжке 1862 г. «Гарибальди в Аспромонте и в Специи», в которой излагалась история ранения Гарибальди и взятия его в плен правительственными войсками. Говоря о том, что эти события занимают всю Европу, Разин писал: «Колоссальная фигура раненого человека в Специи закрывает собою и черногорские события, и биарицкие прогулки, и прения прусского парламента, и константинопольские конференции... В Специи лежит не человек, подстрелена не нога... Лежит в Специи идея, подстрелена идея, искалечена идея: идея единства Италии. Человечество редко бывало свидетелем такого замечательного явления, и никогда без глубоких следов такое явление не проходило. Опять-таки говорим, как говорили месяц тому назад, что Осип Гарибальди может быть судим, может быть расстрелян, или распят, или помилован, это все равно, это не важно. Дело в том, что нынешнее правительство в Италии, бывшее сардинское, ныне итальянское, есть плод революционного движения итальянского народа к самостоятельной жизни».

И далее, называя Гарибальди «знаменем итальянского единства», с презрением вспоминая Кавура, который «с парламентской ловкостью и изворотливостью» пользовался успехами Гарибальди, но в случае неудачи всегда был готов «отказаться от героя и от всякого участия в его попытках», с еще большим презрением говоря о правительстве Ратацци, «идущем войной против тех начал, которые ему дали жизнь», Разин еще раз возвращается к истории освободительного движения в Италии с 1814 г. Он показывает политический накал народных масс, подводит читателя к 1834 г., когда появляется Мадзини, чтобы более не сходить со сцены, и сообщает, что «в Джамбеллини поднято красное мадзинистское знамя и народ требует раздела имуществ...

Везде пылает восстание». Следующей иронической фразой Разин подводит итог обзору: «Понятно, что народ, прошедший такую школу, не легко успокоится распоряжениями г. Ратацци и никак не может быть назван удобоуправляемым».

В соответствии с повышенным интересом этих лет к итальянским событиям «Время» поместило во второй половине 1862 г. две статьи: в августовской книжке «Разбойничество в Италии» (без подписи) и в декабрьской «Монтанелли» В. Попова. В кратком предисловии к первой статье сообщалось, что она взята из опубликованных в журнале «Rivista Contemporanea» итальянским офицером заметок, основанных на официальных данных. В статье вскрывается, что разбойничьи банды на юге Италии вербуются из местного населения, которое нищенствует, а поддерживаются реакцией, возглавляемой свергнутым неаполитанским королем и бурбонами, а также римским духовенством. Вывод статьи, вероятно компилятора, такой: не страшными казнями и крутыми мерами надо бороться, а «улучшением положения низшего класса народа и преобразованиями, которые убедили бы наконец население южных провинций в превосходстве министерства Виктора Эммануила над бурбонским деспотизмом».

Статья В. Попова (60 стр.), написанная в связи со смертью Монтанелли, во многом дополняла информацию Разина. Она рассказывала о печальном состоянии Италии с времен эпохи Реставрации, о невежестве, бедности ее народа, о росте подпольных организаций, которые ставили себе задачей освобождение и развитие народа, сближение его с образованными классами, за что особенно ратовал Монтанелли. Особенно подробно освещал В. Попов деятельность Монтанелли как участника за национальное освобождение и объединение Италии, его роль в революции 1848 г., сближение и расхождение с Мадзини. Приводя много цитат и документов, характеризующих отдельные партии и моменты борьбы за освобождение, статья помогала читателям лучше разбираться и в современном состоянии Италии, возбуждала симпатию к борющемуся народу и его вождям. В. Попов ставил Монтанелли по его идейной убежденности, честности и страстной натуре в ряд с Риенци и Саванароллой — «людьми ума, сердца и воли, проповедниками и бойцами народного начала, пророками торжества его».

Широкий интерес русского прогрессивного общества к событиям в Италии, нашедший отражение в публикациях «Времени», захвативший и других его сотрудников, оставил след и в творчестве Достоевского. Многие русские путешественники этого времени так или иначе реагировали на происходившее и отзывались на него в письмах и мемуарах. Даже такой преданный поклонник русской «почвы», как Ап. Григорьев, писал 19 сентября 1859 г. Погодину: «В Генуе дохнуло уже воздухом свободы. Портреты Мадзини и Гарибальди в трактире немало изумили и порадовали меня».

В первом номере «Времени» 1861 г., в котором Разин начал свою горячую пропаганду дела Гарибальди, Достоевский поместил фельетон «Петербургские сновидения в стихах и прозе». В нем он рассказал о бедном чиновнике, родном брате Голядкина и Прохарчина, у которого глубоко затаенный протест, «вольнодумство», с которым он боролся и которого боялся, под гнетом страданий вырвался наружу в нелепой безумной мании, «что он-то и есть Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка вещей». Хотя Достоевский тут же напоминает об интересе Поприщина к испанским делам, нужно признать, что помешательство героя Достоевского на делах итальянских, на имени Гарибальди имеет совсем иной социальный смысл. Оно подтверждает постоянное присутствие в сознании бедняка возможности бунта, протеста, восстания. Предполагал Достоевский как-то использовать имя Гарибальди и при переработке в эти годы «Двойника».

В то время, когда появились в журнале восторженные страницы Разина «Гарибальди в Аспромонте», Ф. М. Достоевский только что вернулся из-за границы, где очень недолго, в начале августа, был в Италии. В «Зимних заметках о летних впечатлениях», которые он писал в последние месяцы 1862 г., он откликнулся на итальянскую тему в полном согласии с линией, которую проводил в обозрении Разин. Отметим, что у Разина в его одушевленный рассказ о личности и деятельности Гарибальди, постоянно вплетаются полные сарказма замечания о давлении Наполеона III на правительство Италии и его вражде к народному герою. Вот что записал Достоевский из итальянских наблюдений: «Сидел я раз за одним табльдотом — это уже было не во Франции, а в Италии, но за табльдотом было много французов. Толковали о Гарибальди. Тогда везде толковали о Гарибальди. Это было недели за две до Аспромонте. Разумеется, говорили загадочно; иные молчали и не хотели совсем высказываться; другие качали головами. Общий смысл разговора был тот, что Гарибальди затеял дело рискованное, даже неблагоразумное; но, конечно, высказывали это мнение с недоговорками, потому что Гарибальди — человек до того всем не в уровень, что у него, пожалуй, и выйдет благоразумно даже и то, что по обыкновенным соображениям выходит слишком рискованным. Мало-помалу перешли собственно к личности Гарибальди. Стали перечислять его качества,— приговор был довольно благоприятный для итальянского героя».

Далее Достоевский привел рассказ француза, которого более всего удивил Гарибальди тем, что, имея в Неаполе на руках двадцать миллионов казенных денег в бесконтрольном распоряжении, все их сдал правительству «до последнего су». «Даже глаза его разгорелись, когда он говорил о двадцати миллионах франков. Про Гарибальди, конечно, можно рассказывать все, что угодно. Но сопоставить имя Гарибальди с хаптурками из

казенного мешка — это, разумеется, мог сделать только один француз».

Имя Кавура и термин «кавурство» Достоевский неоднократно использовал в полемике с «Русским вестником» в 1861 г., адресуя их Каткову, защитнику политики Кавура.

Второй не менее актуальной темой международного политического обозрения 1861—1862 гг. были события в Соединенных Штатах Америки — война северных и южных штатов, освобождение невольников. Тема эта была тем более злободневна в России, что сопоставлялась в сознании читателей с подготовкой крестьянской реформы и ее проведением. В обозрениях Чернышевского этих лет она занимала первое место. В мартовской книжке «Современника» за 1861 г. была помещена статья В. А. Обручева «Невольничество в Северной Америке».

Разин начал следить за событиями в Америке с марта 1861 г. и, по своему обыкновению, дал сперва очерк о рабстве, начиная с античного мира. Анализируя положение в Америке и указывая, что две расы в связи с застарелыми предрассудками не могут слиться в единое общество, он отдал много внимания влиянию рабства на психологию рабовладельцев и на экономику страны. Он указывал, что в то время как на Севере развивается промышленность, а граждане стремятся к обогащению собственной деятельностью и инициативой, на Юге плантаторы, обеспеченные рабским трудом, презирают личный труд, не заинтересованы ни в развитии промышленности, ни в усовершенствовании сельского хозяйства, живут для удовольствия, охоты, склонны к войнам и чужды каких-либо общественных прогрессивных идей. В этой характеристике много явных параллелей с русскими крепостниками, но прямых ссылок нет. В плане экономическом для Разина ясно: «Вопрос о невольничестве тесно связан с другим вопросом, прямо и непосредственно касающимся кармана». В той же мартовской информации, которая озаглавлена «Распадение Соединенных Штатов», Разин дал читателю сведения о государстве и устройстве США, роли президента, сената, палаты, особенностей интересов внешней политики Севера и Юга.

Следя за ходом войны, Разин ставил в связь ее затяжной характер с тем, что и на Севере много защитников рабовладения. Много их в вашингтонском конгрессе, который поэтому «не смеет высказаться прямо, не решается принять твердые логические меры». Однако все преимущества на стороне северян: их нравственная правота, их богатство, их более высокая культура и сила общественного мнения,— в то время как на Юге главная сила в страхе перед освобождением черного населения, численность которого более белого.

Но, признавая идейную роль в борьбе за освобождение, Разин в то же время помнил и об экономических рычагах, действовавших в этой войне. В августовской книжке 1861 г. он не только объявил, что война в США ведется «за тариф», но привел «наив-

ное», по его словам, высказывание Линкольна депутации негров, которым он предлагал выселиться из Соединенных Штатов, так как не в его силах переменить отношения белых и черных, между которыми нельзя установить равенство. «Какой же он аболиционист?» — восклицал Разин. И в других обзорах он осуждал «главу великой нации» за вялость, будничность мысли, отсутствие идейного подъема в деле освобождения миллионов рабов и противопоставлял ему своего любимого демократического героя — Гарибальди. Его возмущала корыстная подкладка освободительной войны: «В Северной Америке резня продолжается с изумительным зверством и полнейшей бесполезностью... И вся эта ужасающая бойня людская, где каждый месяц у обеих воюющих сторон выбывает из строя по нескольку десятков тысяч человек, убитых и раненых в двух-трех сражениях, происходит из-за таможенных сборов, из-за денег, из-за барышей... Велика сила ваша, о барыши».

«Время» поместило в 1861—1862 г. для лучшего ознакомления читателей две статьи об американских нравах и переводной роман. В № 4 напечатана статья без указания автора «Черные люди в Соединенных Штатах». Она во многом детализирует сообщение Разина о взаимоотношении белой и черной расы, о значении конкуренции той и другой рабочей силы и ее влиянии на заработную плату, о физических страданиях и о духовном растлении, которое несет рабство, огрубляя и доводя человека до животного уровня. Автор говорит также о жестокости законов, применяемых к «свободным» неграм, о неблаговидной роли религии и предсказывает, что антагонизм должен закончиться восстанием: «Это четыре миллиона людей, в настоящее время столь кроткие и спокойные, могут в скором времени восстать и превратиться в алчных и свирепых. Какие средства защиты имеют плантаторы? Какие будут их шансы в ужасной борьбе, которую в настоящее время можно предвидеть?» Хотя автор (или компилятор) нигде не проводит прямых аналогий с русскими крепостниками, но он пользуется столь близкими уху русского читателя терминами, как «дворовые», «барщина», прилагая их к положению негров.

Еще более сведений и иллюстраций к сообщениям Разина давал помещенный в 6, 7 и 8-й книгах за 1862 г. перевод романа Гильдрета «Воспоминания беглеца. Очерк американских нравов». Автор заострил внимание не столько на жестокостях плантаторов и мучениях невольников, сколько на влиянии института рабства на психологию тех и других. Произведение рисовало множество бытовых сцен, ситуаций, персонажей, связанных с взаимоотношениями черной и белой расы и проблемой аболиционизма. Увлекательное по сюжетному построению повествование вводило читателя в общественную атмосферу, в которой разыгрывались события, привлекавшие внимание современников.

Отметим, что еще во второй книге первого года издания «Времени» был помещен перевод из Лонгфелло «Poems on Slavery»

«Сон негра-невольника», о негре, видящем во сне свободную жизнь в родной Африке и умирающем в цепях под бичом плантатора. То же стихотворение с шестью другими стихотворениями Лонгфелло, под названием «Песни о неграх» в переводе М. Михайлова были напечатаны месяцем позднее в «Современнике». Переводчиком во «Времени» был В. Костомаров, будущий доносчик и клеветник на Чернышевского, но в это время сотрудничавший также в «Современнике» (апрель 1861 г., перевод из Лонгфелло «Отворенное окно»).

В обзорах австрийских и прусских дел Разин раскрывал беспомощность правительств, держащихся за уходящие феодальные отношения, и с беспощадным сарказмом изображал их псевдоконституционный строй. Говоря об Австрии, он показывал несправедливость главенства меньшей по численности немецкой части населения над Венгрией и славянскими народами. С особым вниманием и сочувствием относился он к оппозиции Венгрии, ее стремлению вернуться к конституции 1848 г., рассказывал ее историю. Он охарактеризовал конституцию, оглашенную в Австрии, как чистую фикцию: в ней объявлена полная зависимость выборов в сейм от правительства, и таким образом «нижняя палата будет предохранена от наплыва независимых элементов», а вся деятельность сейма будет протекать под надзором и определяться «присягой в верности и преданности императору».

Разин все время не забывал отмечать непопулярность сейма, на заседания которого целые народы не посылали своих депутатов, что вызывало злобу немцев, так как сейм не мог принимать в таких случаях юридических решений. Симпатизируя Венгрии, Разин указывал, что в то время как австрийское правительство опирается на «право силы», Венгрия опирается на «силу права». Полно яда сравнение, которое особенно охотно использует Разин, положения Австрии с Турцией — гальванизированным трупом, не способным к живой государственной жизни, держащимся лишь благодаря английской поддержке, жестокостям и насилию. Австрия, как и Турция, составлена из земель чужих народов, причем господствующее племя составляет меньшинство. Она так же находится в постоянном страхе перед восстанием подчиненных ей народов, необходимостью бороться с их неповиновением путем репрессий, цензуры и чрезвычайных положений. У нее так же расстроены финансы, но она рвется к военным авантюрам. Маска либерализма не скрывает ее «средневековых понятий». «Собственно представительного собрания там нет»,— писал Разин. Только тогда оно будет возможно, «когда все подданные, несмотря на национальности, будут совершенно уравнены в своих правах и когда печати будет дана свобода, без которой она не может оказывать тех услуг, которые вправе от нее требовать».

Австрийские и турецкие дела вызвали Разина на рассказы о прошлом славянских народов и их борьбе с турками. При всем сочувствии угнетенным славянским народностям Разин да-

лек от славянофильских тенденций. Его более занимает позиция Англии, которая предала славян, отдав их на произвол Турции, опасаясь усиления России. Он выражал надежду, что Гарибальди поможет славянам освободиться от гнета Австрии и с их помощью ослабит это государство.

Не менее беспощадно, чем дела австрийского сейма, изобразил Разин и палату представителей в Пруссии и ту бесцеремонность, с какой король и возглавлявший правительство Бисмарк расправлялись с неугодной им позицией депутатов. Развернутые обозрения прусских дел Разин начал с февраля 1862 г., когда дал очерк политической истории Пруссии в XIX в., ее политической структуры, обнажая антагонизм средневекового феодального строя с новейшими формами — конституцией и общим сеймом. Он вскрывал борьбу аристократической верхней палаты и юнкерства с депутатами нижней, в целом очень умеренно либеральной и идущей за королем. Борьба короля и Бисмарка за утверждение сеймом сметы на вооружение привела к полному игнорированию конституции, к «победе» над ней и роспуску сейма.

В последней книге за 1862 г. Разин объединил свои наблюдения над политикой тех государств, которые находятся во власти ушедших и уходящих феодальных понятий и стремятся во что бы то ни стало сохранить их наперекор живому прогрессивному росту общественного мнения. О силах феодальной реакции, которую он наблюдал в ряде европейских государств, он писал, сопоставляя с тем, что происходило и происходит в России: «Чтобы недалеко ходить за примерами, вспомним только, что крепостное состояние у нас сделалось от привычки, от времени явлением таким нормальным, что лет десять тому назад человека, мечтавшего об уничтожении крепостной зависимости, почти можно было принять за сумасшедшего». Но народ перестает смотреть на порядок своей жизни как на нечто неизменное, считает необходимым его улучшение и предъявляет к своим руководителям требования о преобразованиях. «Делать нечего, надо удовлетворить этим стремлениям, и чем скорее, тем лучше. Можно также и отложить, но известно: застарелое зло вылечивается труднее свежего, а переболевшее место может довести больного до беспамятства, иной раз опасного». Оттенок угрозы, звучащей в этих словах, по контексту относился не только к Австрии и Пруссии, но и России.

Еще с большим вниманием и критикой, чем уходящие формы европейской жизни, рассматривал Разин то, что шло и уже пришло им на смену в наиболее влиятельных и процветавших государствах — Франции и Англии. Власть капитала, подчинение его законам и требованиям всей политической и социальной жизни страны в наиболее ярком выражении видел он в Англии. Английским делам он не так много отвел места, но все его информации о них объединяет одна общая установка, как в обозрении внешней, так и внутренней политики Англии. С первой книги 1861 г., и постоянно возвращаясь к этому вопросу, Разин рисовал ее роль

в Индии, Турции, в колониальных войнах. Он отмечал ее грубое пренебрежение ко всем другим государствам, народам в заботе и охране своих прибылей и выгод. Он констатировал, что «одобрение в английском парламенте, равно как и порицание того или другого события производится с исключительно корыстными целями». Так, сочувствие развивающимся в Италии свободным учреждениям объясняется тем, что при них государство богатеет и «становится очень хорошим и прочным рынком». Еще более «торговая нравственность» Англии обнаруживается в отношении к рабовладельческим штатам Америки. Фабриканты Англии отстаивают независимость южных штатов, так как оттуда они могут получать дешевый хлопок, что тесно связано с рабством негров: «Хлопок не производится в других частях света, потому что дешевая работа невольников, поощряемая бичом, делала невозможною всякую конкуренцию. Рабство черных невольников есть экономическое рабство Европы». В погоне за барышом капиталисты жертвуют «экономической свободой» Европы и, «забывая нравственность, пожертвуют целою будущностью за минутные нужды». Разин горячо осуждал эту мелочную политику, «потому что первое условие великой политики — постоянно принимать в соображение человеческое достоинство».

Фальшивая корыстная политика Англии по отношению к американской войне вызвала в февральской книге за 1862 г. гневное выступление Разина под названием «Хлопчатобумажные дела», раскрывающее внутреннее положение Англии. Еще в октябрьской книжке за предыдущий год он выступил со злой критикой капиталистического «процветания» Европы: «Европа ликует, торжествует, иллюминуется, говорит пышно-торжественные речи... твердыми шагами идет по пути преуспеяния к славе, спокойствию, счастью, благоденствию и богатству верноподданных...» Растут капиталы, процветает торговля и промышленность... «Увеличивается в то же время в густонаселенных странах количество голодных смертей, но политическая экономия говорит, что это ничего, что это показывает только перевес предложения труда перед спросом, а закон, открытый *наукою,* гласит то-то: при этом закон приводится с спокойствием дьяка, в приказах поседелого».

Рассуждая далее о соответствии потребления и производства, о нужде как двигателе производства, о нормальности существования бедности и о том, что «самый счастливый человек есть тот, который лучше других умеет быть бедным», Разин иронически пародирует экономистов, защищающих существующий порядок и проповедующих, что стремление к богатству, вера в возможность обогащения нарушает благополучие: «Особенно социалисты толкали человечество по этому пути». Но вместе с тем Разин приводит и такое «научное» наблюдение: «Политическая экономия уверяет, будто образуются запасы, составляющие капиталы, но эти запасы, эти остатки образуются обыкновенно в сундуках богачей,

где уже заранее были положены прочные фундаменты накоплению капиталов. Вся роскошь городов, колоссальные богатства...— все это собирается с трудовых копеек».

В статье «Хлопчатобумажные дела» Разин вскрыл связь рабовладельческого Юга США с благоденствием английских фабрикантов и урон, который наносит им война Севера за освобождение негров. Нехватка хлопка, остановка фабрик вызвала быстрый рост пауперизма в Англии и страдания рабочих. Между тем он доказывал, что у фабрикантов есть возможность получать хлопок и поддерживать производство, но им это невыгодно и они, сваливая вину на политические события в Америке, уменьшают число своих рабочих. «Стало быть, свирепствующий в богатой Англии пауперизм происходит вовсе не от недостатка хлопка, не от междоусобной войны, происходящей в Америке... Перед исхудалыми рабочими своими, которые протягивают за подаянием свои костистые руки, фабриканты со вздохом уверяют: проклятые янки воюют и отнимают у них работу. «Что же делать? — говорят они.— Мы теперь и сами без работы. Приходится терпеть, покоряясь воле провидения. Что-то бог даст летом? Все в его святой воле...» Глубоко возмущаясь лицемерной позицией капиталистов, Разин восклицал: «И среди этих-то ужасов голода проходит нынешняя холодная зима, а между тем богатая Англия к 1 мая готовит великолепное торжество промышленности, колоссальную всемирную выставку, где собраны будут все последние чудеса мануфактуры, и между прочим изумительные бумагопрядильные машины. А пока зрители будут толпиться у этих чудес, что станут делать бедные рабочие? Умирать голодом».

В майской книжке Разин информировал, что лондонская выставка оказалась не так выгодна, как первая и как ожидали, и хотя выставлено всего гораздо больше, но посетителей ежедневно вдвое, втрое менее. Летом он зло высмеял «умеренное аристократическое либеральничанье» английских газет, «с приятной маниловской улыбкой» сообщавших о небольших неудовольствиях голодающего населения, которое ждет новой зимы в еще более тяжелых условиях. Свой окончательный приговор Англии Разин дал в «Политическом обозрении» октябрьской книжки 1862 г. Рассказывая об общем положении в Европе, о конкуренции «штыка» — Франции и «капитала» — Англии в поисках прибыли, Разин отдал предпочтение «штыку», так как у него хоть редко могут проявиться добрые чувства, тогда как «капитал никогда себе не изменяет, на одну минуту не теряет своей холодной бездушности, своего непреклонного всеугнетающего деспотизма».

Обличение Англии как цитадели европейского капитализма, проводимое в «Политическом обозрении», нашло блестящее художественное отражение в напечатанных «Временем» переводных литературных произведениях, а также в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевского. В последних еще более, чем впечатления от Англии, заняли место «заметки» о Франции, о спе-

цифике современной парижской жизни и столичного населения. Надо сказать, что в обозрениях Разина с первых до последних книжек «Времени» политика, журналистика, общественная жизнь Франции неизменно находились в поле зрения обозревателя и, как можно предположить, были областью, в которой он чувствовал себя наиболее эрудированным и заинтересованным. Он проявлял себя как прекрасный знаток революционного прошлого Франции и ее литературы. Хотя за обозреваемые два с половиной года во Франции не было столь исключительных событий, как в Италии и Соединенных Штатах, и текла в сущности будничная жизнь империи Наполеона III, Разин с неустанным интересом анализировал именно эту ее повседневность и с неиссякаемой иронией, переходящей в сарказм, в гротеск, рисовал то одну, то другую сторону этого буржуазного «рая». В целом это — разоблачение фальшивого «величия» императора и империи, полицейского режима и лжи, путем которых создается внешнее благополучие, скрывающее внутреннее убожество и государства и его подданных.

Разин занял эту позицию уже в первых книжках «Времени» за 1861 г. Избрав как материал для обозрения выступление в парламенте Жюля Фавра в ответ на тронную речь императора и приводя из него большие цитаты, Разин показывал, как под лозунгом принципов 89 года во Франции идет по существу их полное опровержение: император единовластно, не советуясь с парламентом, решает важнейшие вопросы, восстановлена бесконтрольная власть, в правительстве идет борьба за портфели, а не за общественную пользу: «Оратор необыкновенно красноречиво доказывал, что личная свобода во Франции не существует... что Франция кинулась в объятия отчаянного произвола... Что народ, не принимающий участия в управлении,— народ слабый, образующий государство, которое не может не погибнуть». Разин подчеркивал требования Фавра освободить от цензуры общественное мнение Франции, приводил его выступления против наживающих миллионы банкиров, спекуляций на акциях и указания на то, что в этих спекуляциях принимают участие люди, высоко стоящие в правительстве.

Одной из постоянных «французских» тем в обозрениях Разина была констатация убожества общественно-политической жизни во Франции и ее замены торжественно пышной риторикой речей, восхваляющих режим. Так, рассказывая об избрании в Академию на место умершего Токвиля Лакордера, он выражал удивление по поводу пустоты и бесцветности произнесенных речей, напоминая, что и Токвиль, и Гизо, и Лакордер были деятелями республики 1848 года.

При помощи цензуры и полиции проводится систематический обман бедных граждан, которым внушается вера в великолепное политическое и экономическое положение страны, в ее процветание, могущество и военные успехи. Между тем весь этот шум и декларации построены на сплошном обмане. Особенно тщательно

разъяснял Разин русским читателям мало для них понятные подробности финансовой жизни страны, в чем состоят «грязные спекуляции» биржевиков, банкиров, связанных с политическими кругами, как биржевая игра ведет к гибели малых капиталов и разорению тысяч бедняков. В связи с нашумевшим в Париже процессом Миреса и других он сообщал о выплывших наружу обычно тщательно скрываемых тайнах акционерных обществ, обогащении директоров и о всех мерзостях, которые порождает «величайший из современных двигателей — деньги».

Но вся эта сторона жизни государства лишь иногда прорывается сквозь поток официальных хвалебных речей, которые стремятся доказать, что у Франции «все есть, и даже еще более, как говорит Манилов». Ораторы захлебываются от восторга перед французскими достижениями и славой императора: «дошло почти до именин сердца». Благодаря системе внушений и предостережений, французские газеты теперь прекрасно дрессированы и в свою очередь дрессируют «почтеннейшую публику». По поводу помещенного в одной из газет рассказа «Помешанный» о молодом человеке, бредящем проспектами и получающем от императора орден Почетного Легиона, Разин заметил: «Но доктор Крупов совершенно справедливо исправил бы заглавие, поставив его во множественном числе. Упитанные буржуа с удовольствием читают такого рода повествования, поучаются и воспитываются в надлежащем благоговении к ... министерским представлениям».

Итак, от принципов 1789 года ничего не осталось, забыты идеи революции 1848 года, конституция 1852 года поглощена диктатурой императора. У депутатов парламента путем хитро организованных через префектов выборов, полицейского вмешательства и цензуры зажат рот, сенат полностью состоит из тех, кому выгоден существующий режим. Печать выражает лишь официальную точку зрения, общественное мнение задавлено цензурой и развернутой сетью шпионажа. Обличая в третьей книге за 1862 г. это состояние Франции, Разин считает, что ей пора откровенно отречься от революционных заветов прошлого и вернуться ко временам монархии: «Пока вы сохраняете эти порядки, откажитесь от чести управлять народом свободным».

Разин вскрывает и другие пружины, используемые правительством Наполеона III. Это взаимоотношения с папской властью и католическим духовенством. Из Лиона было послано папе 300 000 франков как «динарий св. Петра». Но «в том же городе Лионе открыта была подписка в пользу неимущих, голодных, босых, умирающих лионских работников, и собрана была далеко не такая громадная цифра». Французские войска, введенные и многие годы содержащиеся в Риме для защиты светской власти папы, препятствуют объединению Италии и дорого стоят французскому народу. Еще дороже обходится Франции экспедиция в Мексику, где к тому же французы несут громадные человеческие потери. Но «гром оружия», торжества по поводу фальшивых военных по-

бед — одно из средств одурачивания подданных и укрепления славы императора. А вместе с ними растут огромные государственные долги, которые предстоит платить потомкам.

В майской книжке 1862 г., последней, которую читал Достоевский перед отъездом за границу, Разин, уже не углубляясь в историю, дал ироническую картину внешнего благообразия дел Франции: «Политические дела имеют теперь приятно улыбающийся вид,— писал он,— а человечество в своем благополучном спокойствии похоже на отдыхающего капиталиста». «Благодетель разоренных им акционеров», арестованный грабитель — банкир Мирес — оправдан. Хотя публика возмущается наглым поведением кокоток в Булонском лесу, в опере, но полиция из «уважения к личной свободе» защищает их, боясь нарушать «спокойствие, порядок и промышленность». При Луи-Филиппе «была говорливая трибуна и в значительной степени свободная печать... теперь же нет ни изустной, ни печатной болтовни, зато дела идут как по маслу. Никаких нет преград на пути гармонического развития внутренних и внешних сил государства, процветания и благополучия...» Огромны государственные долги, зато гремит военная слава, воздвигается триумфальная арка, идет перестройка Парижа. Никто не выражает желаний, намерений, надежд: «все молчит и не выступает наружу, благодаря заведенному порядку... Центр политики заключается в голове императора», он не дает никому отчета, и французы ничего не знают, что их ожидает. Поэтому обозревателю писать не о чем — разве о большой собачьей выставке.

Не раз и в следующих книгах Разин жаловался на то, что во французской жизни нет событий, и поэтому он обращается к характеристике нравов, которые свидетельствуют, «что нынешнее поколение французов служит исключительно денежным интересам и дальше денег и помимо денег ничего не видит и видеть не хочет, и, что всего плачевнее, кажется, потеряло способность видеть». Поэтому темой обозрения Разин выбирает какое-нибудь скандальное судебное дело, привлекшее всеобщее внимание Парижа, например, об отравлении богатого старика молодой женщиной — дело без единственного доказательства виновности, но чрезвычайно соблазнительное по ситуации и подробностям, или дело об убийстве на дуэли герцогом Кадерус журналиста, по поводу чего в защиту титулованного и богатого убийцы говорятся пышные фразы о рыцарских и элегантных нравах французов. Немало материала для высмеивания Наполеона III дало Разину описание встречи императором приехавшего к нему с визитом прусского короля, а также пышного приема, устроенного Наполеону Ротшильдом в его замке, и безумных трат, которых стоил этот прием.

Только однажды, в июльской книжке 1861 г., Разин коснулся темы, которая вряд ли могла бы пройти гладко в русской цензуре, если бы Разин не постарался ее изложить в юмористиче-

ском тоне. Он подробно рассказал о политическом процессе Васселя, возглавившего тайное общество из 54 членов, по преимуществу мастеровых, ставивших себе целью свергнуть Наполеона и образовать «демократическую и социальную республику». Многие входившие в общество — бывшие ссыльные после переворота 1852 г., вернувшиеся в Париж и жившие под надзором полиции. Общество надеялось на помощь Гарибальди и предполагало призвать диктаторами революционно-демократических деятелей 1830—1840 гг. и пострадавших за революцию 1848 года — Бланки, Барбеса и Шарраса.

Подчеркивая малосильность организации, фантастичность ее планов, отсутствие средств и людей, Разин писал: «Все эти сведения извлечены из обвинительного акта, в котором проглядывает столько забавного, что нет возможности читать его без смеху и без горя в одно время». Однако приводимые цитаты из речей защитников говорят о явной симпатии Разина к обвиняемым. Из речи адвоката Кремье, бывшего министра временного правительства после февральской революции, Разин приводил самые сочувственные слова, сказанные в защиту обвиняемых мастеровых против доносов, изготовленных подкупленной полицией. Хотя Бланки в это время находился в Парижской тюрьме, но характер организации и деятельности судимого тайного общества во многом сходен с бланкистским «заговорщическим» методом действия через небольшие организованные группы, без связи с массами, методом, о котором писали Энгельс и Ленин. Именно эта оторванность от народа и утопизм вызывали у Разина горькую усмешку по поводу обвиняемых.

Кроме политического обозрения, «Время» отдало немало места характеристике положения и культуры Франции в других отделах, особенно в первую половину 1862 г. В номерах 2 и 3 были помещены три статьи о современной литературе Франции, тесно связанные с характеристикой общественных мнений и вкусов. В пятой книге 1862 г., обозрение французских дел в которой мы рассматривали выше, была помещена в первом отделе на 70 страницах статья без подписи «Людовик-Филипп и три дня февральской революции». Это, вероятно, перевод-компиляция статьи или книги, написанной вскоре после событий, так как в тексте встречаются такие замечания: «Несколько лет тому назад Людовик-Филипп казался самым могущественным королем в свете...» Никаких суждений автора компиляции по содержанию излагаемой книги нет. Изложенный материал очень красочно характеризует «монарха-мещанина», хитрого, скупого, с претензиями на царственность, но лишенного возвышенного образа мыслей. Разбираются все превратности его биографии, его стремление к личному обогащению, скряжничество и поощрение этих черт в других. С одной стороны, эти свойства благоприятствовали развитию промышленности, торговли, устройству железных дорог, с другой — они содействовали росту продажности во всех областях политиче-

ской и общественной жизни Франции, в литературе и искусстве. Приводятся слова Луи Блана: «растление — слово, характеризующее нашу эпоху». Объясняется рост оппозиции в обществе, усиление республиканской партии, недовольство и возмущение народа, очень детально описываются события каждого дня революции, лозунги, провозглашенные восставшим народом, баррикады на улицах, переход солдат на сторону народа, пение «Марсельезы», факелы, красные знамена, требование «свободы» и «республики», свержения Бурбонов. В заключение изображается ратуша как центр, куда стекались «все принципы, все интересы, все страсти воскресшей революции».

О двух статьях, с яркой характеристикой состояния печати в империи Наполеона III и принадлежавших Разину, мы скажем в гл. XIV.

Напечатанные в феврале—марте 1863 г. «Зимние заметки о летних впечатлениях» отразили пребывание Достоевского за границей в июне—августе 1862 г. В начале очерков он писал, что рвался за границу чуть не с раннего детства под влиянием книжных литературных впечатлений и юношеских мечтаний. Но поездка 62 года была, несомненно, тесно связана и с утверждением своего философско-исторического мировоззрения, борьбы за «почву», и с массовым в это время устремлением русской интеллигенции за границу. В дневнике одной из современниц Достоевского за апрель 1856 г. читаем: «Вчера были у Ливотовых. У них немного собралось гостей. Всего шестнадцать человек, из этих шестнадцати восемь собираются на лето за границу. Мы точно птицы, которым отворили клетку. Говорят, навигация на Балтийском море никогда еще не была так оживленна. И к нам заграничных гостей едет великое множество» [1]. Многие из тех, кто окружал Достоевского в 1860—1862 гг. и сотрудничал во «Времени», побывали за рубежом и так или иначе отразили свои впечатления об этих путешествиях. Ап. Григорьев, Страхов, Григорович, Полонский, Ап. Майков, Милюков, М. И. Семевский, Владиславлев, Бергман, Суслова и другие побывали в Европе или как туристы, или для лечения, или в связи с учением или учительством. Григорович напечатал во «Времени» два путевых очерка, связанных с посещением Испании и Италии, Е. Тур — дорожные наблюдения, встречи в Германии и Бельгии, П. Новицкий — очерк «С берегов Рейна». Побывали за границей все ведущие сотрудники «Современника». М. Михайлов печатал в журнале в 1858—1859 гг. «Парижские письма» и «Лондонские заметки», Шелгунов в 1861 г.— «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции». В свете этих и многих других публикаций понятно замечание Достоевско-

---

[1] *Е. А. Штакеншнейдер.* Дневник и записки (1854—1886). «Academia», 1939; *Ю. Н. Емельянов.* Список лиц, выезжавших за границу в 1857—1861 гг.— Сб. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.», 1970, стр. 354—375.

го в начале его статьи: «Кому из всех нас русских (т. е. читающих хоть журналы) Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я поставил из учтивости, а наверно в десять раз».

Изобилие публикаций ставило в затруднительное положение, «в тупик»: что можно рассказать «еще неизвестного, не рассказанного»? Когда та же проблема встала в 1859 г. перед Ап. Григорьевым, он предполагал ее решить по-своему, оригинально: писать не о своих впечатлениях от Европы, но «о русских за границей». Эта тема также стала очень популярной, и Достоевский немало места уделил ей в своих «Зимних заметках». Но в целом поставленная им задача была много сложнее и глубже. В нашу задачу не входит анализ произведения Достоевского в плане становления его философских и социально-политических взглядов, о чем немало написано. Укажем лишь на то общее, что соединяет европейские впечатления Достоевского с линией, которая проводилась в то же время в журнале Достоевских. Обзор политических статей Разина, статей о современной французской литературе Бибикова, Фукса, Ососова начала 1862 г., показывает, что, работая в это время как редактор над книжками «Времени», Достоевский получал не только богатую информацию о том, что ждало его в Европе, но и определенный угол зрения на ее жизнь. Несомненно, что с журнальными друзьями, побывавшими за границей, обсуждал он и план путешествия. «Вы помните, маршрут мой я составил себе заранее еще в Петербурге»,— писал он в начале статьи.

Лишь мимоходом, иронически отозвался Достоевский о своем проезде через Германию, не забыв упомянуть о борьбе за и против конституции, о которой так же иронически в каждом обзоре писал Разин. Достоевскому не понравились даже липы на знаменитом проспекте Unter den Linden: «Ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем, даже, может быть, своей конституцией; а уже чего дороже берлинцу его конституции?» Как было видно из приведенной выше цитаты, Достоевский коснулся мимоходом величавого образа итальянского народного героя, приведя его для того, чтобы ярче охарактеризовать алчную сущность француза, скрывающуюся под благородной внешностью. Но основными темами «Заметок» стали, во-первых, характеристика Лондона, как центра капиталистической промышленности Европы и порождаемого ею антагонизма эксплуататоров и эксплуатируемых, и, во-вторых, анализ психологии рядового французского буржуа в политических условиях империи Наполеона III.

Конечно, Достоевский своими глазами видел и кристальный дворец выставки, и субботний вечер с пьяной толпой рабочих и продажных женщин на площадях Лондона, и несчастных детей с написанным на их лицах «горем и безвыходным отчаянием», и «полуголое, дикое, голодное население в Вайтчапеле». Но вспомним, что во «Времени» в книге восьмой 1861 г. был напечатан «Плач детей» из поэмы Баррот-Браунинг («The Cry of the Chil-

dren»), в котором, выражаясь словами Достоевского, как «пророчество из апокалипсиса», передан вопль обреченных на безумие и смерть детей, безостановочно крутящих машины на фабрике.

Это острое, обличающее эксплуатацию капиталом детского труда произведение уже было знакомо русскому читателю по стихотворению Некрасова «Плач детей», которое без указания источника было напечатано в № 1 «Современника» за тот же год. Перевод Костомарова во «Времени», более близкий к подлиннику, появился почти одновременно с романом Е. Гаскелл «Мери Бартон. Повесть о манчестерских тружениках» («Время», 1861, кн. 4—9). В статье Л. П. Гроссмана «Достоевский и чартистский роман» уже было рассмотрено значение, которое мог иметь для Достоевского этот роман. Его автора Маркс называл среди «романистов в Англии, чьи наглядные и красноречивые описания раскрыли миру больше политических и социальных истин, чем это сделали политики, публицисты и моралисты, вместе взятые» [2]. По мнению Л. П. Гроссмана, «Мери Бартон» — «роман не только социальный, но — при всей умеренности выводов романистки — и революционный, поскольку главной его темой была классовая борьба и пролетарское восстание».

Достоевский предложил перевести этот роман жене своего друга 40-х годов проф. А. Н. Бекетова, Е. Г. Бекетовой-Карелиной. У нее, по свидетельству ее внука, А. А. Блока, хранился «экземпляр английского романа, который собственноручно дал ей для перевода Ф. М. Достоевский» [3].

Роман должен был оставить тяжелое впечатление у читателей. По словам Полонского, его чтение «разрывало ему душу». Редакция не могла не предвидеть возможности проведения параллелей между изображением в романе мрачных городских трущоб и горя нищеты, восстающей на своих врагов, и жизнью петербургских и — шире — русских униженных и оскорбленных. Она предусмотрительно сопроводила роман своим примечанием в апрельской книжке журнала (т. е. при начале его публикации), в той самой, в которой было напечатано «Положение» о крестьянской реформе: «Печатаем этот интересный роман потому, что в нем живо очерчены быт и страдания рабочего класса в Англии. Из всех европейских государств одна только Россия может смотреть с братским участием на все эти бедствия, на всю эту сословную ненависть, благодаря бога ей самой вовсе неизвестные. Надел крестьян наших землею спасет нас навсегда от этой страшной, повсюду зияющей теперь язвы, которая называется пауперизмом или пролетариатом».

Картины лондонской жизни, запечатленные Достоевским в «Зимних заметках», переплетаются с образами этого романа, так

---

[2] «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. I. М., 1957, стр. 529.

[3] *Л. П. Гроссман.* Достоевский и чартистский роман.— «Вопросы литературы», 1959, № 4, стр. 147—158.

же как с обозрениями Разина, с его противопоставлением лицемерных капиталистов и «исхудалых рабочих, протягивающих к ним за подаянием свои костистые руки», толпящихся у «чудес» всемирной выставки, съехавшихся отовсюду зрителей и умирающих с голода тех, кто создал эти чудеса. Если Разин, подводя итоги своим наблюдениям, так персонифицировал власть капитала: «Капитал никогда себе не изменяет, на одну минуту не теряет своей холодной бездушности, своего непреклонного всеугнетающего деспотизма»,— то Достоевский в итоговом абзаце главы о Лондоне писал о «гордом и мрачном духе», царственно проносящемся над исполинским городом: «Он не тревожится тем, что было ночью, не тревожится и тем, что видит кругом себя днем. Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден. Вера его в себя безгранична... поколебать его самоуверенность невозможно».

Еще более точек соприкосновения между характеристиками империи Луи Наполеона и жизни Парижа в обозрениях Разина и «Заметках» Достоевского. Если при изображении Лондона у обоих звучит мрачный сарказм, создается представление о какой-то демонической силе и злодействе, то рассказ о Париже ведется в тонах почти водевильных. Отсутствие общественной жизни, задушенной полицейским режимом, шпионажем, цензурой, всеподавляющий культ императора, о которых постоянно напоминал Разин, у Достоевского воплощается в картину Парижа «самого нравственного и самого добродетельного города на всем земном шаре». «Что за порядок! Какое благоразумие, какие определенные и прочно установившиеся отношения, как все обеспечено и разлиновано; как все довольны и совершенно счастливы... И что за комфорт, право на удобство и опять-таки какой порядок, какое, так сказать, затишье порядка». Причину, отчего «Париж суживается както охотно, с любовью умаляется, с умилением ежится», читатель легко отгадывает, когда Достоевский сообщает о шпионах в купе вагона, об инструкциях хозяевам отеля по поводу примет их жильцов.

Характеристика буржуа, сила и значение денег, культ императора, военных успехов, парламентская жизнь с выборами и полномочиями председателя, регулируемыми правительством, с ее парламентским красноречием, выступлениями Жюля Фавра и принца Наполеона, полное обессмысливание принципов 1789 года, которые тем не менее продолжают формально фигурировать,— вся эта тематика «Заметок» Достоевского уже была заложена в обозрениях и статьях «Времени». То же можно сказать и о последней главе «Заметок» «Бри-бри и мабишь», содержащей характеристику и анализ современного французского водевиля и мелодрамы. В февральской книге «Времени» за 1862 г. была помещена статья П. А. Бибикова «Как решаются нравственные вопросы французской драмы» («Nos intimes», комедия Сарду). Бибиков вспоминает, какова была комедия в эпоху восхождения буржуа,

когда он был «за народ», был национален, умен, остер, зол, чувствовал силу, готов на бой и назывался не буржуа, а великий, талантливый tiers. Тогда его героем был Бомарше. Позднее буржуазия создала себе свои нравственные основы «на правилах политической экономии, на конторской книге, на силе денег, на любви к порядку, на узком, эгоистическом чувстве самосохранения». Буржуа современный — это «собственник, лавочник, рантье», и он нашел свое лучшее отражение в комедиях своего любимца Скриба. Комедия Сарду вся служит фальшивым ограниченным идеалам мещанского «счастья», выводя богатого благородного старого мужа, молодую благодарную ему жену, типичную ситуацию с отрицательным типом любовника и восстановлением семейного благополучия на радость публике. Отрицается возможность неудовлетворенных страстей, искренних молодых чувств, торжествует «добродетель», «долг» в лице денежного мешка.

В мартовской книжке 1862 г. была помещена статья В. Ососова «Едмон Абу и парижские студенты. (Gaëtana. Drame en 5 actes)». Автор ставит в непосредственную связь появление писателей, которые под воздействием правительственной опеки пишут ничтожные произведения, ублажая публику и развращая ее, с общей характеристикой режима Наполеона III, как режима лавочников, перепуганных социализмом, требовавших «задушить революционные вопли о хлебе и работе» и защитить их богатство и власть.

Как нам кажется, при дальнейшем изучении «Зимних заметок о летних впечатлениях» нельзя не учитывать их связь с текущими публикациями журнала, в выборе и редактировании которых, несомненно, участвовал Ф. М. Достоевский. Нашей целью было указать на их общий материал и направленность в его обработке.

Вспоминая в «Эпохе» об иностранном обозрении во «Времени» и признавая, что оно «далеко не выражало направление журнала», Ф. М. Достоевский, тем не менее, отдавал должное ведущему этот отдел А. Е. Разину: «Политическое обозрение во «Времени» составлялось весьма талантливо и замечательным сотрудником» (т. XIII, стр. 352).

Глава IX

Статьи «ученого содержания»

В программе журнала, опубликованной в конце 1860 г., в качестве третьего пункта стояло: «III. Статьи ученого содержания. Вопросы экономические, финансовые, философские, имеющие современный интерес. Изложение самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся специально этими предметами». Раздел этот, однако, очень скоро перестал существовать как особый, а статьи «ученого содержания» стали печататься или в отделе первом, вместе с художественной литературой, или во втором под общим названием «Критическое обозрение», или даже в отделе пятом — «Смеси».

Установка журнала на статьи, «имеющие современный интерес», т. е. связь с актуальными вопросами русской действительности, объясняет, почему мы приступаем к их рассмотрению тотчас после характеристики отношения журнала к современным событиям внутри и вне России. О ряде статей, относящихся к конкретным вопросам, мы говорили попутно в предшествующих главах. Но о статьях более общего, философского, общественно-политического и экономического характера скажем здесь, так же как о многочисленных исторических статьях, которые в программе не упомянуты. Между тем их обилие придает определенную направленность и выражение журналу.

Нужно отметить, что в журнале не печатались статьи по естественным наукам, технике, сельскому хозяйству и не помещались рецензии на труды по этим специальностям. Совершенно случайным кажется появление рецензии без подписи «По нескольку слов о некоторых хороших книгах» (1861, кн. 12), рецензии Н. Арнольда на «Труды русского энтомологического о-ва в Петербурге» под названием «Гелертерство и практика» (1862, кн. 7) и «Письмо в редакцию «Времени» по поводу цветочной выставки» (1862, кн. 5). Между тем, первой рецензии предпосылается обращение журнала к читателям, стремящимся к знаниям, и обещание в дальнейшем рекомендовать популярные научные книги, просто и интересно изложенные. После этого вступления даются краткие сведения о пяти переводных книгах по географии, ботанике и химии, вышедших в 1860—1861 гг., с характеристикой их

достоинств. Однако эта информация явилась единственной в журнале. Что касается двух других названных публикаций, то в них интересна демократическая позиция авторов. Они требуют сближения науки с жизнью, с интересами масс и высмеивают затраты общественных средств на ненужные народу и практически ничего не дающие работы.

Более внимания журнал оказал географической науке, помещая описания чужих земель со всеми особенностями их климата, пейзажа, населения, его быта и нравов. В ряде книг печатались статьи М. Гамазова «От Босфора до Персидского залива. Из записок, веденных во время четырехлетнего путешествия демаркационной комиссии по Турции и Персии» (1861, кн. 6, 8, 9, 11) и его же «Недоброе место. Письма доктора М. С. ... с южного прибережья Каспия» (1862, кн. 7, 8). Интересно отметить большую рецензию на труды о заселении русскими Дальнего Востока и их действиях, начиная с создания российско-американской компании. Соединяя в себе географический, этнографический и исторический характер, рецензия эта, названная «Подвиги наших колумбов в Восточном океане», в целом направлена на обличение жестокой и корыстной политики наживающихся купеческих предпринимателей и изображение печальных результатов беспощадной эксплуатации ими туземного населения (1861, кн. 9).

Перечисленные статьи и рецензии выявляли гуманную тенденцию журнала, но, касаясь специальных, конкретных вопросов, не могли отразить его позицию в основных течениях современной научной мысли, философской, исторической и экономической. В конечном счете она характеризовалась в годы революционной ситуации борьбой материализма с идеализмом — в философии, революции с самодержавием — в политике, социализма с феодально-крепостническими устоями прошлого и эксплуатацией капиталистического строя — в перспективе русского национального общественного развития. Журнал должен быть занять свое место в этой борьбе.

Приглашая Страхова в сотрудники «Времени», Достоевские знали его, с одной стороны, как автора естественнонаучных работ, а с другой, как защитника немецкой идеалистической философии. Для первоначальных журнальных выступлений Страхова (1859—1860 гг.) были характерны туманность, расплывчатость, двойственность. В нем, несомненно, боролись разные тенденции: православный церковный ортодокс, правый гегельянец сосуществовали в нем с естественником, получившим образование в годы материалистической разработки теории атома и теории Дарвина. В статье «Значение Гегелевой философии в настоящее время» («Светоч», 1860) Страхов писал: «С Гегелем кончен раздор между философами, он возвел философию на степень науки, поставил ее на незыблемое основание, и если его система должна бороться с различными мнениями, то именно потому, что все эти мнения односторонни, исключительны... В самой сущности гегелева

взгляда лежит примирение всех взглядов, учений, их взаимное понимание, их слияние воедино...». Это понимание философии Гегеля Страхов стремился согласовать в работах по естествознанию с результатами опытных наблюдений и перенести рассуждения в сферу отвлеченную, общефилософскую. Так, в «Физиологических письмах» («Русский мир», 1859), говоря о животности в человеке, он доказывал отсутствие ее противоречия с его духовностью; в «Письмах о жизни» («Светоч», 1860) он изучал вопрос об органическом развитии, как круговороте и как прогрессе, «о его условиях и границах»; в статье «Об атомистической теории вещества» («Русский вестник», 1860), отрицая доказанность существования атомов, он признавал, что «в сущности вещества коренятся все его явления, так что, понимая ее, мы могли бы понять и самые явления».

Статью полунаучного, астрономического, полуфилософского характера «Жители планет» Страхов предложил для первого номера «Времени». Она имела эпиграф из Гейне, который восторгался звездами и называл их «жилищем блаженных», на что последовал иронический ответ Гегеля. На 56 страницах, приводя цитаты и ссылки на Лапласа, Гюйгена, Фонтенеля, Вольтера и др., Страхов утверждал, что человек может и даже должен смотреть на свою жизнь так, как будто весь остальной мир пуст и за циклом жизни человечества не последует никакого нового цикла. Он полемизировал с Огюстом Контом, признававшим возможность иных неизвестных человеку чувств и более высоких организаций. Для Страхова человек — совершенство, которое не может быть превзойдено. В утверждениях О. Конта о бесконечном разнообразии мира и о ничтожестве человека в ряду совершенно других возможных явлений Вселенной Страхов видел унижение единого «богоподобного» существа — человека и считал, что потребность открывать новые миры должна быть направлена не на физический мир, а на наш мир, духовный, на его силу и красоту.

Эта довольно сумбурная статья, позднее фигурировавшая в юмористических выступлениях противников «Времени», осталась единственной в журнале по своему большому объему и псевдонаучности. Дальнейшие философские выступления Страхова были скромнее по объемам и строже по выбору материала и методу обработки. Вместе с тем в них определеннее стала выступать воинствующая позиция Страхова против материализма. Страхов в это время занимался переводом «Истории новой философии» Куно Фишера, в которой изложены системы крупнейших западноевропейских философов. Как раз изложение в ней философии Гегеля Ленин находил «очень плохим» [1]. Вся история философии рассматривается К. Фишером как имманентное развитие мысли, вне связи с историческими и социальными условиями. Страхов напе-

---

[1] *В. И. Ленин.* Философские тетради. М., 1947, стр. 151.

чатал во «Времени» два отрывка перевода. К первому «Главные черты истории философии» (1861, кн. 7) редакция дала примечание: «Три лекции, которые мы предлагаем читателям, принадлежат к вводным лекциям первого тома «Истории новой философии» Куно Фишера. Сами по себе они образуют почти строгое целое. Мы взяли их из перевода этой книги, приготовляемой г. Н. Страховым». Публикация содержит в основном краткую характеристику периодов истории философии от древнегреческой до современной.

Вторая публикация называлась «Учение Спинозы о боге (Из «Истории философии» Куно Фишера)» (1861, кн. 9). К ее заглавию примечание, очевидно, сделано Страховым: «Отрывок из первого тома, которой перевод приготовляется к печати. Куно Фишер указывает на это место, как на изложение взгляда, собственно ему принадлежащего». Публикуемый текст содержит защиту Спинозы от обвинения в мнимом атеизме, но признает неприятие им христианства, «личного» бога и дуализма еврейской религии. Бог Спинозы «есть не древний завет, а вечно обновляющийся мир». В этом же тексте несколько страниц посвящено вопросу об атеизме. Он признается «величайшей нелепостью», так как он отрицает высшее логическое понятие — бога.

Первый том перевода «Истории философии» Куно Фишера был рецензирован М. А. Антоновичем в «Современнике» (1862, кн. 2). Эта рецензия вызвала резко отрицательное отношение во «Времени» (1862, № 3) вплоть до обвинений Антоновича в непонимании основ философии. Автора «Времени» особенно задевали бездоказательные упреки Антоновича Куно Фишеру, что он исказил Гегеля, а также замечания, что напрасно Фишер избрал Декарта и Спинозу, а не «великих натуралистов». «Время» отвечало, что естественные науки нам более знакомы, чем философия, но что, очевидно, названные философы не соответствуют интересам «Современника» и что ему вообще не нужна философия и ее история.

Второй том «Истории философии» Куно Фишера в переводе Н. Н. Страхова — «Век немецкого просвещения» — был рецензирован во «Времени» (1863, кн. 2) под общим названием «История мысли». Рецензент, фамилия которого не указана, очень сочувствуя изданному труду, сопоставлял рассматриваемый в книге период с современным развитием мысли и находил сходство в наличии двух направлений: одного — считающего себя просвещенным, но не понимающим религии, истории, искусства, которые подчиняет моральным целям, и другого — чуткого к религии, искусству, тяге к первобытному и с отвращением относящегося к цивилизации. Полемическая суть, направленная против «Современника», явно давала себя знать и в этой рецензии.

Печатая переводы из Куно Фишера, Страхов пропагандировал близкое ему толкование философских систем. Но он также был всегда готов выступать борцом против направлений, враждебных

идеалистической философии. Наиболее почитаемым философом в эти годы в «Современнике» был Джон Стюарт Милль, взгляды которого в 1860—1861 гг. пропагандировали в журнале М. Л. Михайлов и Чернышевский. Страхов поместил в шестой книге за 1861 г. во «Времени» перевод статьи Тэна «Современная английская философия. Джон Стюарт Милль и его система логики». В основе статьи — противопоставление *опыта*, на котором строится теория Милля, *умозрению* — основе немецкой философии, и вывод — необходимость объединения наблюдения и отвлечения, т. е. направления практического и умозрительного. Этот перевод статьи Тэна интересен большим примечанием, которое поместил за своею подписью в конце перевода Н. Н. Страхов. Вероятно, для него он и переводил статью. Страхов сразу указал в примечании, что «у нас хорошо знают Милля» и что его «Логика» есть «крайнее выражение известного миросозерцания». Далее он указывал, что система Милля «ведет прямо к отрицанию мышления, т. е. к полному скептицизму», следствием чего является отказ от понимания мира и представление о мире как о хаосе, в котором нельзя усмотреть никакой связи и гармонии.

Еще до начала работы во «Времени» Страхов выступил в «Светоче» с рецензией «Разбор труда П. Л. Лаврова «Очерки вопросов практической философии. СПб., 1860 г.», в которой особенно восставал против теории эгоизма, как двигателя всеми практическими категориями, и называл истинными двигателями человеческой деятельности идеи. Лавров ответил Страхову в «Отечественных записках» (1860, кн. 12), критикуя его понимание философии Гегеля: философия Гегеля не обнимает процесса жизни, а только обнимает мышление о жизни, и истинная философия нашего времени должна включать в себя гегелизм, но не заключаться в нем. Страхов отвечал Лаврову во второй книжке «Времени» 1861 г. в защиту своего понимания Гегеля. Гегель явился основанием и для его второго полемического выступления — по поводу статьи Антоновича в «Современнике» (1861, кн. 8) «О гегелевской философии («Гегель и его время». Лекции, читанные Р. Гаймом)». Страхов в «Письме в редакцию «Времени».— Об индюшках и о Гегеле» обрушивался на Антоновича, обличая его в полном непонимании философии Гегеля и неверном понимании Гайма, о котором он взялся писать («Время», 1861, кн. 9).

Редакция «Времени», которая очень нуждалась в литературных критиках, побуждала Страхова, по его словам, писать литературные статьи — область, в которой он до сотрудничества во «Времени» не выступал. Очень скоро его критические опыты стали появляться один за другим. Естественно, их пронизывала та же идейная полемика с лагерем «Современника», которая определяла и его философские статьи. Но о них далее — в главах XII и XIII. Здесь же укажем еще на два выступления Страхова, в которых он откликается на научно-философские проблемы.

Первое — отклик на издание «О происхождении видов» Дарвина во французском переводе с примечаниями переводчицы. Назвав статью «Дурные признаки» (1862, кн. 11), Страхов кратко охарактеризовал законы, открытые Дарвином, и писал: «Книга Дарвина представляет великий прогресс, огромный шаг в движении естественных наук». Но он резко возражал против тех выводов, которые делала французская переводчица, применяя эти законы к взаимоотношениям людей и считая вредными и противоестественными чувства сострадания к слабым, самопожертвования. Рассуждая таким образом, переводчица приходила в итоге к проблеме «высших и низших» рас, опасности их смешения. Страхов решительно встал на защиту человеческого достоинства любого человека, равенства всех именно как людей, а не как зоологических особей. Страхов подчеркивал, что «тайна человеческой жизни заключается в ней самой, и мы теряем ее смысл, как скоро не отделяем человека от природы, как скоро ставим его на ряду с ее произведениями и начинаем судить о нем с той же точки зрения, как о животных и растениях».

Враждебное отношение Страхова к учению материалистов в его научных, публицистических и литературных статьях завершилось во «Времени» большой статьей, написанной на ключевую тему «Вещество по учению материалистов» (1863, кн. 3) с эпиграфом из Шеллинга о материи как темнейшей из вещей. «Предмет статьи есть учение материалистов о веществе и цель — опровержение некоторых материалистических взглядов»,— писал Страхов в начале статьи. Не находя у материалистов стройной системы, четкого определения, что понимается ими под материей и силой, он стремится сам дать определение по трудам материалистов. Он разбирал получившие в это время широкое распространение взгляды Бюхнера, основное произведение которого «Сила и материя» вышло в русском переводе в 1860 г., а в 1862 г. его же «Физиологические картины». Критика вульгарного материализма Бюхнера у Страхова сводилась к отрицанию материалистами чистой мысли без представлений, которые для них заменяют мышление. Особо он отмечал неспособность материалиста что-либо доказать относительно бога, «потому что он не может схватить самое это понятие, не может мыслить, а только представлять». Представления «в области ума составляют нечто темное, тяжелое и неподвижное». Это одна из форм мышления. Чтобы достичь истины, нужно приобрести «мышление чистое, нормальное, всюду и для всех одинаковое, неизменное и единственное». А для этого «нужно учиться мыслить». Так заканчивал он статью.

Как бы в противовес страховской воинствующей антиматериалистической пропаганде «Время» помещало и статьи, характеризующие иные направления философской мысли. В 1861 г. вышел перевод «Физиологии обыденной жизни» Г. Г. Льюиса, и «Время» (1861, кн. 11) напечатало сочувственную рецензию, в которой говорилось о большой потребности в популярных книгах по естест-

вознанию, отмечалась строгая научность, осторожность утверждений Льюиса. Автор рецензии особенно ценил, что, по Льюису, физика и химия не могут вполне объяснить «особенных законов жизни», что нельзя на органический мир механически переносить понятий силы, причины, действия, выработанных для неорганической природы,— это от XVIII в. Органическое развитие требует новых понятий, новых приемов мысли, проникновения в «живую глубину», а не в мертвый механизм. Нам не ясно, кто автор этой рецензии во «Времени», но надо отметить, что он счел нужным в ней полемизировать с Чернышевским, используя уже появившиеся статьи в «Отечественных записках» и «Русском вестнике», которые не доверяют согласию Чернышевского с Льюисом и предсказывают его расхождение как с ним, так и с Боклем, Миллем и Дарвином.

В июне 1862 г. «Время» напечатало статью Владимира Фукса «Естественноисторический метод философии. (По Тэну)». Статья начинается с описания исследовательской работы естествоиспытателя, производимой им для изучения жизненных процессов, их причин, направления и результатов: «Отвлечение, гипотеза, поверка — таковы три шага метода». В нем отсутствуют «темные, отвлеченные слова», метафизические понятия. Перенося этот метод из мира испытателей природы «в мир нравственный», мы освобождаемся от неопределенных вещей, пустых слов и переходим к анализу фактов. В. Фукс прикладывает этот естествоиспытательный метод к изучению «Мертвых душ» Гоголя. Ставя множество вопросов о создании произведения, особенностях его стиля, причинах, их вызвавших, и т. д., замечает: «Вы видите, что здесь предстоит такой же анализ, какой мы сделаем, говоря о пищеварении». Изучив таким путем истории всех народов, все науки естественные и нравственные, мы заменим бесконечное разнообразие фактов формулами, которые помогут найти «один первоначальный факт, тот, из которого все выводятся и который все их порождает. Мы открываем единство вселенной и что его производит». То, что немецкая философия пыталась постигнуть «при помощи геометрического построения», одним скачком, надо завоевать другим путем, путем опыта. Но суть едина — постигнуть «вершину всех вещей», которая «выражает все» и в которой «все выражается»: и материя, и мысль, и жизнь, и смерть. «Всякая жизнь есть одна из ее мгновений, всякое существо — одна из ее форм».

Как в области философии, так и в политической экономии «Время» старалось не только обсуждать частные проблемы, связанные с текущим моментом, но и давать общие исторические статьи, содействующие введению читателя в развитие науки и существующие в ней направления. В 1860 г. вышел перевод М. П. Щепкина сочинения Бруно Гильдебранда «Политическая экономия настоящего и будущего». В третьей книге 1861 г. «Время» поместило ее разбор, сделанный безымянным, но очень

эрудированным и прогрессивным специалистом, весьма критически настроенным к немецкому вульгарному буржуазному экономисту.

Одобряя исторический очерк политической экономии, данный Гильдебрандом, рецензент особенно внимательно остановился на отношении автора книги к проблемам социализма и коммунизма. Он отметил, что Гильдебранд «не только не отвергает великой социальной задачи нового времени, но даже считает ее величайшей задачей, какую когда-либо предстояло решить человечеству», видит ее начало в самосознании рабочего класса, «которое новейшая промышленность пробудила в рабочих». Но констатируя этот факт, рецензент обнаружил у Гильдебранда полную путаницу в понимании социальных учений и несправедливость к ним. Прежде всего Гильдебранд соединял вместе под именем «социальной теории хозяйства» учения социалистов и коммунистов, доктрины которых отличаются не только названиями (что тоже имеет значение), но и резкими существенными свойствами. Явно сочувствуя социалистам (конечно, утопистам) и осуждая коммунизм, понимаемый как проповедь совершенной общности имуществ, рецензент указывал на то, что социализм не отрицает частной собственности и стремится не к ее уничтожению, а только к тесному соединению частных хозяйств в ассоциации, и доказывал пользу их более тесной органической связи между собою.

В подкрепление своей мысли рецензент ссылался на опыт как «разного рода современных товариществ и ассоциаций капитала, так еще более в трудовых и чисто производительных ассоциациях западных работников». Видя в коммунизме крайности отрицательного отношения в разных областях учения, рецензент противопоставлял ему нравственные идеи, руководящие социалистами, согласующими интересы индивидуальной личности с благосостоянием общества. Он упрекал Гильдебранда в том, что он не упомянул о значении учения Фурье об ассоциациях и распределении труда и об учении Оуэна, «что в совокупности составляет самую сущность всего европейского социализма в положительном его значении для экономической науки». Не согласен рецензент и с критикой Гильдебрандом Фридриха Энгельса, его книги «Положение рабочего класса в Англии». По мнению автора рецензии, Энгельс является «даровитейшим» и «ученейшим из всех немецких социалистов», которые сделали полный разбор политической экономии, основанной школою Адама Смита. Он считает «сомнительными» выводы Гильдебранда, который, не принимая статистических данных Энгельса, приходит к иным итогам, якобы свидетельствующим об улучшающихся условиях существования рабочего класса в Европе. Рецензент протестует против неверного представления об Англии в книге Гильдебранда: «Заслонить социальные ее бедствия великолепным политическим устройством никогда не было и не будет разумным».

Свою рецензию автор заканчивал прямою пропагандой социалистических ассоциаций. На признания Гильдебранда, что современность стремится «к основанию могучего капитала, который может иметь самое гибельное влияние, если только не встретит сильного противодействия», рецензент как бы ему отвечает: «Но имеем мы полное право сказать в настоящее время, если противодействие владычеству капиталов и всем злоупотреблениям денежного хозяйства — роковая необходимость на западе, то где же нам искать этого противодействия, как не в ассоциациях капитала и труда, не в органических, тесных соединениях между собою? А такие соединения только и возможны в форме более или менее совокупных хозяйств, т. е. ассоциаций».

Приведем отзыв советского экономиста об этой статье журнала Достоевских: «Рецензия в журнале «Время» представляет собой большой интерес не только как один из ранних откликов в русской журналистике на книгу Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Она дает также представление о тех экономических идеях, под влиянием которых находились в то время известный русский писатель Ф. Достоевский и другие группировавшиеся вокруг журнала деятели литературы и публицистики» [2].

Русскому читателю в эпоху предстоящей коренной ломки социально-экономического уклада, конечно, было важно получить сведения о разном опыте, который представляла в этом плане западноевропейская жизнь. И мы видим, что «Время» помещает серьезные статьи, которые удовлетворяют этой потребности.

Компилятивную статью напечатал тот же В. Фукс в седьмой книге 1861 г. под названием «Современное состояние швейцарской демократии». Дав небольшой исторический очерк, Фукс главным образом остановился на характеристике торжества в Женеве с 1846 г. радикальной партии, установления демократического строя и его положительных политических и экономических сторон. Прославляя любовь к независимости, готовность встать на ее защиту, Фукс отмечал широкое развитие общественной жизни, рост благосостояния населения, образованности. Возражая консерваторам, которые обвиняли радикалов в социализме и космополитизме, Фукс горячо писал: «Из слов автора выходит, что для республиканской гордости следовало бы пожертвовать счастием целого класса работников, наиболее достойного уважения и сочувствия...»

В защиту и пропаганду рабочих ассоциаций была помещена переводная статья без указания автора и переводчика «Густав Вернер и его дом братства в Рейтлинге». Это рассказ о бывшем пасторе, ставшем организатором целой сети ассоциаций разного

---

[2] *А. Л. Реуэль.* Русская экономическая мысль 60—70-х годов XIX века и марксизм. М., Госполитиздат, 1956, стр. 203.

типа (полевые хозяйства, скотоводческие, бумажные и другие фабрики), в которых трудятся его воспитанники (свыше 800). Начало этой деятельности коренится в «брожении умов» 1848 года.: «Идеи свои, выработанные в это время, он осуществил во вторую эпоху своей деятельности. На фабричную промышленность, принимавшую все бо́льшие и бо́льшие размеры и так вредно действующую на нравственность рабочего сословия, Вернер смотрел, с одной стороны, как на великую опасность для человеческого общества, а с другой — как на единственное средство для излечения болезненного состояния его. Товарищество (ассоциация) в работах — вот он, этот лозунг нашего времени, и важнейшая задача новой эпохи состоит в том, чтобы найти для этого товарищества такую форму, которая удовлетворяла бы всем потребностям как всего общества, так и каждой личности».

Прежде чем говорить о третьей статье на тему о социальном состоянии современной Европы, надо сказать несколько слов о ее авторе, Дмитрии Федоровиче Щеглове, одном из наиболее ярких представителей радикально настроенной молодежи во «Времени».

В одном из писем к Страхову осенью 1861 г. Ап. Григорьев писал: «Чернышевские, Щегловы, даже Разины — люди очень честные и истинные продукты нашего времени, но... А уж о Каткове и английской школе загнешь *но* еще похуже! В сущности мы бродим пока во тьме тьмущей. Порывы к свету важны только как заявления нужды света». Имя Щеглова и Разина Григорьев поставил рядом с именем Чернышевского, конечно, только как знак общей направленности в поисках «света» через революционность и материализм, для Григорьева неприемлемые. Характеристику Щеглова в этом отношении мы находим в дневниках Добролюбова, его товарища по Педагогическому институту, с которым он постоянно лично общался и переписывался после его окончания. В 1854 г. Добролюбов дал Щеглову такую оценку: «Щеглов... человек очень умный и бойкий, прекрасно говорит и имеет стремления, до которых еще не может подняться большая часть наших студентов. Он много видел людей и света, имеет большую любознательность, даже любопытство, и стремится уяснить себе высокие вопросы о конечных причинах и целях бытия. В своих изысканиях и выводах он попадает иногда на ложный путь, но тем не менее нельзя не уважать в нем человека мыслящего, хотящего жить сознательно, а не бессмысленно...» «Закадычная» дружба Добролюбова и Щеглова уже к 1857 г. дала трещину. Обнаружились серьезные расхождения и в общественных взглядах и в характерах. Еще в дневнике 1855 г. Добролюбов зафиксировал свое отличие от Щеглова, захваченного, очевидно, революционными идеями: «К несчастью — я очень ясно вижу и свое настоящее положение и положение русского народа в эту минуту и потому не могу увлекаться обольстительными мечтами, какие позволяет себе Щеглов. Я чувствую,

что реформатором, революционером я не призван быть...» В дневнике 1857 г. дан уже полный анализ идейных расхождений с Щегловым: «С Щегловым у нас общего только честность стремлений, да и то немногих. В последних целях мы расходимся. Я — отчаянный социалист, хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество с равными правами и общим имуществом всех членов; а он — революционер, полный ненависти ко всякой власти над ним, но признающий необходимым неравенство прав и состояний даже в высшем идеале человечества и восстающий против власти только потому, кажется, что видит ее нелепость status quo и признает себя выше ее... Идеал его — Северо-Американские Штаты». В дальнейших записях Добролюбов ставил Щеглову в вину его презрение к большинству окружающих его людей, отсутствие у него сильной любви к высшим целям человечеста, его гордость и надменность «до самообожания». Отметил Добролюбов и невысокую его оценку Чернышевским, как «бойкого гимназиста», «узко» смотрящего.

Щеглов был учителем истории, писал в разных журналах и, как характеризовал его Боборыкин, «стал известным своими статьями о системах социалистов и коммунистов,— разумеется в духе буржуазной критики» [3].

Однако отход Щеглова на реакционные позиции произошел значительно позднее. В 1861 г., когда он сотрудничал во «Времени», он выступал, как решительный противник «Русского вестника» и сторонник «Современника» и его социальных идей, хотя и полемизировал с Чернышевским. Первым его выступлением во «Времени» (1861, кн. 5 и 6) была полемика с Леонтьевым по поводу его статьи «О судьбе землевладельческих классов в Риме» («Русский вестник», 1861, кн. I). Статья Щеглова не оставляет сомнения, что спор идет вовсе не о землевладении в Риме в первые века нашей эры, не о реформе Лициния, а о только что проведенной крестьянской реформе в России. Он прямо бросает упрек Леонтьеву по поводу взгляда на крестьян: «способность к повиновению и неспособность к самоуправлению — это стена, за которую земледельческий класс г. Леонтьева не перейдет». Разбирая положение плебея в Древнем Риме и сопоставляя его с положением кубанских, терских и уральских казаков, Щеглов и детали реформы Лициния сопоставляет с постановлением 19 февраля. Бедственное положение плебеев Щеглов целиком относит за счет их экономической беззащитности.

Осуждая корыстное поведение оптиматов и Сената, Щеглов восхвалял гражданские достоинства народных масс и приветствовал законы, предложенные Гракхами,— наделение большими участками земледельцев, дарования им прав римских граждан,

---

[3] *В. Княжинин.*— В кн. «А. А. Григорьев», стр 283; *Н. А. Добролюбов.* Собрание сочинений, т. VIII, стр. 463, 531; т. IX, стр. 126; *П. Д. Боборыкин.* Воспоминания, т. 1, стр. 337.

изменение прав Сената и других правительственных органов. Явно откликаясь на актуальные темы русской современности, Щеглов обвинял Леонтьева в том, что он хочет ввести в России порядки, в свое время погубившие Рим, а сейчас отрицательно воздействующие на положение Англии, а именно: сосредоточение огромных имений в руках небольшого числа богачей землевладельцев, появление миллионов пролетариев, которые принуждены эмигрировать. Ложность экономической теории, которой придерживается Леонтьев, ведет к ошибочности всех его суждений и очень ясно обнаруживает, что его позиции — позиции корыстно заинтересованных современных «оптиматов». Он заканчивал статью, явно говоря о современности: «Ни одна реформа, действительно солидная и полезная для народа, не обошлась без элемента экономического, или в другом виде, чтоб какая-нибудь реформа могла иметь значение и полезные и прочные результаты, нужно чтобы она обеспечила материальное состояние большинства народа, чтобы она была далека от того экономического квиэтизма, которым некоторые, подобно римским оптиматам, прикрывают свои виды и который другие принимают как экономическую норму, благодаря или нежеланию или неумению пользоваться уроками истории и также благодаря неумению анализировать сущность причины и следствия явлений из жизни народов».

Статья Щеглова вызвала восторг даже у неодобрительно относившегося к его идеологической позиции Ап. Григорьева, который в письме к Страхову от 12 августа 1861 г. посылал поклон автору статьи за то, что он, «молодец», отделал «горбача Леонтьева — да как...!»

Вторая статья Щеглова, помещенная во «Времени», представляет собой переложение с большими цитатами и со своими критическими замечаниями книги Жюля Симона «Работница» («L'ouvrière»). Щегловым статья названа «Семейство в рабочем классе во Франции» (1861, кн. 11), так как касается не только судьбы работницы, а всего семейного уклада промышленных рабочих. Высоко ценя Ж. Симона, занимающегося вопросами нравственными в связи с экономикой, Щеглов отмечал однако: «Ж. Симон далеко не социалист, в том смысле как обыкновенно понимается это слово. Он даже плохо знаком с социальными теориями, которые обыкновенно подвергались тому упреку, что они представляют только одну, дурную сторону современной промышленности».

«Лучшим мыслителем нашего времени» Щеглов считал Прудона, который, анализируя результаты всех экономических усовершенствований, изобретений, доходит до фатальной мысли, что «все в экономическом мире против бедного работника». Щеглов показывал, что зависимость рабочего от машины, от любого буржуа, от конкуренции разоблачена автором «Экономических противоречий». Указывал Щеглов и на ту классовую ненависть, ко-

торая накапливается в рабочих в результате их жизни на грани нищеты, в постоянной зависимости от безработицы, кризисов, болезней и которая становится ясна, «если всмотреться в физиономию рабочего, прислушаться к тону его разговора, уловить его взгляд на то, что его окружает. До известного времени других результатов заметить нельзя и можно их частью предугадывать, и Ж. Симон на это мало обращает внимания. В своей книге он только в одном месте глухо отозвался об этой ненависти, которую рабочие имеют к богатым классам, и упомянул о том, что при этом положении дел недалеко от возмущения: «Но этот факт — вражду рабочих к высшим классам, их ненависть к ним — отрицать нельзя». И далее, говоря о тех мерах, которые принимаются против этого «коренного недуга», Щеглов всю вину возлагает на жестокость, черствость буржуа, охраняющего свои прерогативы и идущего на открытую войну с народом. Роскошная жизнь буржуазии «возбуждает мужчину к ненависти и бунту, а женщин вовлекает в разврат».

Как средство борьбы у нас против этой язвы европейской жизни Щеглов приветствовал соединение промышленности с сельским хозяйством (см. выше, гл V), хотя понимал, что, охраняя крестьян от страданий пролетариата, эта система не выгодна для предпринимателей. Приводил он и другое средство: «Если бы вместо того, чтобы ломать да строить дома и обшивать корабли железом, или строить ненужные военные порты, тратили продукт народного труда на пользу народа,— не много времени потребовалось бы на устройство быта рабочего класса». Только энергичной деятельностью можно бороться со злом, а не либеральными фразами, в противном случае «они дождутся чего-нибудь такого, что им не понравится. Правительство Франции это понимает и старается во всяком случае успокаивать народ».

Книга Ж. Симона вызвала Щеглова на новое обличение позиции «Русского вестника». Отмечая, что журнал Каткова как бы сочувствует положению пролетариата и его нуждам и находит известный выход в организации ассоциаций, Щеглов в то же время видит цель журнала в том, чтобы «увеличивать богатство в таких размерах, что посредством более справедливого распределения общественного достояния, можно доставить более значительную долю этого достояния труду, *не уменьшая доли, законно следующей капиталу*». Щеглов подчеркивал последние слова и возмущенно писал: «Как будто есть определенная доля, законно следующая капиталу? Ведь это противоречит учению всех без исключения школ политической экономии».

Статья Щеглова — яркий пример того, как в журнале под видом компиляции и пересказа иностранной книги проводилась оценка современного политического и экономического положения России и характеризовалась борьба вокруг его изменения. Заключал статью Щеглов пожеланием, которое можно рассматривать как поправку к «Ряду статей...» Достоевского, печатавшихся в

1861 г. Замечая, что Ж. Симон мало говорит о необходимом техническом образовании народа, Щеглов требовал: «Нам нужно и общее гуманное образование, но нам нужно не менее то образование народа, которое должно быть результатом его соприкосновения с образованным классом и со властями».

Внимание и уважение, которое выразил в этой статье к Прудону Щеглов, было до какой-то степени характерно для самой редакции «Времени». Когда П. Бибиков напечатал статью «Феноменология войны» («La guerre et la paix». Сочинение Прудона)», 1861 г., кн. 11, с некоторыми критическими замечаниями, то редакция журнала сделала к ней следующее примечание: «Не разделяя всех мнений этой прекрасной статьи, мы с удовольствием печатаем ее, как изложение сущности новой любопытной книги знаменитого французского публициста. Ред.».

То же преклонение перед авторитетом Прудона нашло выражение в большой статье Владимира Фукса «О налоге в западноевропейских государствах с точки зрения теории (Théorie de l'impôt, par Proudhon)» (1862, кн. 1 и 3). В предисловии к изложению основных мыслей Прудона В. Фукс, рассуждая об анархии, которая господствует в социально-экономических взглядах, и признавая социальные утопии ложными, считал основной принцип социализма — моральное и нравственное благосостояние — справедливым критерием для всякого политического действия. Особенно неудовлетворительно решается вопрос о налоге. Работа Прудона получила премию на конкурсе, объявленном в Швейцарии на эту тему, и это при ненависти к его имени как монархистов, так и республиканцев, доктринеров и социалистов, бюрократов и мещан. В. Фукс восхищается смелостью Прудона, его отрицанием, выросшим на революционной почве, его глубоким изучением общества, и называет его произведение замечательным.

Кратко характеризуя далее, по Прудону, историю налогов, понимание налога по новейшему праву, его различные виды, он особенно подчеркивает необходимость правила — «безграничное уменьшение налога», а для этого возможное сокращение непроизводительных расходов в государственном бюджете. Что касается основного вопроса о распределении налогов, Фукс подчеркивает трудность проведения принципа пропорциональности, хотя «принцип всеобщности и пропорциональности был одною из великих побед революции». Он писал: «Прудон первый указал, что при настоящем состоянии общества, при неравенстве состояний, пропорциональность налога (предполагая, что она могла бы осуществиться) будет равносильна прогрессивности налога в обратном смысле способностей платящих, т. е. что она ведет прямо к противоречию».

Далее он излагал доказательства Прудона, и особенно его возражения против налогов на предметы потребления, которые ведут к равной подушной подати, «именно к тому, чего хотели

прежде всего избежать». Надо отметить, что В. Фукс, как и в других своих статьях, постоянно в той или иной форме затрагивал проблемы русской текущей действительности, для которой проблема реформы налоговой системы была в 1862 г. чрезвычайно актуальна. Изложение рассуждений Прудона и самого автора статьи вводило читателя в понимание разных сторон предпринимаемых изменений.

Прудону было оказано журналом внимание и сообщением некоторых сведений о его личности. Евгения Тур рассказала о встрече с ним в Брюсселе с таким общим итогом: «Впечатление, вынесенное мною из двухчасового слушания беседы Прудона, не было приятно. Резкость суждений, угловатость приемов, некоторая грубость тона, самонадеянность, самоуверенность и заносчивость напоминали самоучку-крестьянина, дошедшего до выработанных результатов, каковы бы они ни были, одним *собственным умом.* Отсюда ничем не умеренная резкость и непреложность приговоров!» («Шесть недель в гостях и дома», 1862, кн. 4).

Как в области философии и политической экономии «Время» стремилось ориентировать читателя в ведущих течениях европейской мысли (Куно Фишер, Дарвин, Льюис, Д. С. Милль, Ф. Энгельс, Прудон), так и в области изучения исторического процесса, которому журнал отдавал много места, он знакомил с современными теориями и практическим их применением в европейской науке. Прежде всего назовем напечатанный в № 11 за 1861 г. перевод статьи Г. Г. Гервинуса «Теоретический очерк истории».

Имя Гервинуса было очень популярно среди либеральных кругов, так как в 1848—1849 гг. он ратовал за конституцию и в годы реакции выступал против прусского шовинизма. Переводом его сочинений и редакцией их издания занимался у нас Антонович, а Чернышевский, находясь в Петропавловской крепости в первой половине 1863 г., писал примечания к переводу «Введения в историю XIX века» Гервинуса[4]. Г. Г. Гервинус был создателем культурно-исторической школы в немецком литературоведении.

По данным гонорарной книги мы можем считать, что переводчиком статьи во «Времени» был Н. П. Барсов, в будущем профессор и автор многих исторических и педагогических трудов, 22 летний студент или только что окончивший университет предпослал переводу очень интересное предисловие «От переводчика», в котором так охарактеризовал немецкого историка: Гервинус «одним из первых был увлечен стремлением новых идей, один из первых принял то направление сознательности, разумного отрицания и критики, которое в настоящее время из области знания переходит

---

[4] *Н. Г. Чернышевский.* Полное собрание сочинений, т. X. М., 1939, стр. 454—479.

уже в практическую жизнь, разветвляется и распространяется в ней неудержимым потоком и обещает новый великий переворот в жизни человеческой. Это обстоятельство придает ему характер свежести, живости, молодости... он ученый мыслитель и вместе с тем общественный деятель; в каждой почти строке его говорит социальное чувство. Невольно приходит на мысль, что автор, вдумываясь в задачи истории, как бы соразмеряет свои силы для борьбы с миром, уже обреченным на гибель, для проповеди новых начал, как бы вымеряет оружие, выбранное им в жизни».

В переведенной статье Гервинус выясняет современные условия, предъявляемые к историку, границы, отделяющие его от философа и поэта, и вместе с тем связи с ними. Проследив становление исторической науки от фактических летописей к прагматической истории средних и позднейших веков, он характеризует новейшее направление как поиск руководящей идеи, проходящей через всю историю человечества в его стремлении к просвещению, свободе, человеческим правам и свержению великого гнета, противостоящего этому стремлению. Для историков этого направления важно участие в активной политической жизни, в истории современной духовной культуры, в изучении общественных отношений. Дело историка не клеймить, не плакать, а «в беспорядочном хаосе событий» мудро разгадывать истину в развитии идеи.

Переводчик статьи Гервинуса Барсов скоро предложил «Времени» статью, посвященную английскому историку Боклю, имя которого уже пользовалось в России широкой известностью. Чернышевский в своих примечаниях к переводу Гервинуса, отмечая у него «спутанность понятий в определении роли абсолютизма», писал о Бокле: «Взгляд более верный, хотя все еще не совершенно свободный от прежнего заблуждения, высказан, например, Боклем в «Истории английской цивилизации». Не зная, удастся ли нам написать к этой книге Гервинуса дополнение, которые мы желали бы написать, мы пока просим читателя обратить внимание на коренную мысль Бокля, что история движется развитием знания. Если дополним это верное понятие политико-экономическим принципом, по которому и умственное развитие, как политическое и всякое другое, зависит от обстоятельств экономической жизни, то получим полную истину: развитие двигалось успехами знания, которые преимущественно обусловливались развитием трудовой жизни и средств материального существования» [5].

Статья «О значении Бокля. «История цивилизации в Англии» («Время» 1862, кн. 6) начиналась с сообщения о скоропостижной смерти Бокля 31 мая 1862 г., но писалась она при его жизни и в ней выражалось намерение следить за дальнейшим развитием мыслей ученого. Вспоминая свою статью о Гервинусе, Барсов и здесь считал главной задачей историка вскрывать законы исторической жизни и смысл хода исторических событий. Книга Бокля

---

[5] *Н. Г. Чернышевский.* Полное собрание сочинений, т. X, стр. 441.

ответила «одной из самых живых тенденций в общественной жизни». Повторяя мысль о необходимости историку не отрываться от нравственной жизни общества, его живой мысли, иначе его знания будут бесплодны и мертвенны, Барсов высоко ценил Бокля за то, что он «сознательно стоит на стороне тех идей, которые неудержимо расходятся в настоящее время во всех слоях общества и которые готовят великий переворот в истории».

Барсов ценил Бокля как представителя эпохи, которая борется за распространение образованности и благосостояния, за «низложение неправых узурпаций, опирающихся на терпение народа и его незнание», за внесение сознания и здравой критики во все сферы жизни. Особенно много места отводил Барсов анализу проблемы народности в труде Бокля и отличию в этом отношении русских от англичан. Отражая, до какой-то степени, «почвеннические» установки журнала, Барсов писал, что народность у нас лишь цель достижения «для лучших ученых и литераторов, что образованный класс не знает интересов народа и что в силу исторических условий у него «сложились задатки почти полного и безвозвратного отчуждения от народа, невозможность слить свою жизнь с народною жизнью».

Далее Барсов отмечал, что Бокль отвергает *врожденность* национального характера. Начала у всех народов одни, но исторические условия, в которых они формируются, приводят к различным результатам. «Существенным производителем» истории всегда была демократия, ее борьба с аристократией, с правящим духовенством, она играла значительную роль во всех крупнейших европейских исторических событиях, ей и принадлежит первое место в создании народного характера». Не замечая ограниченности и тенденциозности либерализма Бокля, Барсов видит в его «Истории цивилизации в Англии» историю страны, где «прогресс народа наименее нарушается силою привилегированных классов, влянием сект и произвола».

Очень коротко в заключение Барсов излагал основную идею Бокля, о том, что двигателем прогресса является интеллект и его законы, и отсюда следует значение европейской цивилизации, подчинившей природу и накопившей больше познаний. Автор статьи совершенно чужд критики Бокля, не учитывавшего закона экономического развития, на что указывал Чернышевский в приведенной выше цитате. Отметим, что Барсов рассматривал свою статью лишь как «несколько общих заметок» о Бокле, или, лучше, о его направлении, и надеялся вернуться к разбору «его научных начал».

«Время» вернулось к Боклю во второй книге журнала за 1863 г., напечатав в переводе Н. Шульгина на 66 страницах «Очерки истории умственного развития испанского народа от пятого века до середины девятнадцатого (Из сочинения Бокля: «История цивилизации Англии»)». Выбранный очерк очень ярко демонстрировал основные положения Бокля. Сперва проводилась

мысль, что условия развития народа создают в нем основные предпосылки, которые не может преодолеть никакое законодательство, потом на истории Испании демонстрировалось практическое развитие этой идеи. Как естественное следствие пастушеской жизни, полной суеверий, длительной борьбы с вестготами, а потом с арабами за религию, рассматривается нищета и невежество испанского народа, усиление и обогащение церкви, преклонение перед традициями, отрицательное отношение к образованию и далее, как производное,— инквизиция, придворное рыцарство и полное отсутствие интереса к промышленности.

На многих страницах далее Бокль старался доказать, что внутренняя неподготовленность народа срывала все попытки отдельных просвещенных представителей власти направить развитие страны к культурному земледелию и промышленности, и приходил к таким выводам: «Никакая политическая реформа не может произвести истинного блага, пока сам народ не пожелает принять ее... не будет истинного прогресса, пока прогресс не явится самопроизвольно. Движение тогда только будет действительным, когда произойдет изнутри, а не извне; оно должно исходить от общих причин, действующих в целой стране, а не от личной воли нескольких отдельных лиц...» И далее: «Реформа не может произвести действительного блага, если она не будет делом общественного мнения и пока народ не возьмет сам на себя инициативы».

Эти строки печатались в журнале в то время, как его читатели жили в атмосфере готовящихся «сверху» реформ, которые воплощались в жизнь с пролитием народной крови. Так или иначе исторические статьи «Времени» приводили читателя к окружавшей его действительности, ее оценке и раздумьям о ней. Это особенно ясно обнаружилось в рассмотренной выше статье Щеглова «Экономические реформы Рима». Но это характеризует в большей или меньшей степени и другие статьи. Можно думать, что помещение еще одной публикации, относящейся к римской истории, объяснялось тоже какими-то перекличками с современностью.

В книгах четвертой и шестой 1862 г. были напечатаны «Лекции из средней истории» Грановского, взятые «на выдержку» из подготавливаемого к печати его бывшими студентами курса и составляющие вместе «эпоху римских императоров». Конечно, здесь играло роль особое отношение основного ядра «Времени», людей 40-х годов, к имени Грановского, недавний выход из печати его сочинений, рецензии на которые Чернышевского были напечатаны в 1856—1857 гг. в «Современнике». Выбранные лекции насыщены изображениями борьбы аристократии и демократии, причем приводились параллели с XIX в. (пролетарии, социалисты), описаниями богатого меньшинства, рабов привилегированных и рабов полудиких и ожесточенных, атмосфера постоянного ожидания и боязни бунта и восстание Спартака, сосредоточение земель в руках немногих землевладельцев-аристократов и т. д. Очень возможно, что эта публикация была инспирирована

Щегловым в порядке журнальной полемики со статьей Леонтьева.

Своеобразным продолжением одной из работ Грановского явилась помещенная во «Времени» (1862, кн. 7) большая статья Вл. Фукса «Состояние исторической науки и новейшие исторические труды во Франции». В 1847—1848 гг. Грановский поместил в «Современнике» две статьи под названием «Историческая литература во Франции и Германии в 1847 году». Констатируя большой интерес к историческим сочинениям во Франции, В. Фукс объяснял это условиями ее современной общественной жизни: власть отстранила общество от политики, литература и искусство обратились в промышленность, умственное движение обратилось к истории.

Невозможность говорить о настоящем заставляла демократически настроенных ученых с горячностью изучать народное движение в прошлом, и в этом ощущается связь этих исследований с современностью. Бегло охарактеризовав труды Ог. Тьерри, В. Фукс особенно остановился на значении Мишле и его «Истории французской революции», высоко оценив резко критический характер отзывов об исторических деятелях XVI и XVII вв., отсутствие узкого французского патриотизма. Но, одобряя страстность оценок, умение дать яркие портреты, схватить дух эпохи, автор статьи признавал, что Мишле лишен общей точки зрения, понимания значения и перспектив эпохи и объективных выводов.

Характерной особенностью историков последнего времени, по мнению В. Фукса, является превращение истории в нечто подобное мемуарам, где государственная жизнь смешивается с частной, великое — со смешным. В этой полуистории, полуромане (Минье, Кузен и др.) Фукса возмущает любование аристократической жизнью Франции XVII в. и полное игнорирование ее отрицательных сторон — казнокрадства, придворных интриг и т. п. Приспособляя исторические книги к вкусам современного полусвета на манер романов Фелье и драм Дюма-сына, историки не вспоминают о «крайнем невежестве масс и их материальном и нравственном страдании», что, по его мнению, объясняется «теперешним безотрадным положением Франции».

Заключение статьи В. Фукс посвятил вопросу изучения во Франции истории революции, которое неуклонно продолжается. Однако, писал он, «как ни ярко блестит в истории человечества 1789 год, но значение его, причины и следствия до сих пор покрыты мраком». А между тем все позднейшие передовые движения в народной жизни Европы являются результатом того толчка, который был дан в конце XVIII в., и борьбу партий «горы» и «жиронды» можно проследить вплоть до 2 декабря 1852 г.

Как было не раз выше отмечено, статьи «ученого содержания» постоянно увязывались и перекликались с актуальными проблемами современной русской действительности. Но позиция

журнала не была в них последовательна, однородна. Ее скорее можно назвать эклектичной. В то время как Страхов пропагандировал идеалистическую философию, полемизировал по философским вопросам с Антоновичем и Лавровым, обличал материалистов в неумении мыслить, Щеглов нападал на «Русский вестник» за его защиту крупного землевладения, ведущего к обезземеливанию крестьян, за его признание «законности» грабежа капиталистами рабочих и предрекал классовые бои между последними и их хозяевами. Рядом с мрачными картинами нравственного падения пролетариата журнал помещал отрадные сведения о «швейцарской демократии», об «ассоциациях» и «товариществах» как лозунге нового времени в организации сельских и фабричных работ. В статьях «ученого содержания» мы не находим никакого развития «почвеннических» идей, а тем менее близости славянофильству. Скорее можно говорить о повышенном интересе журнала к идейной жизни Запада, чем и объясняется постоянное соприкосновение статей «Времени» с темами «Современника» и «Русского вестника».

Мы не касались в этой главе группы статей, в которых нетрудно обнаружить скрытый спор со славянофильским «Днем». Это статьи по русской истории, привлекшей большое внимание журнала братьев Достоевских.

Глава X

Русская история в журнале «Время»

Редакция очень щедро предоставляла страницы журнала для публикации документов, связанных с русской историей, специальных исследований и обширных рецензий па исторические труды. Изучая характер всего этого материала, нельзя не прийти к выводу, что причиной являлась возможность именно в нем развивать и защищать основополагающую идею журнала — «почвенничество», сближение с народом оторваннной от него образованием части общества.

Обобщая разнообразные публикации, можно говорить о двух больших темах, которые так или иначе находили отражение в напечатанных статьях. Это, во-первых, стремление проникнуть в мировоззрение и идеалы простого народа, являющиеся причиной неприятия им европейской цивилизации. И, во-вторых, история европейской цивилизации в России, вскрывающая те отрицательные ее стороны, которые и должны были привести к отрыву общества от народа.

Первая тема нашла выражение, с одной стороны, в особом интересе журнала к русскому сектантству, его идеологии, возникновению и распространению, с другой — к истории общинного уклада в жизни русского народа. Интерес к истории раскола нельзя не связать с тем значением, которое придавал Ф. М. Достоевский изучению раскола как «самого крупного явления» в русской жизни. В статье «Два лагеря теоретиков» (1862, кн. 2) он писал: «На что указывает нам русский раскол?.. Замечательно, что ни славянофилы, ни западники не могут, как должно, оценить такого крупного явления в нашей исторической жизни. Это, конечно, происходит оттого, что они теоретики. По их теории действительно не выходит, чтоб в расколе было что-нибудь хорошее. Славянофилы, лелея в душе один только московский идеал Руси православной, не могут с сочувствием отнестись к народу, изменившему православию... Западники... видят в расколе только одно русское самодурство, факт невежества русского... Они не поняли в этом странном отрицании страстного стремления к истине, глубокого недовольства действительностью... И этот факт русской дури и невежества, по нашему мнению, самое крупное

явление в русской жизни и самый лучший залог надежды на лучшее будущее в русской жизни» [1].

Это высказывание Ф. М. Достоевского явилось как бы лейтмотивом ряда статей «Времени» о расколе. Наиболее значительной была публикация труда А. Щапова «Земство и раскол. Бегуны» (1862, кн, 10 и 11). За год до этого Ап. Григорьев указывал редакции на необходимость привлечь Щапова в письме Страхову 21 декабря 1861 г.: «Что же Вы ловите слюню бешеных, вроде г. Маслова, и не заполучите такого человека, как Щапов, который носит в себе целое совсем *новое* и вполне народное направление? Как это журналу, толкующему непрерывно, хотя и крайне неопределенно, о народности, не сойтись с ним...»

Григорьев видел в щаповских статьях «начало фактического оправдания всего того, что думает о Руси и ее истории Островский», и что «это новое» истребит «празднословие западников», суесловие «Дня», хохлословие Костомарова и буесловие «Современника» [2]. Надо вспомнить, что в это время Щапов был только что освобожден из-под ареста, которому он подвергся в связи с произнесением им революционной речи на панихиде по жертвам восстания крестьян в с. Бездне. Его выступления в печати вызывали благоприятные оценки «Современника», под влиянием идей которого он находился. В своих исторических работах он много уделял внимания истории раскола, который оценивал как народное движение против социального гнета. Помещение в двух книгах «Времени» статьи (90 стр.) Щапова до известной степени рисует настроенность редакции журнала.

Основная мысль статьи Щапова заключается в том, что раскольники типа бегунов являются демократической оппозицией введенным Петром централизации и сословных каст, которые разбивают общинный быт народа. Отсюда отрицание ими всяческих регистраций, переписи, подушных податей и государственных учреждений, проводящих на практике эти меры. Исследователь видит в «бегстве» сектантов месть за угнетение и проявление «духа саморазвития, самодеятельности, самоустройства, самоуправления». С крестьянами пошли в раскол купцы, стесненные организацией цехов, гильдий, эксплуатируемые чиновниками и презираемые дворянством. С ними же оказалось мещанство, влачившее жалкое существование, лишенное земли, но несущее крестьянские повинности и подушные подати.

Щапов рассматривал историю закрепощения крестьян в XVIII в. и другие социальные группы, поставлявшие своих членов в секту бегунов: казенных и фабрично-заводских крестьян, солдат, обреченных на 25-летний строк службы, лиц духовного звания, покидавших учение в бурсе, и т. д. Бегство было для них спасением от тягостных условий существования. Щапов внимательно

---

[1] *Достоевский,* т. XIII, стр. 251.
[2] «А. А. Григорьев», стр. 289—290.

рассматривал, как у беглых оппозиционных элементов зарождалась и развивалась федерация, образовывался «общий совет или собор».

Щапов различал в народе два протестующих движения: одно — «мятежный порыв сдержанных могучих сил народа к выходу из-под векового гнета: это пугачевщина. Другое движение — тихое, духовно-нравственное, мистико-идеалистическое. Это болезненное выражение угнетенного, наболевшего сердца, духа народного, выражение страдальческих чувств народа, крепостного, порабощенного, оставленного самому себе, без просвещения. Это общество *людей божиих*, селивановщина, и вообще все так называемые мистические, пророчествующие секты». С одной стороны, появляются Пугачевы, Разины, самозванные цари, с другой — Христы, пророки и учителя. Но и там и тут господствует «демократизм и гражданский и религиозный». Щапов подчеркивал огромное значение этих явлений в народной жизни, «в развитии духа и миросозерцания, стремлений и идеалов народных».

Он рассматривал значение секты бегунов для распространения в народе грамотности и создания своей литературы. Их сочинения призывали сектантские согласия к примирению между собой «для дружного совокупного противодействия православной церкви и православному правительству», они отрицали «самодержца», «императора» и требовали «народосоветия», решения дел путем создания дум, веча, земских соборов. Они требовали, «когда придет время», открыто бороться с враждебными силами. В заключение Щапов утверждал: «Всё учение бегунов есть всецелое, решительное, деятельное или фактическое отрицание всех основных начал и учреждений империи, всей государственной системы», видел в этом учении элементы «своеобразного социализма». В учении бегунов он отмечал призыв — все личное состояние отдавать «в пользу собственности общины», расторжение замкнутой семейной жизни, эмансипацию женщины от семейного рабства.

Интерес к расколу, как народному движению был отмечен во «Времени» тремя большими рецензиями на появившиеся издания. В десятой книге 1861 г. был помещен отзыв на книгу А. И. Бровковича «Описание некоторых сочинений, написанных русскими раскольниками в пользу раскола. Записки Александра Б.» (СПб., 1861). Автор рецензии не указан, но по ссылкам на Куно Фишера, большим латинским цитатам можно предположить, что автором был Н. Н. Страхов. Рецензент доказывал, что Бровкович наивно отнесся к своей задаче, не сумел ни изучить раскольничьи книги, ни поставить вопроса о смысле и цели их появления. Высмеивая и осуждая невежество раскольников, автор книги обнаружил свое невежество, и беспомощность, и тенденциозное намерение обличать и издеваться над материалом. Рецензент же ставит вопрос о связи происхождения раскола с со-

циальным положением народа, с его отрывом от образованной части общества и считает необходимым серьезно изучать книги раскольников, сопоставлять их тексты и научным образом написать историю раскола по подлинным документам. Тогда мы узнаем мысли и мнения народа, какими складывались они в XVII в.

Через три месяца, в первой книге за 1862 г., во «Времени» вновь появилась статья «По поводу новых изданий о расколе». Автор ее Н. Я. Аристов объединил в ней рассмотрение трех книг: «Рассказы из истории старообрядчества, перед⟨анные⟩ С. В. Максимовым по раскольничьим рукописям», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», изд. под ред. Тихонравова, и «Повесть о новгородском Белом Клобуке. Два произведения раскольнической литературы» (1861).

Преданный ученик Щапова Н. Я. Аристов (р. 1834 г.) не столько рецензировал указанные издания, сколько развивал основные положения Щапова о происхождении раскола как протеста народа против насилия над ним. Народ или открыто бунтовал и шел на плаху, или бежал, образуя толпы бродяг и разбойников, мстящих за народ. «Народ заявлял свои невольные естественные требования духа национального и стремления к самостоятельному развитию; его не понимали и не хотели признать законность этих естественных требований».

Аристов весьма положительно изображал деятелей раскола: «Руководясь порывами ума и совести на пути к самостоятельности и свободе развития, они организовали свое демократическое общество, составили тесное братство на народных началах, стали в оппозицию правительству, и никакая сила не могла поколебать их задушевных, естественных убеждений и стремления». Аристов не только хвалил руководителей раскола за бескорыстие, честность, трезвость, отсутствие грубости, умение вести дела и общую развитость, но высоко оценивал их бесстрашие в обличении мощных врагов и видел в них «народных героев в борьбе против угнетения и неправды» [3].

Третья рецензия, помещенная в двенадцатой книге за 1862 г., принадлежала М. Родевичу и также была посвящена трем вновь вышедшим книгам. Говоря о первой «Из истории Преображенского кладбища» (М., 1862), он, как Щапов и Аристов, признавал в расколе «народное сознание», борьбу народа «за всю свою жизнь» и считал наивными тех, кто видит в расколе результат невежества и религиозных заблуждений.

Но Родевич был далек от несколько славянофильской ориентации Щапова. Так, говоря о русском народе, он замечал, что в то время как некоторые считают его «самым религиозным, другие, как, например, Белинский, не признают в нем этого ка-

---

[3] Об интересе «Времени» к литературе о расколе и характеристику статей Аристова и Щапова см.: *В. Я. Кирпотин.* Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966, стр. 50—55.

чества». Здесь очевиден намек на «Письмо Белинского к Гоголю». Родевича не интересует смысл учения раскольников, так как не в нем он видел силу общин, а в системе их организации и личности организаторов. Он подробно рассказывал о «раскольнике-практике» Илье Кавылине, создателе федосеевских общин, обладавших общим хозяйством, капиталом, самоуправлением, училищами, «детскими палатами» и т. д. В особом интересе к этой стороне дела явно ощущается особое внимание 60-х годов к ассоциациям, артелям и другим коллективным деловым организациям.

В разборе книги А. Щапова «Нищие на святой Руси. Материалы для истории общественного и народного быта в России» Родевич решительно расходился с Щаповым во взгляде на современное нищенство. В то время как Щапов готов видеть в нищих потомков певцов, калик перехожих, той нищей братии, которую официально содержали князья и монастыри и которая жила лучше, чем не нищие, Родевич, отвергая это историческое объяснение, возмущался самою возможностью существования нищенства. Он писал: «Бедность — это грех общества, гражданский порок народа по отношению к единичному лицу, он — несчастие. Нищенство — это сознательное шарлатанство и религиозная добродетель, которая держится фальшивыми понятиями общества... Бедность — это состояние ложно поставленной в обществе личности; нищенство — это свойство личности развращенной. Там, где община составляет сущность народа, бедность возмутительна, а нищенство не может быть фактом народной жизни и необходимо должна иметь особенный смысл. Там, где человек еще чуть рождается, а ему отводится уже известная часть земли, не должно быть ни бедных, ни нищих, должны быть только довольные». Интересны высказывания Родевича по поводу частной и общественной благотворительности. По его мнению, милостыня, если не порождает, то способствует развитию нищенства. Осуждая частную копеечную благотворительность как результат невежества, которую надо не запретить, а разъяснить ее вред, он отрицает и общественную благотворительность, которая должна возбуждать в опекаемом «горькое сознание казенщины жизни», обиду и «нравственное унижение личности человека».

В этих замечаниях по поводу благотворительности Родевич высказывался на широко обсуждавшуюся в журналистике тему, которая через три года вызовет отклик у Ф. М. Достоевского во время создания им «Преступления и наказания». Дважды в черновых рукописях (в основной текст не вошло) он приводит беседу у Раскольникова о благотворительности, с высказываниями Разумихина, в которых звучит явное осуждение точки зрения, которую пропагандирует Родевич: «Одни добрые, великодушные и действительно умные люди скажут вам, что грустно и тяжело помогать единично, а что надо корень зла искоренить, насадив добро. Другие, тоже хорошие и добрые люди, но уж слишком...

в теории, принесут вам целые тома доказательств действительно верных (с одной стороны), что единичное добро не помогает обществу, забывая между прочим, что оно все-таки помогает единично, и вас самих лучше делает и в обществе любовь поддерживает. Ну а дурачки и плуты тотчас же из этого выведут, что и совсем помогать не надо, что это-то и есть прогресс, что тут-то и вся мысль сидит, чтоб свой кошель не развязывать [4].

К рассмотрению статей журнала о расколе как о «народном сознании» и пропагандисте общинного быта надо присоединить две большие статьи о книге Н. Костомарова «Северно-русские народоправства во времена удельно-вечевого уклада» (СПб., 1863, два тома). Ясно, что, как и в книгах о расколе, редакцию привлекла центральная тема исследования — общинная жизнь русского народа как его основная национальная черта. Понятно, что главный идеолог «почвенничества» Ап. Григорьев взял на себя разговор в журнале о книге Костомарова тотчас по ее выходе. Его статья в 38 страниц появилась в № 1 «Времени» за 1863 г. В сущности вся статья являлась лишь огромным введением к предполагавшейся статье, так как до разбора труда Костомарова в ней Ап. Григорьев не доходит.

Он говорит о двух течениях в русской исторической науке, начиная с Болотова и Шлецера в XVIII в., о борьбе этих направлений, которая вылилась в борьбу «централизаторов и федералистов». Глубоко враждебный к первой школе с ее главой Соловьевым, Ап. Григорьев видит в Костомарове «блестящего представителя» второй. В то время как «централизаторы» всюду ищут становление государственного тела, вторых интересуют «народные начала быта», история русской культуры. С энтузиазмом говорит Ап. Григорьев о русской исторической жизни накануне нашествия татар, о типах русских князей, приводит огромные цитаты из летописей, но почти не упоминает Костомарова. Его прежде всего интересует в русской исторической науке внимание к «органическим началам» народной жизни, изучение местных, областных особенностей, их живучесть. Лишь упоминая о трудах Щапова и Костомарова, он подробно останавливается на «Истории рязанского княжества» Иловайского (1859), видя в ней «первую систематическую попытку проследить историю одного из областных элементов», хотя и неполную, но симптоматичную для нового направления русской исторической науки.

В апреле 1863 г. «Время» вновь поместило статью о труде Костомарова «Еще статья о новой книге», с таким редакционным примечанием: «Статья эта прислана к нам из провинции. Нам показалась она замечательною, и мы решились напечатать ее, не дожидаясь продолжения статьи г. А. Григорьева о той же книге. Ред.» Статья подписана: « — мн — Казань 1863, 25 февраля». Автор ее — П. В. Знаменский, позднее профессор, круп-

[4] Рукописный отдел Гос. биб-ки им. Ленина, ф. 93, I, 1, $^{2}/_{9}$.

ный специалист по древней русской истории и истории руской церкви. Как и Щапов, и Аристов, он окончил духовную академию в Казани, и в своих многочисленных специальных трудах всегда много уделял места изучению народной и общественной жизни в связи с изучаемыми историческими фактами. В 1863 г. ему было 26 лет.

Знаменский, разбирая книгу Костомарова, симпатизировал ее направлению и отмечал, что автор «стоит на чисто народной почве, совершенно новой в церковных и исторических исследованиях». Но тем не менее он констатировал, что Костомаров не выявил вполне свою точку зрения, цельного представления о вечевой жизни не получилось, масса явлений, фактов разгруппирована, но не обработана и смысл их группировки не показан.

Если связь рассмотренных статей и рецензий, касающихся истории русского народа, с «почвеннической» установкой журнала ощущается довольно отчетливо, то не мнее ясна и связь с нею второй группы исторических материалов, публиковавшихся в журнале. Только эта связь подобна математическому доказательству «от противного». Множество страниц отдало «Время» как историческим документам, так и исследованиям, рисующим петровскую эпоху и середину русского XVIII в., чтобы представить отвратительную картину жизни оторвавшихся от народа верхов, представлявших кучку грубо невежественных корыстных и развращенных эксплуататоров народной массы. В четырех книгах 1861 г. публиковалось исследование М. И. Семевского о «Царице Прасковье» и в пяти книгах 1862 г. его же «Семейство Монсов», составляющих вместе свыше 20 печатных листов. Конечно, не общую занимательность и удовлетворение читательского любопытства преследовала публикация многочисленных архивных документов, вскрывавших жестокость, гнусность, преступность придворной среды, развращающее влияние фаворитов-иностранцев, безобразия, творимые «птенцами» гнезда Петрова. Если сам Петр более или менее щадился, то его родня, жена (Екатерина), все окружение представали в самом непривлекательном виде.

Есть основания думать, что интерес к этому периоду в редакции журнала проявил Ф. М. Достоевский. До нас дошли записанные им «Замечания на статью Семевского о книге Устрялова «Царевич Алексей Петрович». «Замечания» относятся к 1860 г., когда в «Русском слове» № 1 появилась статья Семевского. Но «Замечания» Ф. М. Достоевского как раз обнаруживают его очень критическое отношение к приемам исторического исследования Семевского и к его установкам в обрисовке Петровского времени. Через все «Замечания» проходит ясно выраженное желание автора защищать Петра и его дело от грубых выпадов Семевского, попытка уличить историка при помощи им же публикуемого материала в несправедливости возводимых на Петра обвинений в жестокости, «кровожадности». Ф. М. Достоевский доказывал терпимость Петра, приводя «вольнодумное, дерзкое»

слово Стефана Яворского и удивляясь, «как могли эти люди говорить такие речи при *грозном кровопийце* (как Петр), перед которым, по выражению того же Семевского, Иван Грозный — романтик. Значит *могли* же говорить при Петре, во всеуслышание про Петра такие дерзости. Почему же могли? Была же причина! Какая? Или Петр позволял высказывать правду, или Стефан Яворский опирался на что-нибудь, чтоб не бояться. На что же? На силу царевича Алексея, на партию его; но Семевский прямо говорит, что не было партии никакой».

Дальнейшие замечания Ф. М. Достоевского направлены именно к тому, чтобы доказать, что у Алексея была партия и что у него было стремление разрушить дело Петра. Приведя отрывки из письма Алексея Цезарю он замечает: «Слова ясные, понятно, каким образом царевич понимал и ненавидел Петра и реформу; ясно, что по воцарении он повернул бы все на старый лад». Достоевский негодует на Семевского за то, что он не объективен в оценке исторических свидетельств в отношении Петра и Алексея: «Почему все, что говорит против Алексея,— даже самое вероятное,— ложно, а все против Петра — правдиво». В то время как Семевский видел «пример бесчеловечия Петра» в том, что он в день пыток Алексея издал два указа, не имеющих отношения к этому делу, Достоевский писал: «Это может быть идет к величию Петра.

На троне вечный был работник.

Без него никто ничего не делал, след. ему надобно делать. Это был железный человек, жестокий — положим. Но ведь этот родной сын шел против него. Петр как гений видел одну цель — реформу и новые порядки. Ему беспрерывно были преграды, его раздражали... Не за бунт вооруженный казнил Петр Алексея, а за то, что ужасался передать свое царство ему и погубить все свое дело. Реформа была Петру дороже сына, и он казнил его. В том, что Алексей погубит ее, он не ошибался. Никто не вливает вина молодого в меха старые».

Уличая Семевского в том, что он «смотрит на Петра, как на личного своего врага», и возмущаясь такой позицией историка, Достоевский отмечает и другие отрицательные стороны исследователя, который в это время в ряде изданий печатал свои архивные изыскания: «Для чего Семевский с такой любовью считает удары кнутьев? Для чего с такой любовью помещает рассказы, которые сам считает не совсем верными?» Приведя сомнительные доказательства факта, что Петр велел задушить Алексея, Достоевский возмущенно заключает «замечания»: «Историк может ли так сознательно себе противуречить?» [5].

Явно критическое и недоброжелательное отношение Ф. М. Достоевского к Семевскому как историку Петра, как мы видели,

---

[5] Рукописный отдел Гос. биб-ки им. Ленина, ф. 93, I, 3, 1.

не помешало публикации во «Времени» его многочисленных статей. Можно думать, что здесь нашло место влияние более последовательных «почвенников», как Ап. Григорьев и Страхов, чем был в это время Достоевский.

Линию Семевского в критике придворной жизни русского XVIII в. продолжил во «Времени» М. Хмыров, автор статьи «Обстоятельства, приготовившие опалу Бирона» («Время», 1861, кн, 12), занявшей до 100 страниц журнала. В основе ее — публикация перевода «Записки Бирона», составленной им для Елизаветы Петровны с целью защитить свое поведение в момент смерти Анны Иоанновны и обвинить своих врагов, лишивших его прав регента. Привлекая для комментариев «Записки» огромное количество архивных и печатных материалов XVIII—XIX вв. на русском и немецком языках, Хмыров вскрывал искажения фактов Бироном и противоречия источников. Но главная его цель все же была дать представление о драматичности эпохи и о людях, в ней действовавших.

Надо еще остановиться на двух статьях о русском XVIII веке, появившихся как разборы сочинений П. Пекарского. Первая без указания автора названа «Петровская опека над русским умом» и написана по поводу исследования Пекарского «Наука и литература в России при Петре Великом» («Время, 1862, кн. 4). Автор статьи характеризует книгу Пекарского как преимущественно описательную, лишенную определенных итогов. Сам же он старается показать именно самые типичные особенности «истории петровской колонизации науки и литературы» и раскрыть ее отрицательные и положительные стороны. Первое, что он находит наиболее характерным, это полное отсутствие «принципа свободы», составляющего «неотъемлемую черту человеческой личности» и совершенно чуждую просветительным мерам Петра. Все двигалось его личной волей, инициативой, под влиянием толчков извне, принуждения и повиновения. Отсюда преобладание внешних форм, соблюдение формальностей и непонимание подлинного значения просвещения, науки. Петр заботился не об общечеловеческом образовании, а о подготовке себе «сведущих слуг». Им руководила идея централизации, укрепление русской монархии. Отсюда распространение специальных школ, утилитаризм в образовании и воспитании.

Второе характерное явление, отмеченное автором статьи,— привлечение «колонизаторов просвещения» — иностранцев, среди которых преобладали авантюристы. Это содействовало ослаблению развития русской научной мысли, внедрению подражательности, бюрократического формализма, засорению русского языка, его делению на «благородный» и «подлый». Автор находил, «что иностранцы всего более способствовали развитию у нас всякого рода деспотизма», а, в частности, в литературе — господству рабского языка од, восхвалений Петра и Запада. Итогом явились взгляды на образование как на приготовление к службе, отказ от само-

стоятельного мышления, вялость умственной жизни русского общества. Хотя автор и видит в просветительной политике Петра не столько обновление, сколько подавление русской мысли, все же он признает ее большое значение как толчка по московской рутине, азиатизму. Указание на Запад было правильным, и автор статьи верит, что русские именно там найдут то, что уничтожит хилость и подражание и приведет к «эпохе силы и самостоятельности».

Другая статья о вышедшей в 1862 г. книге Пекарского «Маркиз де Шетарди в России» принадлежала Родевичу и называлась «Некоторые черты из истории послепетровского времени» («Время», 1863, кн. 4). Отдавая должное добросовестности исследователя в изучении событий царствования Анны Иоанновны, регентства Бирона и возведения Елизаветы на престол с помощью Швеции и Франции, Родевич заостряет внимание на основном контрасте эпохи — ее действователей в Петербурге и массе русского народа. В следующих смелых и резких словах характеризовал молодой шестидесятник кровавую борьбу за власть вокруг царского престола: «В Петербурге резня, в Петербурге ужасы; одни люди пожирают других и сами сейчас же всходят на эшафот или летят в Сибирь; каждое лицо вступает на трон не иначе как через трупы многих жертв; не успеешь оглянуться, как и его уже сводят с престола, восходит лицо новое — и опять казни, кровь, резня, а народ вдали остается холодным зрителем всего этого».

Основная мысль Родевича в том, что все делается и совершается без участия народа, который «безмолвствует». Это пушкинское выражение встречается в статье около 10 раз: «Первая и самая крупная черта, до того крупная, что она составляет не часть картины того времени, а как бы целый фон, общий колорит ее, это совершенное *безмолвие* народа». Все кричат, что «он от народа, за народ, во имя народа, и вам невольно представляется неподвижный великан, на теле которого в каком-нибудь месте копошатся разные насекомые. Они сосут его кровь, они и существуют только ради великана, а сам великан как будто и не подозревает об их существовании, разве только когда-нибудь ядовитое насекомое очень уж больно ужалит его, великан слегка почешет у себя рукой».

Но, характеризуя кровавое «бешенство» временщиков, придворной клики, дворянского войска, Родевич констатировал, что все же «главный характер того времени — *безмолвие народа*» — нарушался: «Правда, народ, безмолвно насмотревшись всего, что перед ним совершалось, выставил наконец из среды себя Пугачева, но это было уже в царствование Екатерины II».

Оценка Екатерининской эпохи нашла место в статье Дмитрия Маслова, написанной по поводу «Записок» Державина, изданных в 1860 г., и названной «Державин — гражданин» («Время», 1861, кн. 10). Автор вспоминал 20—30-е годы, когда Мерзляков,

Вяземский, Аксаков, Никитенко и другие в журнальных статьях, в университете и школах славили поэта за его гражданскую доблесть, приводя его восхваления собственных общественных заслуг и выступлений. Разбирая образ Державина, каким он рисуется по его мемуарам, Маслов разоблачал составившееся мнение о Державине как гражданине, выявлял отрицательные черты его характера — тщеславие, честолюбие, угодничество, льстивость, отсутствие даже намека на самоотверженную защиту обиженных. Маслов хорошо понимал связь этих свойств Державина с нравами эпохи, но вместе с тем он не забывал указывать, что в одно время с Державиным действовали люди, которые проявляли подлинное гражданское мужество, обличая зло своего времени. Он назвал (семь раз!) имена Радищева и Новикова и не мог простить Державину его доноса Екатерине и эпиграммы на ссылку Радищева: Державин «талантом своим служил злу, а не правде, осмеял, напр., Радищева, вполне сочувствуя ссылке его в Сибирь... пошлым образом осмеял человека, в лице которого восходила заря будущего России — пробуждалась русская мысль и, стряхнув с себя веками навеянный гнет рутинных понятий и привычек, взглянула на события, проходившие перед ней, взглядом глубоким, свободным и отрадным». Восторженно отзывался Маслов и о личности и деятельности Новикова, видя в нем полную противоположность Державину.

В мае 1860 г. в «Современнике» появилась статья Чернышевского о «Записках» Державина — «Прадедовские нравы», которая разоблачала мелочность и ограниченность Державина, используя отрывки из этой его книги, характеризующие нравы эпохи и Державина — «дикаря с добрым от природы сердцем». Снисходительности Чернышевского к честному, но не очень умному человеку у Маслова нет следа. Судя по истории его статьи, он, возможно, писал ее в 1859 г., так как нам известно, что уже в этом и следующем году она была отвергнута двумя редакциями. Об этом писал Ап. Григорьев Страхову 12 декабря 1861 г., прочтя ее во «Времени» в Оренбурге:

«В последней книжке я был изумлен неприятно статьей о Державине. История этой статьи прекурьезная. В 1859 году она валялась в редакции «Рус. слова» и возвращена мною автору; в 1860 г. она валялась в редакции «Рус. вестника» и мною же отринута. А оба раза отринута потому, что, кроме опиума чернил, разведенных слюною бешеной собаки, я ничего в ней не видел и до сих пор не вижу».

Далее Ап. Григорьев открывал причину своего возмущения статьей Маслова: «Эта вечная история о Радищеве — эта единственная мерка, применяемая к деятелям былого времени, не знаю как другим, а мне противна...» В следующем письме он вновь ставил редакции «Времени» в упрек, что она печатает «буйство Масловых». Приводя эти отзывы главного идеолога «почвенничества» в журнале, нельзя не отметить, что братья Достоев-

ские не задумались напечатать у себя дважды отринутую статью и дать место одному из первых в печати панегириков делу Радищева и Новикова.

В более спокойном тоне, но с тех же позиций нашло в журнале изображение и следующего этапа русской истории — первой четверти XIX в. Две статьи Владиславлева о Сперанском и о Карамзине были расхвалены редакцией «Времени».

10 ноября 1861 г. вышла в свет октябрьская книжка «Современника», в которой находилась большая статья Чернышевского «Русский реформатор», по поводу сочинения М. Корфа «Жизнь графа Сперанского». Предупреждая, что не считает возможным давать оценку книге, а предполагает только «изложить ее содержание», Чернышевский с большим уважением к личности Сперанского и его исключительной одаренности дал тонкий анализ неизбежности крушения его реформаторских планов, отсутствия в нем трезвого понимания своих возможностей и общей расстановки политических и общественных сил эпохи. Чернышевский охотно цитировал большие куски текста книги, чтобы показать положение бывшего бурсака в аристократическом придворном кругу, его изолированность и высокое чувство собственного достоинства. Наоборот, период после возвращения из ссылки Чернышевский характеризует коротко как время, когда замечательный человек уже «был сломан жизнью», время прискорбное и явившееся результатом пройденного пути и настроений эпохи. В результате Чернышевский соглашался с Корфом, что Сперанский был «увлекающийся мечтатель», а в его замыслах реформ видит не реально возможный план, а «праздную теоретическую игру» [6].

За месяц до выхода статьи Чернышевского о Сперанском задумал написать о нем статью для «Времени» тоже «бурсак», высланный в Новгород,— Владиславлев. На его сообщение М. М. Достоевский отвечал ему 30 октября: «Если будете писать о Сперанском, то пишите не стесняясь. Панегириков не нужно. Все дело тут в самом Сперанском. Но нечего вас учить: вы сами это уже знаете». Когда появилась статья Чернышевского, М. М. Достоевский писал Владиславлеву 13 ноября: «Я не читал еще, но говорят, что в «Современнике» статья о Сперанском превосходная. Как бы хорошо было, если б и вы написали превосходную. Главное, старайтесь о слоге».

Статья Владиславлева о книге Корфа («Время», 1861, кн. 12) заняла 55 страниц. Она была значительно суровее по отношению к Сперанскому, чем статья Чернышевского, и не прощала ему измены убеждениям. Если Д. Маслов сопоставлял Державина с Радищевым и Новиковым, чтобы показать ограниченность его гражданских чувств, то Владиславлев сопоставлял Сперанского

[6] О подтексте развернувшейся в печати дискуссии по поводу книги Корфа о Сперанском см.: *Г. Н. Сладкевич.* Проблемы реформы и революция в русской публицистике начала 60-х годов.— «Революционная ситуация...», 1960, стр. 509—521. Статья Владиславлева в статье не упоминается.

с Белинским. Последний менял свои убеждения «по глубокому сознанию их внутренней несостоятельности», Сперанский же менял их, так как служил «не идеям, а лицам». Рассматривая подробно этапы биографии Сперанского и много останавливаясь на характеристике общественно-политической жизни начала века, он признавал в Сперанском замечательного деятеля, но не прощал ему, что он был «слуга лиц, а не идей», что приспосабливался к Аракчееву и сумел приспособиться к Николаю I, составлял доклад суда над декабристами.

Констатируя, что по книге Корфа нельзя узнать самое интересное — идеи Сперанского в эпоху его расцвета, так как биограф их осторожно обходит, Владиславлев сам дает объяснение, что́ вызвало общую злобу против Сперанского. Если ненависть аристократии и чиновничества объяснялась завистью и недовольством его контролем, то народ, веривший в то, что Сперанский хлопочет о его воле, не прощал ему его реформ на «французский лад». Главную причину неудач Сперанского Владиславлев видел в том, что Сперанский не знал «начала, чисто народные, выработанные исторической жизнью страны и которые служат залогом дальнейшего ее политического развития». Только «на этом фундаменте можно и должно строить всякое нововведение», но Сперанский не был «деятелем, опирающимся на народ», и поэтому скоро пал и стал поучительным примером того, как наилучшие намерения «могут кончиться ничем».

Отослав в начале декабря статью во «Время», Владиславлев получил следующий ответ от М. М. Достоевского от 25 декабря: «Статья о Сперанском — *превосходна.* И мне и брату она чрезвычайно понравилась, и мы печатаем ее в этой декабрьской книге. Слог был только местами шероховат, но я сгладил. Сердечно благодарю вас за статью эту. Из вас выйдет славный критик-публицист, только не пренебрегайте слогом. Мы вами очень дорожим, а еще более любим вас».

Через полгода Владиславлев представил в журнал статью в связи с выходом в свет «Неизданных сочинений и переписки Николая Михайловича Карамзина» (ч. I, СПб., 1862). Статья была напечатана без подписи, но в письме М. М. Достоевского брату за границу от 28 июля 1862 г. читаем следующее сообщение об августовской книжке журнала: «На будущий номер критика тоже будет хорошая... Будет еще большая статья о переписке Карамзина Владиславлева».

Недавно закончивший статью о Сперанском и вновь обращаясь к той же эпохе и той же среде, Владиславлев не раз вспоминал о Сперанском и оценивал теперь его значение и роль выше, чем в первой статье: «Карамзин не сумел понять великое движение конца прошлого столетия и не подал руку тому прогрессивному движению русской государственной жизни, во главе которого тогда стоял Сперанский». Особенно отмечал он в биографии Карамзина, что, несмотря на огромное значение для него «Дру-

жеского ученого общества», возглавлявшегося Новиковым, Карамзин при аресте последнего сумел остаться в стороне. Владиславлев объяснял это «чувством самосохранения». Отмечал Владиславлев и то, что в «Записках русского путешественника» нет «ни полслова» о величайших политических событиях, которые Карамзин наблюдал в Париже, и приводил его слова о «гибельности насильственных потрясений» и о мудрости «жить тихо». Считая, что в настоящее время и «Письма русского путешественника» и повести Карамзина потеряли всякое значение, Владиславлев объяснял их успех в свое время тем, что Карамзин понял насущную потребность общества в чтении литературы, более близкой к действительной жизни. чем классицизм, а потребность эта была подготовлена развитием сатирических журналов в конце XVIII в. и, в частности, деятельностью Новикова.

Явно реакционные статьи Карамзина в «Вестнике Европы», с их защитой старых порядков, предпочтением «турецкого правления» революционной анархии, с их идеализацией крепостных отношений помещиков и крестьян, возмущала Владиславлева особенно тем, что это писал «ученик Новикова», «после путевых записок Радищева», после «объявления прав человека» во Франции. Вскрывая полемику Карамзина против Сперанского в «Записке о старой и новой России» (о ней писал и Чернышевский в статье о Сперанском) и признавая, что многое, отмеченное Карамзиным, было действительно незрело, Владиславлев в основном обвинял Карамзина в том, что он «порицал Сперанского во имя устарелых принципов», идеалов эпохи царствования Екатерины. Карамзин «не сумел, подобно Сперанскому, быть своего рода знамением времени, писателем его духа, его лучших идей и верований».

Что касается «Истории» Карамзина, то Владиславлев признавал, что она «пробудила русскую мысль и сознание своей народной особности», воспитала много поколений, но была вредна фразами о существующем благополучии и чрезмерно захвалена. Вспоминая, очевидно, Николая Полевого, он писал: «Надо было иметь величайший запас смелости тому человеку, который первый осмелился указать слабые стороны карамзинской истории». В итоге Владиславлев признавал значительность литературной деятельности Карамзина, подготовившей творчество Пушкина, Гоголя и Лермонтова, хотя некоторые взгляды Карамзина могут, по его словам, оскорбить «тонко развитое гражданское чувство .

Статьи о Державине и Карамзине свидетельствуют об интересе журнала к истории русской литературы, ее осмыслению в связи с общественно-политическими направлениями эпохи, отражающимися в сознании и творчестве изучаемых авторов. Историко-литературной, основанной на изучении частных архивных материалов, является еще одна статья, посвященная, впрочем, не столь значительному литературному явлению. Ее автор Е. Я. Колбасин назвал ее «Певец Кубры, или Граф Д. И. Хвостов. (Психологический очерк)» («Время», 1862, кн. 6).

Е. Я. Колбасин печатался в «Москвитянине», «Современнике» и «Отечественных записках», публикуя статьи о деятелях русской литературы начала века — Воейкове, Мартынове, Курганове и др. В его руки, через М. И. Семевского, попал архив Д. И. Хвостова, тщательно собиравшего материалы для своей посмертной славы, и на основании этих материалов Колбасин решил показать, как неглупый, образованный, честный, богатый и чиновный человек дошел в своем заблуждении о своих стихах до мании величия, уверенности в своей гениальности, которую якобы сознательно замалчивают критики и осмеивают враги. Архив помог Колбасину вскрыть ряд лиц (главным образом кн. Шаликов), которые своими корыстными восхвалениями, лестью кружили голову Хвостову, добиваясь материальной помощи, его влиятельного ходатайства перед министром Шишковым, и всячески использовали его уязвленное авторское самолюбие. В статье интересна обрисовка нравов в среде литераторов, группировавшихся вокруг «Общества российской словесности», сделанная по документам того времени.

Статья вызвала резкий протест жены Шаликова в защиту умершего мужа и грубое письмо в редакцию Щедритского, который также обвинялся Колбасиным в использовании мании Хвостова в свою пользу. В своем письме кн. Шаликова задавала редакции вопрос: «Любопытно знать, имеет ли право журналистика обнародовать переписку лиц, которые еще не перешли в мир исторический». «Время» напечатало целиком оба письма и так ответило Шаликовой в редакционном примечании: «Редакция печатает это письмо единственно из принципа справедливости. Оценка деятельности и самого характера лиц, сошедших с общественной сцены, есть несомненная принадлежность литературы, и оспаривать у нее это право в наше время немыслимо. Г. Колбасин, автор статьи «Певец Кубры», выводил свои заключения, основываясь на фактах и на подлинных письмах. Верны ли его выводы, он предоставляет судить читателям. Факты и письма налицо. Но если б он в чем и ошибся, то это будет только ошибка, и подозревать его в клевете на человека, давно уже умершего, мы не могли и не имели на то права. Это искреннее мнение редакции» («Время , 1862, кн. 11).

Мнение, выраженное здесь редакцией, она энергично защищала и в других случаях. В «Московских ведомостях» были напечатаны бесхитростные воспоминания гимназического товарища Белинского — Иванисова 2-го, на которые напал Дружинин, увидевший в них что-то унижающее облик критика. В восьмой книге «Времени» 1861 г. в отделе «Смеси» появилась заметка в защиту публикуемых воспоминаний (вероятно, Порецкого). Автор находил, что детали, сообщаемые бывшим товарищем, хорошо вяжутся с образом будущего борца и мыслителя, и выражал принципиальное одобрение таких публикаций: «Да, мы желаем знать историю развития писателя, историю развития его личного ха-

рактера и его взглядов на жизнь». Узнать это можно только «из полной совершеннейшей биографии, такой, каких у нас почти еще нет и какие создаются из множества разных, преимущественно личных и непосредственных воспоминаний». Поэтому «если вы истинно любите память Белинского или другого достопамятного человека, то никому не мешайте рассказать о них», т. е. тем, кто лично их знал.

Этой установкой объясняется и особое внимание журнала к появившимся в «Современнике» двум частям «Воспоминаний» Панаева (1861, кн. 1, 2, 9, 10, 11), о которых были напечатаны две статьи («Время», 1861, кн. 3 и 12). Начало и конец первой статьи как бы содержат установку на редакционное отношение к такого рода сочинениям. Отмечается важность публикаций воспоминаний, так как они дают возможность приблизиться к писателю, знать его мысли, представить себе живые образы ушедших людей. Они отвечают стремлению читателей проникнуть во «внутреннюю историю нашей литературы», понять «связь явлений с эпохою». Поэтому надо благодарить Панаева за то, что он решился написать и опубликовать свои искренние, непринужденные и чрезвычайно занимательные воспоминания. Однако эти общие, как бы редакционные фразы находятся в прямом противоречии с содержанием самих рецензий, в которых «Воспоминания» подвергаются безжалостной критике за поверхностность наблюдений, обилие анекдотов и пустяков, за отсутствие серьезных и подлинных сведений о ряде лиц, имена которых только упоминаются и дразнят читателя, но никак не изображаются в «Воспоминаниях».

Заметим, однако, что эти статьи о Панаеве вернее причислить к публицистическим, чем к историко-литературным статьям, так как они касались проблем, событий и лиц, тесно связанных с современностью, и были полны отголосков журнальных взаимоотношений сегодняшнего дня.

Отметим еще, что журнал Достоевских время от времени помещал «доставленные в редакцию г. Гербелем» литературоведческие материалы — неопубликованные стихотворения Пушкина, А. И. Одоевского, сведения «О рукописях Гоголя». Последняя публикация вызвала письмо в редакцию Прокоповича, указавшего на заблуждения Гербеля, поправившего и расширившего его сведения.

Рассмотренный в этой главе материал из «Времени» несомненно был связан с идеей «почвенничества», проблемой изучения народа и его взаимоотношения с образованной частью русского общества. Обращает на себя внимание особый интерес всех пищущих к оппозиционным настроениям как в народе, так и в обществе.

В статьях о расколе внимание сосредоточено не на мистических сектах, а на активно враждебных правительству и церкви, социально объясняется причина этой враждебности, вспо-

минаются движения Разина и Пугачева и символично напоминается о «безмолвии» народа. С несомненной симпатией вскрывается в расколе направленность к коллективному ведению общественных дел, что отражает современный интерес к товариществам и ассоциациям. Изображая в самом отрицательном виде верхушку русского общества, начиная с Петровских времен, журнал защищает реформы Петра, европейское просвещение, деятельность Радищева и Новикова, неудавшуюся деятельность Сперанского. Во всех этих статьях основные установки их далеки от славянофильского осмысления тех же проблем.

Глава XI

Художественная литература во «Времени»

Программа «Времени» в 61, 62 и 63 годах начиналась так: «I. *Отдел литературный*. Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.». В «Объявлении» редакции о журнале на 1861 г., целиком посвященном характеристике его направления и участия в журнальной полемике своего времени, не отводилось места каким-либо комментариям к этому разделу. В «Объявлении» на 1862 г., где также много места заняли высказывания о журнальной борьбе, помещены были строки, дававшие общее определение взгляда редакции на литературу: «А ведь теперь литература есть одно из главнейших проявлений русской сознательной жизни. К нам почти все привилось извне, все досталось нам даром, начиная с науки до самых обыденных жизненных форм; литература же досталась нам собственным трудом, выжилась собственною жизнью нашей. Оттого-то мы и ценим и любим ее. Оттого-то мы и надеемся на нее». В «Объявлении» на 1863 г. редакция еще уточнила свой взгляд на современную литературу: «Мы стоим за литературу, мы стоим и за искусство. Мы верим в их самостоятельную и необходимую силу... не за искусство для искусства мы стоим. В этом отношении мы достаточно высказались. Да и беллетристические произведения, помещенные нами, достаточно это доказывают».

Приведенные декларации свидетельствуют, что журнал ценит литературу как органический результат русской действительной жизни русского труда. Веря в самостоятельность и силу искусства и противопоставляя свое понимание формуле «искусство для искусства», редакция ссылалась на напечатанные ею художественные произведения, которые должны были доказать тесную их связь с жизнью, их важность и значение. Именно в связи с позициями, занятыми журналом в идейном, общественно-политическом плане, рассмотренными в предшествующих главах, обратимся теперь к знакомству с его отделом художественной литературы.

Это удобнее сделать, разбив все его содержание по жанрам: 1) поэзия, 2) драма, 3) роман, повесть, рассказ, очерк — и предпослав каждому жанру краткие статистические сведения.

В книге четвертой за 1861 г. М. М. Достоевский выступил с рецензией на «Стихотворения А. Н. Плещеева» (М., 1861) и начал ее с опровержения мнения, что якобы обилие стихов в литературе означает ее мельчание и упадок. Он явно имел в виду Краевского, когда утверждал, что так может говорить только редактор, лишенный понимания поэзии: «Пусть понимает он акции, учеты, дивиденды, дисконты, пусть жизнь знает как Фауст, архитектуру — как бобр, откупа — как Кокорев, науку — как Гете, но поэзию знать, как Гете, пусть ему не будет дано от природы». Только тонкие уши и «чуткие сердца» любят и понимают поэзию. «Время» всегда будет помещать стихи и стараться знакомить читателей с новыми талантами,— утверждал он.

Изучение практики журнала, однако, свидетельствует, что и «Время» подчинялось общему веянию и обилие поэтов в начале издания постепенно шло на убыль.

В каждой книге «Времени» в первом разделе помещалось от двух до шести стихотворений, что составило по 29 в 1861 и 1862 гг. и 11 — в четырех книгах 1863 г. Обращает на себя внимание, что в 1861 г. 29 стихотворений принадлежали 17 авторам, а в 1862 г. также 29— всего шести поэтам, которые сотрудничали и в предыдущем году. Пять из них надо назвать основными поэтическими кадрами «Времени». Это — Полонский, Майков и Плещеев — поколение 40-х годов и молодежь — Ф. Берг и В. Крестовский. Шестой же, А. Апухтин, тоже только начинавший свой путь, хотя и печатавшийся уже в 1859 г. в «Современнике», кажется нам случайным сотрудником во «Времени». Его имени нет в книге записи гонораров (в которых он, возможно, по состоянию не нуждался). Своим дворянским происхождением, образованием (окончил лицей) он отличался от основной массы сотрудников журнала и не упоминается в их переписке. Но П. В. Быков, посетив редакцию «Времени» в середине 1861 г., отметил среди присутствующих «поэта Апухтина, худощавого, золотушного юношу».

Из четырех его произведений первое — антологическое («Греция»), а два следующих полны пессимистического раздумья о жизни людей, постоянных «актеров», или говорящих пышные фразы, или высмеивающих себя и всех («Актеры»). Сознание душевного холода, тяжелые думы препятствуют восприятию радости жизни, обновлению и напоминают о гибели и смерти («Весна»). Четвертое же стихотворение вскрывает причину одиночества поэта, его оторванности от людей, так как ему была враждебна атмосфера общественного подъема и особенно обличительная, критическая направленнность современной литературы:

Посреди бездумных и послушных,
Посреди доверчивых глупцов
Я устал от ваших фраз бездушных,
От дрожащих ненавистью слов...

Поэт не может жить «отрицанием», хочет верить, любить, стремиться в «землю обетованную», неся через пустыни тяжелое бремя своего креста («Современным витиям»).

В 1861 г. были помещены восемь стихотворений Платона Кускова, печатавшегося в «Современнике» в 1854, 1859, 1860 и 1861 гг. Есть основания думать, что он был дружен со Страховым, и, может быть, в этом была причина, что бездарный стихотворец, автор либо приторно любовных, либо претенциозно романтических виршей, оказался богато представленным в первом году существования журнала. В книге пятой была, кроме того, помещена его прозаическая «Повесть о бедном сумасшедшем поэте» в таком эпигонски-романтическом духе, что редакция сопроводила ее ироническим примечанием: «Повесть об одном сумасшедшем поэте» есть воспоминание друга о друге, уже не существующем. Мы не имели чести знать лично самого поэта и потому все похвалы, все достоинства и похвальные качества, приписываемые поэту его другом, оставляем на его совесть. Мы помещаем эти воспоминания, потому что изложение их показалось довольно оригинальным... Впрочем, об этом пусть судят читатели».

Ап. Григорьев с его высокой художественной требовательностью совершенно не переносил этого автора, требовал его удаления из «Времени», сопровождая упоминания о нем в письмах не подлежащими воспроизведению в печати эпитетами и дополнениями. После седьмой книги 1861 г. имя Платона Кускова исчезло со страниц журнала, но он продолжал что-то делать для журнала, так как получал каждый месяц небольшие суммы.

Кратковременно оказалось пребывание во «Времени» Д. Д. Минаева. С Минаевым Достоевский познакомился в 1859 г. в Твери, куда тот привез ему письмо от Милюкова с приглашением участвовать в «Светоче». «Время» заказало Минаеву фельетон для первой книги, в котором проза перемежалась стихами. По воспоминаниям Страхова, фельетон не удовлетворил Ф. М. Достоевского, который написал свой прозаический текст, но оставил стихотворения Минаева («Петербургские сновидения в стихах и прозе»). В этом же номере Минаев поместил юмористический разбор четырех книг Гейне в переводах разных авторов и сопроводил разбор пародийными стихами и сатирическим рассказом о некоем поэте, якобы жившем в 1830—1850-х годах и в своих вкусах переходившем от Марлинского и Бенедиктова к Некрасову и Фету.

Отметим, что поэту Минаев дал фамилию Псевдонимов, а через год в «Скверном анекдоте» Достоевского появился чиновник Пселдонимов. Указанными произведениями сотрудничество Минаева во «Времени» было исчерпано. Его обличительные и пародийные стихи Ап. Григорьев совершенно не терпел [1].

---

[1] А. А. Григорьев о Кускове и Минаеве.— См. «А. А. Григорьев», стр. 267, 275, 285—287.

Но и Ф. М. Достоевский уже в середине 1861 г., раздраженный выступлениями «Искры», писал Полонскому 31 июля о «ругавших» роман Полонского Минаеве и Курочкиных: «Но гадости всех этих мерзляков, разумеется, не имеют ни смысла, ни влияния». Кстати, одно стихотворение Н. В. Курочкина антологического характера («Грезы. Мысль Шенье») было помещено в № 6 «Времени» за 1861 г.

Недолгим было участие во «Времени» Л. А. Мея, поместившего во 2, 3 и 5-й книгах за 1861 г. четыре стихотворения, из которых заслуживает внимание «Леший» (кн. 2). В поэтическую жизнь русской природы, изображенную в стиле русских сказок с лешим, ее хозяином, вторгается цивилизация. «Неведомая сила» сводит лес, засыпает болота, поднимает мосты:

И, рассыпая искры,
Далеко в поле чистом
Летит змея-чугунка
С шипением и свистом...

Характерная для Мея стилизация в духе фольклора, а также библейских и античных мотивов отразилась во «Времени» в произведениях Вс. Крестовского, находившегося в это время под его сильным влиянием и поместившего в 1861 г. в первой книге «Солимскую гетеру», в третьей — «Ваньку-ключника» и позднее — несколько подражаний античным поэтам.

Если оставить в стороне сравнительно небольшое количество лирических стихотворений, частично переводных, посвященнных переживаниям любви, воздействию природы, изображениям пейзажей, времен года (Крестовский, Ф. Берг, Плещеев), то в основной массе поэзия «Времени» несет на себе ясный отпечаток идей, волновавших общество и отражающих программу журнала. Интерес к народу, крестьянству, его прошлому и будущему красной нитью проходит через десятки напечатанных в журнале стихотворений. Их художественной вершиной, конечно, являются два произведения Некрасова — «Крестьянские дети» (1861, кн. 10) и «Смерть Прокла» (1863, кн. 1). Некрасов заверил еще в 1859 г., что «всегда уважал и никогда не переставал любить» Ф. М. Достоевского (письмо М. М. Достоевскому от 26 августа), и, вероятно, не видел препятствий идейного характера для сотрудничества во «Времени» в 1861 г. После закрытия «Современника» и ареста Чернышевского в 1862 г. он обещал Достоевским свое сотрудничество. Но вскоре он понял, что этого не следовало делать в связи с распространившимися слухами о том, что он якобы «предал» Чернышевского и «изменяет» направлению журнала. 3 ноября 1862 г. он писал Ф. М. Достоевскому: «Я обещал Вам 2 стихотворения и не отказываюсь от моего обещания, обещаю Вам их и более, но *теперь* мне неудобно появиться

с моим именем в чужом журнале... Начнет выходить «Современник», дело разъяснится для публики, и тогда я исполню мое обещание.. Самая опрометчивость, с которою я дал Вам мое обещание, не сообразив настоящих обстоятельств, может служить Вам порукою моей всегдашней готовности быть полезным Вам и Вашему журналу насколько могу. При лучших обстоятельствах я это докажу на деле...»

Достоевских очень огорчил отказ Некрасова. В ответном письме к нему от 3 ноября 1862 г. Ф. М. Достоевский болезненно реагировал на причины, выдвинутые Некрасовым и касавшиеся позиции «Времени». Он писал: «Почему участие в нашем журнале могло бы Вас компрометировать и утвердить такие, например, слухи, что Вы предали Чернышевского? Разве наш журнал ретроградный? Уж кажется нет, даже и для врагов наших. Можно все говорить, но только не об ретроградстве. Я ведь не Вам приписываю теперь это мнение. Я отвечаю только на Ваше подозрение, что публика Вас будет винить в ретроградстве и в отступничестве, если Вы будете у нас печататься. Но ведь я убежден, что публика не считает нас ретроградами. Еще: прошлого года Вы тоже у нас напечатали, а ведь наш журнал такой же. Тогда это Вам в вину никто не поставил».

«Жадно» ожидая стихотворений Некрасова, Достоевский предлагал ему «обругать» «Время» в январском номере «Современника», а на февраль дать «стихов» во «Время». Некрасов дал Достоевским «Смерть Прокла» для первого номера 1863 г.

До известной степени случайным было помещение во «Времени» большого стихотворения И. С. Никитина «Хозяин» (1861, кн. 11). Еще в самом начале издания во «Время» было прислано его стихотворение «Поминки», но, как писал М. М. Достоевский в феврале 1861 г. М. Ф. Де Пуле, оно было запрещено цензурой. О присланном через Де Пуле стихотворении «Хозяин» М. М. Достоевский писал, что оно ему «не нравится» и привел свои эстетические требования (см. следующ. гл., стр. 247). «Несмотря на это, я бы поместил это стихотворение, но вы пишете, что «Русское слово» платит ему огромные деньги». Не считая возможным так оплатить «Хозяина» (5 страниц), М. М. Достоевский готов был напечатать произведение Никитина, если «тот пришлет нечто небольшое, но тщательно отделанное». В мрачном произведении Никитина, изображавшем гибельный домашний быт кулака-деспота, М. М. Достоевский видел влияние рецензии Добролюбова («Современник», 1860, кн. 4) на «Стихотворения Никитина» (СПб., 1859). Очевидно, «Хозяин» Никитина все же остался в редакции «Времени», и, когда 16 октября Никитин умер, М. М. Достоевский сообщил Де Пуле: «Стихотворение Никитина я помещу в ноябрьской книге. Мне его очень жаль». В ноябрьской книге, где был напечатан «Хозяин», помещен и некро-

лог Никитину с его стихотворением «Вырыта заступом яма глубокая...», перепечатанным из «Московских ведомостей», где их напечатал Де Пуле [2].

Обратимся к творчеству, так сказать, «кадровых» поэтов «Времени». Откликом на крестьянскую реформу явились два больших стихотворения: Ап. Майкова «Бабушка и внучек» (1861, кн. 5) и К. Бабикова «Старый дом» (1861, кн. 4). Описывая обветшалый дворец — «приют бояр, насилия, разврата, ужасных дел» — и вспоминая «буйный век» с его беспутством и страстями, Бабиков все время слышит «чей-то стон», его сопровождают «предания о воплях и слезах, насилье жертв, о буйстве и пирах...» [3]. На ту же тему написано и произведение Ап. Майкова, но его центральная мысль в сопоставлении двух восприятий минувшего — внука, обличающего пороки и преступления знатного деда, и бабушки, которая, сама бывшая жертвой, все простила, забыла, а помнила только внешний блеск и светлые минуты своей личной жизни.

Крестьянская психология в связи с объявленной реформой нашла художественное отражение в двух очень разных произведениях. В ставшем скоро очень популярным стихотворении Майкова «Поля. (Отрывок из неоконченной поэмы)» (1862, кн. 1) выведены два крестьянина — старик-дворовый и парень-ямщик. Дворовый, защитник ушедшего строя, горюет о развале дворянской жизни, видит в освобождении «один разврат» и, указывая на ямщика, говорит: «Спросите их, куда глядят, чего хотят?» Ответ ямщика, который, конечно, не годился в устные защитники реформы, Майков показал образно, символично:

«Чего?» — Он начал, было, вслух...
Да вдруг как кудрями встряхнет,
Да вдруг как свиснет во весь дух —
И тройка ринулась вперед!

Подобно гоголевской тройке изобразил Майков бег России «вперед — в пространство, без конца»:

Неслись... «Куда те дьявол мчит!» —
Вдруг сорвалось у старика.
А тот летит, лишь вдаль глядит,
А даль-то, даль — как широка!

---

[2] «Ф. М. Достоевский». Под ред. А. С. Долинина. Сб. 1. Пг.— М., 1922, стр. 507—511.

[3] Бабиков Константин Иванович (1840—1873) напечатал в «Русском вестнике» (1861, кн. 5) «Детские годы в деревне», во «Времени» (1863, кн. 4) — повесть «Захолустье», в «Эпохе» (1864, кн. 10—12) — роман «Глухая улица». В 1866—1867 гг. задумал издание несостоявшегося сборника «Чаша», для которого Достоевский написал статью о Белинском, рукопись которой пропала (Письма, т. II, стр. 388—389). Бабиков был близок с Левитовым, судя по письмам последнего.

Этот апофеоз передового движения современной молодежи (вряд ли искренний, судя по уклончивому поэтическому пути автора) надо противопоставить отравленному горечью действительности отклику Полонского на реформу в стихотворении «Беглый» (1861, кн. 11).

Беглый крепостной, который «с горя» дал себя изловить и был отправлен в острог, прослышав о «воле», о которой читают в церквах, «с радости» бежал из острога в родную сторону, в надежде, что ему теперь отмерят землю, объявят волю и никто не сможет его «забижать». В ответ на это он слышит трезвый совет:

Ты куда, удалая ты башка?
Уходи ты к лесу темному пока,
Хоть родное-то гнездо недалеко,
Ночь-то месячна: признать тебя легко.
Знать, тебе в дому хозяином не быть,
По дорогам, значит, велено ловить.

Много откликов на идейную жизнь эпохи находим мы в стихах наиболее плодовитого, но малоодаренного поэта «Времени» — Ф. Н. Берга. В оптимистических либеральных фразах приветствует он всеобщий подъем, которым начинается новая жизнь на родной земле («Заря» 1861, кн. 6), противопоставляет городу, где «средь пыльных улиц городских хлопочет труд, скрежещет голод», деревню, где среди цветущей природы, «трудяся, божий люд идет и песни бодрые поет» (1861, кн. 7). Идиллическое изображение крестьянской жизни после реформы отражается даже в ставшем хрестоматийным его стихотворении «Зайка» («Заинька у елочки попрыгивает», 1862, кн. 12), в котором зайка мечтает стать мужичком:

Нынче мужички-то хорошо живут,
Нынче мужичкам-то волюшку дают.
Волюшку-свободу, волю-вольную,
Что на все иди четыре стороны...

Особенно эта тенденция сказалась в стихотворении «В поле» (1862, кн. 9), которое автор напечатал с подзаголовком «Ф. М. Достоевскому», явно связывая его с «почвенническими» декларациями журнала. Оно начинается:

Дай тебе боже, родная земля,
Мира, свободы, покою!
Как эти села, как эти поля
Крепко сроднились со мною...

Далее идут два десятка стихов, идиллически описывающих природу, урожай, деревенское благополучие, и следующая концовка:

Дай тебе боже, родная земля,
Мудрых вождей и великих.
Чтобы не слышали эти поля
Криков проклятия диких,
Чтоб не лилась неповинная кровь,
Слез неутешных не лилось —
Чтоб вековечно святая любовь
В грешных сердцах воцарилась!

В ряде других стихотворений Ф. Берга — изображение городских бедняков «в промерзлых углах», несущих «тяжелый крест, тяжелый труд». «Толпы счастливых, разодетых» противопоставлены униженным и оскорбленным, которых поэт признает своими братьями и льет «покаянные слезы».

Полным контрастом к деревенской идиллии Ф. Берга прозвучало во «Времени» стихотворение Плещеева «Родное» (1862, кн. 8). Собственно, оно одно как-то отразило его восприятие основного события этих лет — крестьянской реформы — и обнаружило его пессимизм. В мрачных тонах изображает он и родную природу и жизнь народа:

Там чей труд да горе
　　Горе без исхода...
И кругом такая
　　Скудная природа!
　　. . . . . .
Надрывает сердце
　　Этот вид знакомый,
Трудно на чужбине,
　　Так же как и дома!

Все остальные стихотворения Плещеева во «Времени» — или его переводы из Ленау, Гартмана, Теннисона и др., или лирические зарисовки природы в меланхолических тонах.

Нужно сказать еще о помещенных во «Времени» отрывках стихотворных произведений больших форм — поэмы Ап. Майкова «Легенды об испанской инквизиции» (1861, кн. 1) и романа в стихах Полонского «Свежее преданье» (1861, кн. 6 и 10). Обе публикации высоко ценились редакцией, что, в частности, сказалось и в больших гонорарах, выплаченных авторам. Тонкий мастер и знаток средневековой истории и искусства юга Европы, Ап. Майков дал врезающийся в память образ монаха Гуана ди Сан-Мартино, с его фанатической речью о смысле и назначении инквизиции, как спасительницы народных масс путем приведения их «духовным трибуналом» и всеместным шпионажем к полному единству и унификации. Думается, что самое название — «Легенда о Великом Инквизиторе», внешние черты образа, созданного Достоевским, и оттенки его речи возникли под его пером не

без памяти о первой книжке «Времени», где появилась высоко оцененная редакцией журнала «Легенда» Майкова.

О «Свежем преданье» Полонского редакция объявила читателям заранее как о большом литературном событии, напечатав на обложке майского номера 1861 г.: «От редакции. В следующей, июньской книге «Времени» мы печатаем одно из замечательнейших произведений нашей текущей поэтической литературы — первые три главы из романа в стихах Я. П. Полонского «Свежее преданье». Мы говорим об этом произведении как о событии в литературе».

Задача, поставленная себе Полонским,— в традициях пушкинского «Онегина» дать жизнь Москвы 30—40-х годов с ее философскими кружками, группирующимися вокруг Станкевича и Белинского, с центральным образом — Камковым, несущим нечто от реального Клюшникова и литературного Рудина,— несомненно, была близка тому ядру «Времени», которое само пережило и помнило эти годы и этих людей. Но напечатанные главы романа не оказались на той высоте, какую им предрекала редакция. Ф. М. Достоевский писал Полонскому 31 июля 1861 г.: «3 главы Ваши вышли еще в июне и произвели сильное разнообразное впечатление... В публике отзывы (как я слышал) различные, но что хорошо, что ценители делятся довольно резко на две стороны: или бранят или очень хвалят — а это самое лучшее: значит не пахнет золотой серединой, чорт ее возьми!» Сообщая далее о том, как сотрудники «Времени», собравшись вместе, «кстати иль некстати» приплетают иногда к разговору стихи из романа, и о том, что Страхов заучил наизусть все три главы, что Некрасов «в восторге» от романа, он сообщал и о нападках Минаева на роман в «Русском слове» (1861, № 7, «Смесь»). Надо отметить, что Полонский внес в произведение некоторые выпады против «утилитаризма» в поэзии, сводившегося к недооценке поэзии.

Но не только лагерь «Искры» осудил роман Полонского. Резкую критику на него написал Ап. Григорьев в письме к Страхову из Оренбурга 12 августа 1861 г.: «Роман Полонского произвел на меня приятное впечатление — но только приятное, и это скверно. Во-первых, это не роман, а рассказ, повесть... Роман в стихах, чтобы быть романом, должен быть картиной целой эпохи, картиной *типической*. Ни в герое, ни в круге жизни «Свежего преданья» нет типического захвата».

Григорьев обвинял роман Полонского в том, что в нем «мелок захват, и оттого все вышло мелко: и Москва мелка, да и веяния могучей мысли эпохи хвачены мелко». Нет «кряжевой натуры» в герое, он ничтожен, лиризму не хватает огня, Москву Полонский не знает: «О Белинский, Белинский! — вспомнил я по прочтении романа Полонского стихи Кантемира, коими он заключил рецензию на его первые опыты, т. е.: Уме недозрелый и проч. В этом, увы! была и правда!» В письме 12 декабря Ап. Григорьев вновь резко отрицательно отозвался о романе Полонского.

Отметим, что Полонский, задетый выступлениями Минаева и Писарева в «Русском слове», тогда же написал колкий ответ под названием «Давнишняя просьба», но напечатал его только в 1871 г. «Свежее преданье» он, не продолжая, бросил. Свойственная ему неуверенность в себе, отсутствие твердых убеждений, своей позиции, отразились в двух его стихотворениях, помещенных в № 4 и № 11 «Времени» за 1862 г., «Двойник» и «Белая ночь» (названия двух ранних повестей Достоевского!). Рядом с последним им напечатано еще стихотворение «На мызе», посвященное Е. А. Штакеншнейдер. В нем Полонский откликнулся на популярную тему женской эмансипации, изобразив стремления обеспеченной девушки от домашнего «рая» к бурной общественной жизни. Как автор писал, «в Питере и даже в литературных кругах стихи эти пользуются успехом».

В заключение обзора поэтов и их творечества во «Времени» отметим, что в 1863 г., накапуне закрытия, в нем появились новые имена — Шевченко «Послание к Основьяненко» в переводе Гербеля, одно стихотворение Л. Пальмина и «Хуан (из драматических сцен Барри Корнвеля)» М. Л. Михайлова, под псевдонимом Мих. Илецкий. В это время Михайлов, осужденный за составление и распространение прокламаций, находился на каторге, в Забайкалье.

С сентября 1862 г. во «Времени» появился подраздел «Русский театр», который вел Ап. Григорьев. В первой же своей статье «Современное состояние драматургии и сцены» он провозгласил основной свой тезис: театр «по сущности своей должен быть делом народным» и подверг критике русский драматический репертуар современных столичных театров: «Театр, как дело серьезное и народное, начался у нас тоже недавно, начался настоящим образом с Островского, ибо Пушкин писал свои драмы не для сцены; великие же произведения Грибоедова и Гоголя попали на сцену совершенно случайно и долго высились уединенно над ее пошлым хламом, но во всяком случае театр у нас начался».

Требуя от драматургии, чтобы она служила «выражением жизни и вместе разъяснением и образумлением жизни», Ап. Григорьев, как в этой, так и в следующих статьях (№№ 10, 11, 12, 1862 г.), возмущался «хламом», который заполнял репертуар, и негодовал, что пьесы, составляющие подлинное богатство русской драматургии, как старой, так и той, что «имеет настоящее, бытовое, жизненное значение», на сцене не ставятся. В каждой статье он указывал на недостаточное внимание к Островскому, на ряд его пьес, которые не появляются на сцене, в то время как продолжают ставить пьесы Полевого, Кукольника, пошлые водевили, свои и переводные, а также подражания Островскому, в которых заездили до тошноты тип самодура, борьбу с «образованностью» и т. п.

Культ Островского, характерный для Ап. Григорьева, был близок редакции журнала. Автор статьи о «Грозе», Мих. Мих. До-

стоевский стремился с основания журнала привлечь в него Островского. Федор же Михайлович, вероятно так же в 1862 г., задумывал статью, для которой предназначался набросок в записной книжке 1861—1862 гг., начинающийся так: «В статью *Гоголь* и Островский. Не в свои сани не садись, Бородкин, Русаков, да ведь это анализ русского человека, главное: *Прямота* отношений. Он и любит прямо, закорючек *нет,* прямо выскажет, сохраняя все высокое целомудрие сердца...»

Переписка обоих братьев с Островским свидетельствует, как высоко ценила редакция его участие в журнале. В кн. 9 за 1861 г. Островский дал «За чем пойдешь, то и найдешь. Картины из московской жизни». Благодаря его, Ф. М. Достоевский писал, что все в пьесе «до того живо и действительно, до того *целая* картина, что теперь, кажется, у меня она во век не потускнеет в уме». Если эта пьеса восхищала Достоевского типичностью и картинностью, то вторая, помещенная в январской книге за 1863 г., «Грех да беда на кого не живет» отвечала идейным установкам журнала и пониманию народности его ведущими сотрудниками.

В феврале 1863 г. появилась в журнале очередная статья Ап. Григорьева о театре, почти вся посвященная творчеству Островского и содержащая разбор двадцати его пьес с «Семейных сцен» 1847 г. до только что напечатанной во «Времени» «Грех да беда...» Основная его мысль та же, но еще категоричнее выраженная: «Русский театр в серьезном смысле этого слова заключается в одном Островском. Это нисколько не фанатизм и даже не увлечение с моей стороны. Наш *народный* театр, *русский* театр начинается с Островского». Оставя разбор новой драмы на долю Страхова, Ап. Григорьев рассмотрел ее постановку в театре, высоко оценив Васильева 2-го в роли Краснова, мочаловская игра которого заставила всех поверить, что «совершилась трагедия».

В этой же февральской книжке было помещено «Письмо в редакцию «Времени» Страхова — «Новое художественное произведение и наша критика». Отвечая критикам новой драмы Островского, Страхов дает ее истолкование в духе «почвы», изображения «кряжевой русской жизни», не понятого критиками, которые, повторяя мысли статей Добролюбова, продолжают твердить о «темном царстве», «самодурах» или продолжают видеть в Островском защитника застоя и невежества. До нас дошел черновой набросок Ф. М. Достоевского, относящийся к этому же времени, который свидетельствует, что он так же, как Григорьев и Страхов, находился под сильным впечатлением от пьесы Островского. Отрывок в 3 страницы начинается так: «Об игре Васильева в «Грех да беда на кого не живет». Вы хотите, чтоб я описал вам мое впечатление от игры Васильева...»

Значение наброска Достоевского в ответе «Русскому вестнику», который считает невозможным представить себе купца влюбленным и этим «отнимает у русского человека чуть не последнюю способность человеческую, так сказать уже животную способ-

ность: любить и ревновать». Краснов очищен страданиями, он не пойдет на сделки, он уважает себя. Это — натура, а не самодурство. Смотря игру Васильева, Достоевский «воочию убедился, что лицо это — правда!» Рядом с ним ничтожна Таня, ее сестра и гаденький» Бабаев, в котором критика готова видеть жертву или протест самодурству, в то время как он «пошл как дурак» [4].

Кроме пьес Островского во «Времени» были помещены драматические произведения четырех авторов, обличавших крепостные, помещичьи и чиновничьи нравы, мещанский провинциальный быт. Это — «Житейские сцены» Плещеева («Крестница», «Свиданье» — 1861, кн. 11; «Командирша» — 1862, кн. 10), в которых на фоне сатирически изображенных провинциальных помещиц, чиновниц и военных сделана слабая попытка нарисовать положительные образы демократической молодежи —учителя и «воспитанницы» из «вольноотпущенных». Это — комедия «Липочка» совсем юного В. П. Острогорского, активного участника передового педагогического движения 60-х годов, будущего крупного педагога и автора трудов по истории литературы. Его «Липочка» написана под сильным влиянием «натуральной школы» 40-х годов с ее «бедными чиновниками», обольщенной девушкой и бездушными представителями столичной чиновной молодежи.

Интереснее и современнее «Помешанный» — «Сцены» С. Н. Федорова, напечатанные в марте 1861 г. и отражающие предреформенные настроения в мелкопоместной среде, которая ополчается против женитьбы помещика на своей крепостной: «Ведь это наконец реформой пахнет!...». Автор «Сцен» Федоров, друг Плещеева по Оренбургу. Плещеев ввел его в редакцию «Современника», где Федоров напечатал в 1858—1860 гг. несколько драматических сцен. Плещеев же рекомендовал его редакции «Времени». Позднее с ним сблизился в Оренбурге Ап. Григорьев.

Особое место в «обличительных» сценах, напечатанных во «Времени», заняли «Недавние комедии» Щедрина (1862, № 4) не только по разящей силе сатиры, но и по захвату тех верхних кругов старой администрации, которых не касались другие авторы «Времени». Тема обеих комедий — изображение того, как на местах идеи «эмансипации», идущие из столицы, воспринимаются либералами-предводителями, помещиками, решившими взять «эмансипацию» измором («Соглашение»), как, опасаясь «благодетельной гласности», сдерживает себя генерал, а претендующий на новое место Пересвет-Жаба, либерально толкующий о гражданственности, о благоденствии и помещиков и крестьян, провозглашает, что «строгость — это, так сказать, главнейший нерв администрации» и что у него «все останется по-старому» («Погоня за счастьем»).

Укажем еще на комедию Н. Полетаева «Голая правда» (1862, № 5), которая написана явно под влиянием Островского, но не-

[4] «Северный вестник», 1891, кн. 11, стр. 32—34.

приятно натуралистична в изображении богатой провинциальной купеческой семьи, глава которой при всем своем невежестве и отвратительной грубости оказывался выше мошенников из «благородных», которые окружили его по приезде в Москву. Тот же Полетаев — автор «Народных сцен. В лесной глуши», посвященных Плещееву (1863, № 4), в которых отразилось влияние Тургенева, его «Бежина луга». Возможно, что автор поставил себе целью показать, как изменились в 1860-х годах разговоры парней в ночном, как отвергаются «бабьи россказни» о чертях и русалках, а передаются от дьячка и «дохтура» идущие сведения о вращении земли, вулканах и электричестве. Это — своеобразное отражение идей эмансипации в лесной, крестьянской глуши.

Лишь в одном драматическом произведении действие происходит в высших петербургских кругах, но и его содержание тесно связано с современностью: это проблема эмансипации женщины, ее бессилие протестовать против власти изменяющего ей мужа, сознание своего неравноправия и бессмысленной, пустой и лживой жизни (Николай Воскресенский. Безвыходное положение. Драматический этюд. В стихах. «Время», 1862, кн. 8).

Трудно понять, что могло привлечь редакцию журнала к драме Фр. Геббеля «Магдалина» (1844), перевод которой был помещен во второй книге 1861 г. Хотя она и являлась наиболее реалистичной и социально заостренной среди произведений этого представителя консервативной буржуазной немецкой литературы, но обрисованный в ней быт и религиозные воззрения немецкого мещанства вряд ли чем-нибудь могли быть интересны для русского читателя эпохи всеобщего подъема и переоценки ценностей. Вероятно, ее публикация объяснялась тем, что ее предложил Плещеев (переводчики — он и В. Костомаров), а также тем, что она была принята еще в месяцы формирования первых книг журнала.

Переводчики поместили от своего имени предисловие, характеризуя Геббеля как «замечательнейшего современного немецкого писателя, лирика и драматурга», и хотя признавали, что в других его пьесах «много фантастичности», но считали, что в «Магдалине» «все верно действительности, нет ничего лишнего... это трагедия в полном, истинном значении слова, построенная на столкновении личности с судьбой, свободы и необходимости». Вероятно, отвечая на эти похвалы, предпосланные драме, Ап. Григорьев в числе других отрицательных качеств, обнаружившихся во «Времени», писал Страхову 12 декабря 1861 г. из Оренбурга: «..нельзя печатать, как нечто *хорошее*, драму Геббеля».

Художественная проза представлена во «Времени» свыше сорока авторами, напечатавшими свыше семидесяти произведений. По объему она занимает около половины каждой книги журнала. Поэтому сколько-нибудь детальное рассмотрение ее состава, а тем более качества заняло бы слишком много места. Мы ограничим себя попыткой ее деления на разные жанры и характеристикой этих жанров с перечнем наиболее значительных в том или ином

отношении произведений. Естественно, что в характеристиках художественной прозы нас будет прежде всего интересовать ее связь с общим направлением журнала, изложенным в редакционных «Объявлениях» и отраженным в его общественно-политических выступлениях, освещенных в предшествующих главах.

Кроме Ф. М. Достоевского, во «Времени» не оказалось выдающихся мастеров художественной прозы, пользующихся широкой известностью. Многократные обращения к Тургеневу и его обещания в результате дали лишь одно его произведение для «Эпохи». Никаких связей с Гончаровым, Л. Толстым у редакции журнала не было. Среди авторов повестей, романов, рассказов были и опытные сорокалетние литераторы и начинающая молодежь, что отражалось и на выборе материала и на его трактовке.

Нетрудно наметить несколько направлений в творчестве прозаиков «Времени». Это — эпически развивающийся поместный роман из предреформенной эпохи, в котором конфликт отходящего и наступающего играет большую или меньшую роль. Это — повести или рассказы из губернского или уездного быта с сатирическим обличением дворянских, чиновничьих и офицерских нравов. Это — социальные контрасты столицы и анализ психологии ее «униженных и оскорбленных». И, наконец, изображение народной жизни и типов, взятых из крестьянской и мещанской среды.

В первый же год «Время» поместило две повести Ю. Жадовской — «Женская история» (кн. 2, 3, 4) и «Отсталая» (кн. 12). В 1846 г. Белинский сурово осудил стихи Жадовской за то, что автор «отворачивается» от жизни и людей: «Нужно слишком много смелости и героизма, чтобы женщина, таким образом отстраненная и отстранившаяся от общества, не заключилась в ограниченный круг мечтаний, но ринулась бы в жизнь для борьбы с нею, если не для наслаждения, которого возможности пе видит в ней» [5]. Прошло пятнадцать лет, и в своих повестях Жадовская вступила в борьбу за новую, эмансипированную женщину. «Это было в то время,— писала она во второй повести,— когда первая живая весть об освобождении крестьян пронеслась грозным ударом над мраком закоснелого эгоизма и невежества». Обе ее героини испытывают влияние современных идей через беседы и книги, которыми их снабжают «развивающие» их друзья. Девушки вырываются из осуждаемого ими общества и по-своему строят свою жизнь. В либерально-сентиментальном духе рисуется их отношение к крепостным.

Та же тема: молодая девушка в семействе самодура-крепостника — в романе двадцатилетнего автора К. И. Бабикова («Захолустье», 1863, кн. 4. См. выше о его стихотворении «Старый дом»). Ее поклонник, молодой мечтатель, непригодный для жизни, и другой — язвительный, озлобленный приживальщик-неудачник, человек 40-х годов, называющий себя «гамлетиком, коптителем

[5] *В. Г. Белинский.* Собрание сочинений т. X, 1956, стр. 35.

неба», спорят о философии, литературе и признают превосходство нового современного поколения: «Наше время прошло. Вы вглядитесь на молодое поколение, сила-то какая? Они, может быть, и хуже нас, но они нужнее. Их не сломишь, да и согнуть трудно, а припомните-то, как нас гнули!»

Чтение и споры окружающих вызывают в девушке «перелом, предуготовленный всем ее развитием: спокойствие было разрушено, т. е. то отрицательное спокойствие, вследствие которого она еще так недавно говорила, что не желает иной жизни, потому что не знает иной. Куда поведет ее это новое настроение — кто мог сказать? Но во всяком случае жить так, как жила она дотоле, она не могла уже».

Как характер Ольги, так и образы ее двух поклонников свидетельствуют о влиянии романов Тургенева, не говоря уже об описаниях среднерусской природы и усадьбы.

Еще одна повесть, отражающая тему женской эмансипахии, принадлежала С. Федорову, оренбургскому приятелю Плещеева и Ап. Григорьева,— «Вражье лепко, да божье крепко. Рассказ няни» (1862, кн. 1). 12 декабря 1861 г. Григорьев писал Страхову из Оренбурга: «Федоров (Ст. Ник.) шлет вам вещь истинно хорошую. В этом малом есть действительно талант. Тебя самого удивит эта вещь с ее смелым и глубоко верным концом, с ее замечательной выдержанностью формы». Григорьеву понравился, очевидно, мещанско-простонародный колорит речи няни и разрешение семейного конфликта — уходом жены в монастырь на год, «для очищения» от любви к развратному прожигателю жизни, который составлял полную противоположность ее благородному, умному и любящему мужу. Ее «эмансипированное» поведение в браке и обращение к монастырю тоже как-то перекликается с романами Тургенева.

Влияние Тургенева увидел современник в романе Салова «Бутузка» (1863, кн. 2, 3). До нас дошло интересное свидетельство начинавшего свою литературную деятельность П. В. Быкова, присутствовавшего на чтении этого романа в редакции «Времени». Нарисованная им картина позволяет внести в наше исследование о журнале подлинное дыхание эпохи и нагляднее представить себе жизнь редакции:

«Да, я помню твердо, это было ровно шестьдесят пять лет назад. Я опять принес в редакцию журнала «Время»... уже заказанный мне новый перевод какого-то рассказа старого французского романиста Амедея Ашара. Войдя в маленькую приемную, я попросил секретаря редакции доложить обо мне. Из смежной комнаты послышался голос: «Попросите обождать немного»,— но тотчас же вслед за тем другой голос убедительно говорил: «Нет! нет! Пусть войдет и послушает... Начинающим это полезно!» Голос, разрешавший мне войти в «святая святых», принадлежал самому Федору Михайловичу Достоевскому. Кроме него, в святая святых сидели: Михаил Михайлович, родной брат автора «Уни-

женных и оскорбленных», тоже беллетрист, переводчик гетевской поэмы «Рейнеке-Лис»; Вс. Вл. Крестовский, автор пламенных стихотворений, а впоследствии романа «Петербургские трущобы»; Александр Петрович Милюков, историк литературы, некогда причастный к делу Петрашевского, старый приятель Достоевских, гвардейский офицер Петр Алексеевич Бибиков, только что совершивший поездку на Юг; Александр Егорович Разин; Федор Николаевич Берг в своей кумачовой косоворотке.

М. М. Достоевский сидел на диване и читал повесть в гранках. Возле него помещался Милюков и изредка заглядывал в набор.

— Мы читаем новую, свеженькую вещицу талантливого писателя,— сказал мне Михаил Михайлович.— Присаживайтесь и слушайте. Поучитесь, как писать надо... Просто, естественно, занимательно и без претензий.

Говоря это, Михаил Михайлович улыбался, как будто давая мне понять, как неизмеримо слаб был мой рассказ, который он забраковал дней за десять перед тем и который был написан в обличительном духе, во вкусе тенденциозных беллетристических произведений конца 50-х годов».

Далее Быков кратко изложил содержание романа Салова «Бутузка», и охарактеризовал «юродствующую» старуху-помещицу, в жизни которой главную роль играла старая собачонка. «Я с удовольствием слушал эту повесть, в которой с большим мастерством описывалась деревенька, где происходило действие, ее природа, ее люди со всем их бытом до мельчайших подробностей... Временами мне казалось, что в повести есть места, сильно напоминающие Тургенева. Та же простота, та же художественность, манера, настроение.

Автор заинтересовавшей меня повести обнаружился очень скоро. Окончив чтение, Михаил Михайлович Достоевский и его сосед Милюков почти в один голос воскликнули: «Мило, очень мило. Талантливо!» А Федор Михайлович, встав со своего места и подойдя к господину, сидевшему как-то в сторонке, сказал: «Мне приятно, Илья Александрович, что вы берете сюжеты ваших рассказов из быта деревенского... У нас еще с сороковых годов затрагивали этот быт. И все же, скажу прямо, это — непочатый угол. А скажите правду, это портрет с натуры?»

Салов подтвердил догадку и рассказал о своем деревенском житье, которое и служило ему материалом для писания.

«Вы хорошо сделали,— продолжал Федор Михайлович,— что дали вашу вещь нам, а не Некрасову. Там, пожалуй, и не оценили бы вашей Бутузки — и Федор Михайлович словно впился глазами в автора повести и выжидал, что именно он ответит. Но автор не сказал ни слова. Федор Михайлович отошел от него, нервно пожав ему руку, и, подойдя ко мне, спросил: — Принесли? Потрудились над отделкой перевода? Отлично! Не правда ли, я отлично сделал, что задержал вас и вы прослушали эту милую вещь... хоть и не всю? Не раскаиваетесь? Хотите, познакомлю...

Автор «Бутузки» разговаривал в это время с Разиным и, сколько помнится, с Александром Устиновичем Порецким, литератором-невидимкой, много писавшим, но никогда не подписывавшим своего имени».

Достоевский познакомил Быкова с Саловым, и автор воспоминаний описал далее симпатичный облик Салова, их разговор, позднейшие встречи и беседы с ним. Он привел, между прочим, объяснение Салова, почему тот не ответил Достоевскому на его замечание о редакции «Современника»: Салов высоко ценил «критическое чутье» Некрасова, помогавшего ему своими советами.

В своем романе Салов пытался смягчить впечатление от жестокой крепостницы, изобразив ее соседа, защитника крепостных и идеального хозяина. В его руки в конце концов переходит имение старухи [6].

Ничего «тургеневского» не было в двух романах Г. П. Данилевского, которые поместила редакция «Времени» в 1862 и 1863 гг. Когда автор выпустил их отдельным изданием в 1863 г. под общим названием «Воля», Щедрин написал беспощадно-издевательскую рецензию. Называя романы Данилевского «хлестаковщиной», сравнивая их со сказками «вроде Дюма-отца и Феваля», он высмеивал и запутанность сюжета, за развитием которого невозможно следить и в котором путается сам автор, и язык персонажей, и самих персонажей, часто совершенно лишних, и «балетное» изображение крестьянских волнений. Но основное его обвинение в измене направлению русской литературы, заложенному Белинским,— уяснять *смысл* события и его внутреннюю историю, а не изображать нагромождение событий. И уже не ирония, а подлинный гнев звучит в словах сатирика, когда он говорит о «хлестаковски» изображенном народном восстании: «Есть тут даже крестьянский бунт, заправский крестьянский бунт с «пророком» и «пророчицей»... Ну, вот это уж и нехорошо, г. Скавронский! Ну, как-таки браться за такой предмет! ведь это не то, что «бювешки» да «манжешки» описывать, ведь это сюжет серьезный».

Еще годом ранее Щедрин высказал претензии «Времени» по поводу сотрудничества в нем Данилевского: «Нам кажется странным, что почтенная редакция «Времени» решилась напечатать письмо Г. А. Скавронского... если она и дорожит сотрудничеством Г. А. Скавронского, все-таки обязана была внушить ему, что хлестаковщина в литературе допущена быть не может. Ведь«Время» очень хорошо знает, что не «Село Серановка» и не «Бедные в Малороссии» составляют силу журнала — ну и пускай бы себе шел Г. А. Скавронский с своими протестами в «Сын Отечества» [7].

---

[6] *П. В. Быков.* Силуэты далекого прошлого, стр. 56—62.

[7] *М. Е. Салтыков(Щедрин).* Собрание сочинений в двадцати томах, т. V. М., 1966, стр. 334—337 и 408—416.

Надо думать, что редакция «Времени» хорошо видела недостатки повествования Данилевского, хотя вряд ли Ф. М. Достоевского могли испугать нагромождения событий, запутанность интриги и многочисленность персонажей. Вероятно, помещая «Беглых в Новороссии» (1862, кн. 1 и 2) и «Беглые воротились» (1863, кн. 1—3), редакция учитывала тот успех, который будут иметь у широкого читателя эти до какой-то степени авантюрные романы, но можно уверенно говорить, что, помещая их, редакция в первую очередь должна была учитывать их жгуче злободневное содержание. В них изображался буквально вчерашний и сегодняшний день поместной России, канун реформы и начало ее проведения со всеми осложнениями, которые она встретила и среди крепостников и среди крестьян. При некоторой феерничности, «балетности» изображения романы все же в целом смело и верно рисовали общую взбудораженность поместной и крестьянской России с явной симпатией к последней и очень смело высмеивали бюрократию, полицию и особенно помещиков разных типов и мастей.

К «поместным» романам и повестям в журнале примыкают рассказы, очерки, воспоминания, содержание которых полностью относится к уходящей крепостной России. В них фиксируются или отдельные типы, случаи, или рисуются сцены и нравы ряда провинциальных городов и поместий без обличительного пафоса, без саркастического освещения угнетателей, без сентиментального сочувствия угнетаемым, но с несомненной осуждающей оценкой изображаемого. Сюда надо отнести «Рассказы дворового» (1862, кн. 11) Н. Бондровского, «Знакомые. Воспоминания былого» (1861, кн. 7) М. Каменской и особенно большие очерки А. С. Афанасьева-Чужбинского, помещенные в восьми книгах 1861 и 1862 гг.

Бывший военный, этнограф, путешественник, Чужбинский был к этому времени довольно известным литератором-беллетристом. Направленный по поручению Морского министерства для исследования Днепра и Днестра, он издал «Поездку в Южную Россию. Часть I. Очерки Днепра». Во «Времени» (1861, кн. 10) была помещена на нее рецензия, где при высокой общей оценке сведений, которые дает Чужбинский, с осуждением отмечается его доверчивая позиция по отношению к сообщениям процветающих помещиков и излишне подчеркиваемое стремление к сближению с народом.

Приводя ряд свидетельств Чужбинского, рисующих взяточничество, рукоприкладство чиновников, страх перед ними невежественного крестьянства, рецензент иронизирует, однако, над автором, для которого вид кулака невыносим и оскорбителен, но который не задумываясь пользуется услугами, добываемыми для него таким путем.

Чужбинский сотрудничал в «Современнике» с 1855 по 1861 г. В 1863 г. при возобновлении «Русского слова» Благосветлов при-

гласил Чужбинского ответственным редактором издания [8]. Во «Времени» Чужбинский поместил под общим заглавием «Очерки прошлого»: «Ремонтеры прошлого времени» (1861, кн. 12); «Конокрады. Физиологический очерк» (1862, кн. 4); «Моншеры» (1862, кн. 7); «Самодуры» (1862, кн. 11, 12) — в целом составляющие красочную картину офицерского и помещичьего быта юга России в первую половину века, представлявшие занимательное чтение.

К воспоминаниям Чужбинского из военно-дворянского быта близко примыкают помещенные в 1862 г. публикации А. М. Фатеева «Переселенец» (кн. 3) и «Мелочи военного быта» (кн. 9). Под тем же заглавием Фатеев печатал свои воспоминания в «Современнике» 1860—1861 гг.

Параллельно с «поместными» романами и воспоминаниями прошлого, в которых нашла отражение главная тема времени — ликвидация крепостного права, в журнале помещались остро обличительные произведения, направленные против бюрократических порядков и специфической, ими порожденной психологии столичного, губернского и уездного чиновнического общества. «Скверный анекдот» Достоевского (1862, кн. 11) и «Наш губернский день» Щедрина (1862, кн. 9) неизмеримо превосходят остальные опыты в этом роде не только художественным совершенством, но и смелостью сатиры. «Наш губернский день», так же как и выше упоминавшиеся «Недавние комедии» Щедрина, вошел в изданный им в 1863 г. сборник «Сатира в прозе», подвергавшийся и при позднейших переизданиях преследований цензуры. Помещение этих произведений Щедрина в журнале Достоевских не может не свидетельствовать о известном идейном контакте писателя и редакции в это время [9].

Сатириком и «обличителем» уже зарекомендовал себя молодой М. М. Стопановский, который начал свое сотрудничество в «Искре», «Отечественных записках» в конце 50-х годов, а в 60-х годах сотрудничал в «Современнике». Он поместил во «Времени» (1861, кн. 8) очерк «M-r Отрепьев и M-me Боярышникова», где изображался произвол чиновничьей верхушки и полицейского начальства в глубокой провинции, от которого страдают честные и добросовестные мелкие чиновники. Характерно для очерка также высмеивание опошленных либеральных взглядов и идей женской эмансипации, которыми в уродливой форме щеголяют персонажи очерка [10].

---

[8] *Ф. Кузнецов.* Журнал «Русское слово», стр. 145.

[9] Надо отметить, что до конца 1862 г. имя Щедрина довольно часто и благожелательно упоминалось во «Времени». Отношение резко изменилось в начале 1863 г., о чем см. главу XIII и XIV.

[10] О связях М. М. Стопановского с социалистически настроенным кружком екатеринославских литераторов-разночинцев, о их деятельности в русле «обличительной» литературы и влиянии на них Щедрина см. в статье И. Е. Баренбаума о мемуарах Н. П. Баллина (сб. «Революционная ситуация в России...», 1970, стр. 298—306).

К «обличительному» жанру надо отнести и рассказ Плещеева «Ловкая барыня. Провинциальные сцены» (1861, кн. 5), и его же поэму «Она и он» (1862, кн. 9). Однако параллельно с изображением гнусной среды, где господствуют интриги, сплетни и где столичные идеи эмансипации не только опошляются, но и окарикатуриваются, у Плещеева отводится много места сентиментальному изображению тех, кто не умеет «свои обделывать дела» и гибнет жертвой «ловких барынь» и дельцов. Историю восхождения и расцвета одного такого дельца, из скромного провинциального гимназиста превратившегося в богатого петербургского домовладельца и влиятельного чиновника, «глубоко и широко пустившего корни своей власти в министерской почве», изобразил Тверской (псевдоним?) в очерке «Ловкий человек» (1862, кн. 3).

От романа Достоевского «Униженные и оскорбленные», печатавшегося в книгах 1—7 за 1861 г., идет в журнале особая линия прозы, далекая и от поместного романа и от обличительно-сатирических повестей, рассказов и сцен, так как ее пафос не в разоблачении князей Валковских и им подобных, а, говоря словами Добролюбова, в обнаружении «вечного, неисторжимого никакими муками сознания своего человеческого права на жизнь и счастье» тех, кто является их жертвами.

Добролюбов разобрал этот роман из жизни «бедного люда среднего класса» столицы, тесно связав разбор с творчеством Достоевского сороковых годов. И объяснялось это не только тем, что с печатанием нового романа совпал выход в свет двухтомного собрания ранних сочинений Достоевского, но и тем, что роман оказался с ними внутренне связан теснейшим образом. Он почти лишен признаков рождения на рубеже 50-х и 60-х годов отголосков идей, которыми полна была журналистика этого времени и самый журнал братьев Достоевских. По цензурным соображениям не мог сделать общественно-политических выводов из романа Достоевского и Добролюбов, который писал: «Мы нашли, что забитых, униженных и оскорбленных личностей у нас много в среднем классе, что им тяжко и в нравственном и в физическом смысле, что, несмотря на наружное примирение с своим положением, они чувствуют его горечь, готовы на раздражение и протест, жаждут выхода... Но тут и кончается предел наших наблюдений».

Известно, что Достоевский признавал недостатки своего романа, вызванные спешкой и журнальной работой, но отрицал мнение Ап. Григорьева, что в этом была вина М. М. Достоевского, якобы эксплуатировавшего в журнале талант брата. «Начинавшемуся журналу, успех которого был мне дороже всего, нужен был роман, а я предложил роман в четырех частях. *Я сам* уверил брата, что весь план у меня давно сделан (чего не было), что писать мне будет легко, что первая часть уже написана и т. д.» Критикуя далее свой роман за то, что в нем «много кукол, а не людей», «ходячие книжки, а не лица», Достоевский признавал наличие в нем поэзии, художественности и верности «двух наиболее

серьезных характеров... Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь»,— писал Достоевский в «Эпохе» 1864 г. в «Примечании» к статье Страхова об А. А. Григорьеве [11].

В нашу задачу не входит оценивать значение «Униженных и оскорбленных» как определенного этапа в развитии творчества Достоевского и той связующей роли между персонажами ранних повестей и действующими лицами позднейших романов, которую сыграли образы Ивана Петровича, Нелли, Валковского и других. Приговор автора был, конечно, слишком суров и несправедлив. Появление романа встретило у первых читателей, среди которых были Чернышевский и Добролюбов, значительный интерес и сочувствие. Внимательный глаз находил в нем глубокое уважение к образу и идеям Белинского, сатиру на либеральную болтовню о реформах, но прежде всего через скопление драматических положений и переживаний героев, через их отчаяние и гибель он видел ту социальную основу, на которой могла развернуться трагедия петербургских униженных и оскорбленных. Это была уже не крепостная действительность 40-х годов, а действительность капиталистического города, где властвовала мораль дельцов и приобретателей.

Можно назвать несколько произведений во «Времени», в которых видны попытки разрабатывать психологию петербургской бедноты «среднего класса» и показывать безвыходное положение «униженных и оскорбленных». В 1861 г. это рассказы Крестовского («Погибшее, но милое созданье», кн. 1) и Моллера («Под качелями», кн. 6), художественно малозначительные, но примечательные тем «надрывом», на котором строится их сюжет: в первом случае это проститутка, пляшущая канкан в ресторане, и она же — трогательная мать у кровати своего ребенка, во втором — это нищий чиновник, которого с больной женой и детьми выселяют с квартиры и который с отчаяния нанимается сыграть клоуна в масленичном балагане, где не только зарабатывает нужную сумму, но и находит в случайной труппе сочувствие и понимание.

Очерки П. Н. Горского — это попытка показать представителей «среднего сословия», скатившихся на столичное «дно», но и здесь оказавшихся наглухо отгороженными от народа. В очерке «День на бирже, ночь на квартире (Из записок голодного человека)» (1862, кн. 12) не подготовленный к трудовой жизни, не способный ни к чему другому, как к переписке бумаг в канцелярии или маршированию на плацу, рассказчик вынужден наниматься на бирже разгружать суда: «Как я ни подделывался под мужицкий склад речи, под простонародный образ суждений — от меня так и несло желчной иронией Гоголя, воззрениями Тургенева, рифмованными слезами Некрасова... Поденщики из мужич-

---

[11] *Достоевский*, т. XIII, стр. 350—351.

ков не обращали ни малейшего внимания на меня, а молча, не горячась, делали свое дело...».

Целую галерею таких опустившихся бедняков из регистраторов, надворных советников в отставке, спившихся дьячков, литераторов и других типов изобразил Горский в «физиологическом очерке» «Бедные жильцы» (1863, кн. 1), где многие зарисовки, особенно стариков-отцов, наводят на мысль о будущей семье Мармеладовых.

В последней книге «Времени» была напечатана повесть Горского из того же цикла «Бедные жильцы» — «Высокая любовь». Несомненна ее связь с ранними повестями Достоевского, а образ Наташи заставляет вспомнить о Соне Мармеладовой. П. Быков, описывая компанию, в которую он попал в начале 60-х годов, упоминал о Сачкове, «мелком чиновнике, стихотворце, писавшем почти исключительно на темы о канцелярской службе, вспоминал о непроглядной тьме бедняков, о Петре Горском, помещавшем недурные повести и рассказы не только в мелких изданиях, но «и в толстых журналах». Он сообщил, что Горский «в рассказе «Высокая любовь» вывел своего друга Сачкова, изобразив попутно быт литературной богемы. Рассказ этот очень понравился Достоевскому и был напечатан в его журнале...»

Редакция приняла у Горского рассказ и для следующей книги журнала под названием «В больнице и на морозе». Но издание «Времени» было запрещено, и рассказ появился только в 1864 г. в «Эпохе» (кн. 1—2). Ф. М. Достоевский писал брату 26 марта 1864 г. из Москвы, что этот рассказ ему «очень понравился», и продолжал: «В защиту Горского можно сказать, что это совсем не литература и с этой точки глупо рассматривать, а просто *факты* полезные».

В письме от 13 апреля Достоевский советовал брату: «Достань для марта, если возможно, статью у Горского, с бойким заглавием. Вот такие-то статьи и читаются публикой. Я видел, как в Москве эту статью стар и мал читали и об ней говорили. Это ясно, это понятно. Это и заманчиво».

А. С. Долинин высказал предположение, что Горский, с которым Достоевского связывали не только литературные, но и личные отношения, «мог бы, кажется, быть некоторыми чертами своими прототипом капитана Лебядкина, отчасти и Федора Павловича Карамазова» («Письма», II, стр. 422) Мы думаем, что правильнее иметь в виду только первого. Долинин указал лишь на сходные моральные качества, он не отметил, что Горский был также «штабс-капитан в отставке», писал и печатал разного рода вирши, и патриотические и сатирические, козырял своей бывшей военной карьерой и в пьяном виде являлся таким же деспотом со своей любовницей М. Браун, как Лебядкин с сестрой-хромоножкой. Кроме того, у Горского в его очерке «Бедные жильцы» выведен «регистратор Лебедкин», упоминаемый и в «Высокой любви».

Нельзя не обратить внимания на богато представленный во «Времени» жанр воспоминаний о детских и ученических годах, к которому надо отнести восемь обширных, очень разных по художественным достоинствам, по материалу и по отношению к нему авторов произведений. Эти воспоминания рисуют широкую социальную, реалистически написанную картину России второй трети XIX века, написанную критически, а в некоторых случаях и обличительно настроенными шестью авторами. Может быть, только в воспоминаниях Ап. Григорьева «Мои литературные и нравственные скитальчества» (1862, кн. 11, 12) преобладает скорее лирическое, чем критическое, начало в изображении детских лет и домашних занятий в московской получиновничьей, полумещанской семье.

Спокойно констатирует трудности, пережитые рядовой мещанской семьей, захотевшей дать гимназическое образование способному мальчику, А. П. Милюков в рассказе «Увольнительное свидетельство» (1863, кн. 1). Но это — старшее поколение авторов «Времени». По-иному излагают воспоминания о совсем недавнем прошлом молодые мемуаристы, и здесь на первом месте надо назвать Помяловского, выступившего во «Времени» с рассказами о бурсе — «Зимний вечер в бурсе» («Бурсацкие нравы», 1862, кн. 5, 9). Уже приобретший широкую известность «Мещанским счастьем» и «Молотовым», напечатанными в «Современнике» в 1861 г., Помяловский и свои очерки о бурсе продолжал после закрытия «Времени» в «Современнике» 1863 г.

Дошедшие до нас письма Помяловского к Достоевскому свидетельствуют, что еще до публикации во «Времени» очерков о бурсе он получал от него какую-то помощь. 26 декабря 1861 г. Помяловский писал Федору Михайловичу: «Я не знаю, как и благодарить Вас за Ваше благодушие и полную готовность помочь мне, которую я вот *не раз* уже испытал. Если можно, извините меня за все беспокойства, которые я доставил Вам. Даст бог, я сумею быть благодарным за Вашу постоянную готовность делать мне добро». Возможно, что внимание Достоевского к Помяловскому было привлечено Полонским, который, желая спасти Помяловского от запоя, поселил его у себя и опекал его. Мог сыграть роль и друг Помяловского Н. А. Благовещенский, который печатался во «Времени» и в своем очерке о Помяловском рассссказал: «Когда редакция обновленного журнала «Век», которой Помяловский глубоко сочувствовал, просила у него статью, он набросал для нее небольшой очерк: «Зимний вечер в бурсе». Во главе редакции «Века» тогда стоял Г. З. Елисеев. Но «Век» скоро закрылся, и «Зимний вечер» перешел в журнал Достоевского».

Очерки Помяловского во «Времени» представляют одни из наиболее ярких и беспощадно разоблачительных страниц этого журнала и его протеста против издевательства над человеческой личностью и тех порядков, при которых они возможны. По-

мяловский предполагал поместить еще несколько очерков во «Времени», но сам резко оборвал свои отношения с журналом осенью 1862 г., когда появилось объявление «Времени» об издании в 1863 г. Содержавшийся в нем полемический выпад против «свистунов» из «Современника» вызвал резкий протест Помяловского, который немедленно (26 октября 1862 г.) написал М. М. Достоевскому: «Не сходясь с программой Вашего журнала по идее, я не могу в нем участвовать. Вследствие этого мои очерки не будут у Вас печататься» [12].

Отметим, что, вероятно, под влиянием очерков Помяловского в редакцию журнала были направлены рукописи, зафиксированные в «Списке статьям. 1863 год», который вел М. М. Достоевский, под следующими названиями: «Птенцы бурсы», «Несчастный семинарист», «Воспоминания семинариста» и «Несколько слов семинариста по поводу «Очерков» Помяловского». Из-за закрытия журнала все эти произведения напечатаны в нем не были. Но еще до «Очерков» Помяловского в кн. 12 за 1861 г. в нем был помещен мрачный рассказ о судьбе семинариста, рвавшегося из «схоластического заведения» к свободе и новым идеям. Это рассказ В. Белопольского «Записки моего знакомого». Сын бедного деревенского священника, обобранный взятками в «присутственных местах», с грошами в кармане появляется он в Петербурге, где, не попав в университет, медленно чахнет от голода и холода, несмотря на самоотверженную помощь друга-студента, достающего ему работу.

«Время» напечатало две большие автобиографические повести начинающего талантливого писателя-демократа М. А. Воронова: «Мое детство» (1861, кн. 7) и «Моя юность» (1862, кн. 9),— которые являются как бы антиподами произведений Л. Толстого. Сын бывшего солдата, а позднее тюремного смотрителя, герой повествования с ранних лет наблюдал тюремные нравы, порку. Грубость, жадность царила и в семейном быту. Не менее мрачна оказалась и губернская гимназия, где были те же дикие нравы, бесчеловечный режим и невежественные учителя. Надо отметить, что год сотрудничества Воронова во «Времени» был вместе с тем годом его постоянного общения с Чернышевским и редакцией «Современника», где он исполнял обязанности секретаря.

В отличие от произведений Помяловского, Воронова и Белопольского, в которых изображение жестокой уродливости условий, в которых формируются дети, занимает главное место, в романе С. Федорова «Свое и наносное» (1862, кн. 10) интерес автора сосредоточен на анализе душевной жизни ребенка и подростка и его отношении к окружающей действительности. Сперва быт

---

[12] «Из архива Достоевского». Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1923, стр. 89—95. Денежные взаимоотношения Помяловского с редакцией «Времени» нашли отражение в редакционных книгах журнала. Записи эти помогают прокомментировать письма Помяловского к Достоевским.

усадьбы, крепостника-деда, потом учение в кадетском корпусе конца 40-х — начала 50-х годов ставят перед мальчиком вопрос о справедливости, о борьбе за нее, о защите обиженных и угнетенных. Влияние передового педагога, чтение Белинского, дружба с подростком из бедной семьи формируют критическое отношение к предреформенной действительности. К напечатанной первой части романа Федорова редакция поместила следующее примечание, которое свидетельствует о высокой оценке его произведения: «Автор прислал нам для печати одну первую часть своего романа. Так как она составляет совершенно отдельный эпизод и имеет свой, вполне законченный интерес, то мы печатаем ее, не дожидаясь продолжения, тем более что нам неизвестно положительно, когда мы будем иметь его в руках. Когда получим его, то новым подписчикам мы представим эту первую часть в приложении, если окажется в этом надобность, т. е. если продолжение не будет само по себе составлять совершенно цельного эпизода. *Ред.*» Продолжения романа не последовало ни во «Времени», ни в «Эпохе».

Художественные произведения, изображающие жизнь простого народа, его повседневный быт, его радости, печали, ожидания, взаимоотношения, характерные типы, во «Времени» не многочисленны, хотя установка журнала по «Объявлениям» на сближение с народом заставляет предполагать особый интерес к «народной» теме. Конечно, на огромном полотне, которое развернул Ф. М. Достоевский на страницах десяти книг журнала за 1861—1862 гг. в своих «Записках из Мертвого дома», были воплощены десятки народных образов и в полной мере художественно раскрыта пропасть, отделяющая народ от общества, но условия, в которых у Достоевского показан народ, исключительны, а эта исключительность, «каторжное» житье накладывали отпечаток на все наблюдения писателя.

Отметим здесь, что, возможно, «Записки из Мертвого дома» оказали влияние на авторов двух произведений из жизни заключенных преступников из народа, помещенных во «Времени».

Это «Из записок следователя в арестантской роте» Н. М. Соколовского (1862, кн. 12, 1863, кн. 1) и «Темные углы», подписанные А. Ч. (1862, кн. 9). Два очерка Соколовского параллельно с описанием отрицательных сторон старого суда, волокиты расследования и т. д. дают зарисовки ряда крестьянских преступников, начиная с тех, которых на преступления вызвало бедственное положение, до многократных убийц, психологию которых автор пытается понять и малоудачно раскрыть читателю. После закрытия «Времени» Соколовский напечатал следующий очерк в «Современнике» (1863, кн. 10), а в 1866 г. напечатал очерки особой книгой «Острог и жизнь».

Очерк «Темные углы» — рассказ женщины, выбранной, «по новому постановлению», одной из директрис женского отделения губернской тюрьмы. Критически изображая «дам» общества, ко-

торые мало подготовлены к такой благотворительной деятельности, а также тюремную администрацию, рассказчица с глубокой симпатией рисует убийцу — крепостную девушку и в сущности оправдывает ее поступок. Автор А. Ч. нами не раскрыт — гонорар за статью получил В. Стрельников.

Народную тему во «Времени» мрачными картинами начал никому еще не известный А. И. Левитов. В 1860 г. из провинции он переселился в Москву, через наборщика типографии «Русского вестника» передал в редакцию журнала рукопись «Ярмарочных сцен», над которой работал с 1856 г., и здесь с ней познакомился А. А. Григорьев, который так характеризовал в своей автобиографической записке пребывание в 1860 г. в журнале Каткова: «Статей моих не печатали,— а заставляли меня делать какие-то недоступные для меня выписки о воскресных школах и читать рукописи, не печатая, впрочем, ни одной из мною одобренных (между прочим, «Ярмарочных сцен» Левитова)...» [13].

Через Григорьева, а может быть, и через Плещеева, с которым Левитов познакомился, рукопись «Ярмарочных сцен» попала во «Время» и была напечатана в 1861 г., кн. 6, с подзаголовком «Очерки из простонародного быта» и с двумя эпиграфами из Гоголя. Изображение ярмарки в большом селе в престольный праздник — это изображение народной массы, облепленной паразитами в виде кабатчиков, приказных, городских торговцев, мелких и крупных купцов, обирающих и спаивающих народ. И как высшая над ним власть и расправа показаны взяточники — становой пристав и его сотские.

Между М. М. Достоевским и Левитовым завязалась преписка, которая полна отзвуков бедственного положения автора и его благодарности редакции журнала. В одном из писем Левитов писал М. М. Достоевскому: «Благодарю Вас за добрый, ободряющий тон Вашего письма. Оно мне доставило истинное удовольствие, потому что я очень редко получаю такие письма. Что касается до моих произведений, они все к Вашим услугам».— 11 июля (1861 ?).

3 августа 1861 г. Левитов послал М. М. Достоевскому новую рукопись и писал о ней: «Она имеет быть началом целого ряда картин в этом роде (5 или 6), в которых я намерен изобразить главные жизненные фазы степного человека, и главным образом в последнем отдельном рассказе мне хотелось бы представить, как в настоящее время нечто светлое, медленно летит по глухим степям, разгоняя долгий мрак их, освещая собою новых людей для новой жизни, которую образовывает само же: это нечто светлое». Рукопись была напечатана в августов-

---

[13] См. «А. А. Григорьев», стр. 307. «Краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям».

Письма А. И. Левитова к М. М. Достоевскому.— См. Рукописный отдел Гос. биб-ки им. Ленина.

ской книжке: «Сладкое житье. Из рассказов городского старожила». Надо признать, что никакого намека не «нечто светлое» в «темном царстве», изображенном Левитовым в этом рассказе, мы не находим, и в самом восстании сына против деспотизма отца в мещанской семье автор не видит никакого просвета, а ждет повторения тех же отношений в будущем. Хотя Левитов в письмах к М. М. Достевскому сообщал о ряде почти готовых своих произведений, ни одно из них во «Времени» не появилось.

Еще более мрачным, чем рассказы Левитова, оказался рассказ из быта русской деревни Н. А. Благовещенского «Странница» (1862, кн. 11). Товарищ Помяловского по семинарии, который посвятил ему рассказы о бурсе, Благовещенский был прикомандирован к археологу архимандриту Порфирию, побывал в 1859—1861 гг. на Ближнем Востоке и в первых книгах «Времени» за 1862 г. напечатал очерки «Из воспоминаний бывалого в Иерусалиме» и «В Фессалии». Резко критически освещал он жизнь и нравы как духовенства, так и богомольцев, которых наблюдал в путешествии. Разоблачение фальши, ханжества и порочности странников по святым местам с особой силой дано в рассказе «Странница», где воздействие богомолки на глубоко невежественную крестьянскую семью приводит к трагической гибели ребенка. Позднее Благовещенский печатался в «Современнике», «Русском слове», где был редактором в 1863—1866 гг., в «Отечественных записках» при Щедрине и Некрасове писал о печальной судьбе разночинцев и жизни фабричных и заводских рабочих.

Автором деревенских очерков во «Времени» был также В. Катарецкий, поместивший «Сцены из народной жизни. Колокол» (1861, кн. 11) и «Деревенские типы. Дворник» (1862, кн. 2). Если в первом очерке подчеркивание невежественности, суеверий, народных речевых оборотов приводят в какой-то степени к оглуплению и карикатурности изображенного, то во втором ярко показано расслоение деревни, противопоставление разжиревшей семьи «дворника» — хозяина постоялого двора и торговца — деревенской бедноте, которую он обирает.

Большую повесть на материале народной жизни попытался написать Н. Ф. Бунаков. Его первый рассказ «Село на юру» (1861, кн. 5) и повесть «Город и деревня» (1861, кн. 11 и 12) объединяет основная тема — порочное влияние города на жизнь казенных крестьян, жителей большого торгового села. В повести прослеживается судьба двух братьев, оставшегося в деревне и благополучно богатеющего, и ушедшего в город, приписавшегося в мещане и после ряда неудач и полного разорения покончившего самоубийством. В сущности значительно более детально, чем крестьянскую жизнь, Бунаков изображает уездное городское мещанство, его дикие нравы, невежество, разврат. Интересно по злободневности, хотя и малоправдоподобно, он вплетает в повествование утопическую историю одного из мещанских жителей города, получившего образование и поставившего себе целью

посвятить себя помощи городской бедноте. В концовке, или, по словам автора, «приделанном хвосте» повести он рисует, как его герой, получив в приданое за женой большие деньги, устраивает бесплатное ремесленное училище, воскресные школы, стеклянный завод, пароходство и, таким образом, несет культуру в родной город и обогащает его. На возможные замечания, что все это «игра воображения», автор оптимистично отвечает критикам: «все это ведь весьма возможно, а следовательно, легко может случиться, а может быть, где-нибудь даже и есть...» [14].

Подводя итоги всему, что дало «Время» в отделе художественной литературы, можно признать, что при пестроте общей картины и неровности художественных достоинств его, есть в ней объединяющий колорит: это демократизм в выборе сюжетов, в отношении авторов к изображаемому и в его оценке, более или менее резкое осуждение дореформенной России и подчеркнутый гуманизм в изображении ее жертв. Отметим еще раз демократичность состава авторов этого отдела, многие из которых принадлежали к разночинной молодежи, только что начавшей пробивать себе путь в литературу и нашедшей поддержку со стороны «Времени». Отметим также, что большинство авторов сотрудничало одновременно с «Временем» в «Современнике», «Искре», «Русском слове».

Надо еще сказать несколько слов о переводной художественной литературе во «Времени». О наиболее значительном явлении — романе Е. Гаскелл «Мери Бартон» — было сказано ранее. Другой ее роман «Руфь» журнал начал печатать накануне своего закрытия и не закончил. Случайным кажется нам появление переводов неинтересных ни с художественной, ни с идейной стороны сентиментально-развлекательных романов Ауэрбаха «Львиная лапка» (1862, кн. 3, 4), Амедея Ашара «Мечтательница» (1861, кн. 8) и Фр. Кабальеро «Бедная Долорес» (1861, кн. 9). Но публикацию в журнале рассказов Эдгара По и романа Гюго редакция сочла нужным предварить своими введениями, объясняющими причину их публикации. К трем рассказам Э. По в первом номере за 1861 г., вероятно, Ф. М. Достоевский дал введение, характеризующее условную фантастичность американского писателя, всегда остающегося в то же время «совершенно верным действительности». Именно для Ф. М. Достоевского кажется нам характерной высокая оценка «поражающей верности», с которой Э. По «рассказывает о состоянии души человека», поставленного «в самое исключительное внешнее или психологическое положение», а также «силы подробностей», заставляющей читателя верить в событие или образ, нарисованный автором. Об авторстве Достоевского говорит и сопоставление Гофмана с По —

[14] О Н. Ф. Бунакове см. гл. XIV, стр. 291—292.

поэтической, освещенной идеалом фантастичности одного и «какой-то материальной фантастичности» другого. В книге третьей за тот же год «Время» дало еще один очень большой, насыщенный приключениями рассказ Э. По «Похождения Артура Гордона Пэйма».

Большое «Предисловие от редакции» поместил журнал перед переводом романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери (1862, кн. 9, 10, 11, 12). Этим предисловием редакция не только объяснила причину, почему она поместила этот роман, но объединила его помещение с основной идеей всего журнала своим пониманием значения литературы. Мысль автора «Les Misérables» «есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная; формула ее — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль — оправдание униженных и всеми отринутых парий общества». В духе «почвеннических» идей толкуется Квазимодо, как «олицетворение пригнетенного и презираемого средневекового народа французского, глухого и обезображенного, одаренного только страшной физической силой, но в котором просыпается, наконец, любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей правды и еще непочатых, бесконечных сил своих». Своим предисловием редакция ставила переводное произведение на службу основной идее журнала.

Глава XII

Литературная критика во «Времени»

В «Объявлении» о журнале еще в 1860 г. было напечатано следующее обещание редакции: «Особенное внимание мы обратим на отдел критики. Не только всякая книга, но и всякая замечательная литературная статья, появившаяся в других журналах, будет непременно разобрана в нашем журнале. Критика не должна же уничтожиться из-за того только, что книги стали печататься не отдельно как прежде, а в журналах». Далее «Время» обещало «без всякой уклончивости обличать бездарность, злонамеренность, ложные увлечения, неуместную гордость и литературный аристократизм, где бы они ни являлись», обещало «говорить прямо свое мнение о всяком литературном и честном труде... оставляя в стороне всякие личности».

Отдел литературной критики, несомненно, особенно был близок обоим братьям Достоевским еще с 40-х годов, когда старший брат выступал в журналах в качестве литературного обозревателя, а младший находился в сфере самых горячих обсуждений проблем литературной критики в кружке Белинского. О позиции, занятой уже тогда М. М. Достоевским и сохраненной им до 1860 г., мы говорили в первой главе. Что касается взглядов Ф. М. Достоевского в исходе 40-х годов, то они им высказаны в «Объяснении», представленном Следственной комиссии по делу петрашевцев. Они вполне согласуются с отдельными частными замечаниями по этому поводу, находящимися в его письмах и ранних произведениях. Достоевский утверждал, что его «размолвка с Белинским произошла из-за идей о литературе и о направлении литературы», и писал: «Я упрекал его в том, что он силится дать литературе частное, недостойное ей назначение, низводя ее единственно до описания, если можно так выразиться, *одних газетных фактов* или скандалезных происшествий. Я именно возражал ему, что желчью не привлечешь никого, а только надоешь смертельно всем и каждому, хватая встречного и поперечного на улице, останавливая каждого прохожего за пуговицу фрака и начиная насильно проповедовать ему и учить его уму-разуму». Далее в этом же «Объяснении» Достоевский вернулся к изложению своих взглядов на литера-

туру, рассказывая о споре с Петрашевским: «Я был вызван на этот литературный спор, темой которого, с моей стороны, было то, что ... искусство не нуждается в направлении, что искусство само себе целью, что автор должен только хлопотать о художественности, а идея прийдет сама собою; ибо она — необходимое условие художественности. Одним словом, известно, что *это направление диаметрально противуположно газетному* и... *пожарному*. Многим тоже известно, что это направление мое уже в продолжение нескольких лет» [1].

Выступая с журналом в годы, когда идеи Белинского нашли дальнейшее блестящее развитие в статьях Чернышевского и Добролюбова, когда «Современник» заострял свои критические статьи как раз в том направлении, которое осуждал Достоевский-петрашевец, редакция должна была ясно высказать свою позицию, которую она предполагает занять в отделе литературной критики. И она это сделала в первых же книгах журнала.

Цикл статей Ф. М. Достоевского под общим заголовком «Ряд статей о русской литературе» был им начат «Введением» в № 1 «Времени». «Введение» было посвящено раскрытию основной идеи журнала, и лишь в конце дано обещание в следующей книге обратиться к литературе: «В будущей же статье мы перейдем, наконец, и к русской литературе, будем говорить о теперешнем ее положении, о ее значении в теперешнем обществе, о некоторых ее недоразумениях, спорах, вопросах. В особенности хочется нам сказать несколько слов и об одном очень странном вопросе, который уже сколько лет разделяет нашу литературу на партии и таким образом парализует ее силы. Именно о знаменитом вопросе: искусство для искусства и проч.,— все его знают. Нечего выписывать заглавие. Признаемся заранее, мы всего более удивляемся, как не надоел еще этот вопрос публике окончательно и она еще не отказывается читать целые о нем трактаты? Но мы постараемся написать наше мнение не в форме трактата».

В февральской книге эта статья появилась, и называлась она «Г.— бов и вопрос об искусстве». То, что она была прямо обращена к Добролюбову, показывает, что задачей Достоевского было выяснить отношения нового журнала к наиболее передовой, ведущей литературной критике «Современника». Изложенное в этой статье Достоевским стало признаваться редакцией как ее profession de foi в этом вопросе, и она неоднократно так и ссылалась на эту статью. Например, М.М. Достоевский, рекомендуя Де Пуле разобрать для «Времени» сочинения Хвощинской и надеясь, что он согласен с направлением журнала, указывал ему: «Взгляд наш на искусство весь выражен в статье «Г. — бов и вопрос об искусстве».

---

[1] *Н. Ф. Бельчиков.* Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1936, стр. 85, 86.

Изложим коротко основополагающие принципы этой статьи, которые являлись такими для эстетических воззрений самого автора и старательно проводились им в его редакторской деятельности.

Достоевский находил, что «русская критика в настоящее время пошлеет и мельчает» и что одна из причин заключается в том, что критики разбились на два лагеря и враждуют между собой. Одни — сторонники «искусства для искусства», «говорят и учат, что искусство служит само себе целью и в самой сущности своей должно находить себе оправдание. И потому вопроса о полезности искусства, в настоящем смысле слова, даже и быть не может... Как нечто цельное, органическое, творчество развивается само из себя, неподчиненно и требует полного развития. Поэтому всякое стеснение, подчинение, всякое постороннее назначение, всякая исключительная цель, поставленная ему, будут незаконны и неразумны.... Это говорит одна партия,— партия защитников свободы и полной неподчиненности искусства».

Другая партия, которую Достоевский называет партией утилитаристов, высшее воплощение своих мыслей нашедшая в «Современнике» и статьях Добролюбова, учит тому, «что искусство должно служить человеку прямой, непосредственной, практической и даже определенной обстоятельствами пользой ... и даже до такой степени, что если в данное время общество занято разрешением, например, такого-то вопроса, то искусство (по учению некоторых утилитаристов) и цели не может задать себе иной, как разрешение этого же вопроса». Так как произведения, преследующие утилитарную цель, обычно не могут отличаться художественными достоинствами, то их защитники, «не посягая явно на художественность, в то же время совершенно не признают ее необходимости: «Была бы видна идея, была бы только видна цель, для которой произведение написано,— и довольно; а художественность — дело пустое, третьестепенное, почти ненужное». Продемонстрировав такое отношение на разборе статьи Добролюбова о рассказах Марко Вовчек («Современник», 1860, кн. 9.— «Черты для характеристики русского простонародья»), Достоевский переходит к утверждению своего решения вопроса о свободе или утилитарности искусства: «Мы в старинном споре об искусстве не участвовали, к литературным партиям доселе не принадлежали, пришли с ветру и люди свежие, по крайней мере беспристрастные. Благоволите же выслушать».

«Во-первых, прежде всего уверяем вас, что, несмотря на любовь к художественности и к чистому искусству, мы сами алчем, жаждем хорошего направления и высоко его ценим».

Искусство «много может помочь иному делу своим содействием, потому что заключает в себе огромные средства и великие силы». Но его помощи «можно только желать, но не требовать... а первый закон в искусстве — свобода вдохновения и

творчества. Все же вытребованное, все вымученное спокон веку до наших времен не удавалось и вместо пользы приносило один только вред». Лишенное художественности произведение искусства не может помочь достижению поставленной ему цели, и уже одно это говорит о неправильности позиции утилитаристов. Мы не умеем измерять и учитывать пользу, приносимую художественным произведением, поэтому не можем утверждать, что более плодотворным для данного дела будет специально написанное произведение или не имеющее к нему прямого отношения, давно написанное, но высокохудожественное творение, например «Илиада» Гомера. Наконец, и это «главный и окончательный ответ» той и другой партии критиков:

«Искусство всегда современно и действительно, никогда не существовало иначе и, главное, не может иначе существовать».

Уклонения искусства от действительности, иногда только кажущиеся, или объясняются ненормальным развитием некоторых творцов искусства: «Наши поэты и художники действительно могут уклоняться с настоящего пути или вследствие непонимания своих гражданских обязанностей, или вследствие неимения общественного чутья, или разрозненности общественных интересов, от несозрелости, от непонимания действительности, от некоторых исторических причин, от несовсем еще сформировавшегося общества, оттого, что многие — кто в лес, кто по дрова, и потому с этой стороны призывы, укоры и разъяснения г.— бова в высочайшей степени почтенны...»

Но «эти уклонения сами собою скоро проходят, и общество всегда само отыскивает потерянный путь. А главное в том, что искусство всегда в высшей степени верно действительности,— уклонения его мимолетные, скоропроходящие; оно не только всегда верно действительности, но и не может быть не верно современной действительности». Искусство всегда сопровождало жизнь человека, отвечало его потребностям и его идеалу, развивалось с его исторической жизнью. Творчество органически живет с человеком «его настоящею жизнию, следственно оно останется навсегда верно действительности». Ему не надо предписывать законов, симпатий, ставить целей. Оно само найдет «настоящий и *полезный* свой путь», так как нераздельно соединено с целями человека, и «чем свободнее будет его развитие, тем более пользы принесет оно человечеству».

В статье «Достоевский в литературно-эстетической борьбе 60-х годов» У. А. Гуральник правильно указал, что Достоевский, ратуя за «художественную специфику искусства, которой пренебрегает «новая эстетика» ... полемически заостряет основное требование революционно-демократической эстетики, явно огрубляя мысль своего противника. Ведь именно Добролюбов отвергал в искусстве голую тенденциозность, не одухотворенную страстной верой, не подкрепленную знанием действительности». Но мы никак не можем согласиться с причиной этого «заострения», ука-

зываемой У. А. Гуральником: «Достоевского не устраивало то «*дело*», служить которому призывала искусство новая эстетическая мысль», и он «в соответствии с «почвенническим» учением полагал, что борьба с остатками крепостного права — излишняя трата энергии, поскольку отрицалось самое существование живучих остатков крепостничества в общественной жизни и сколько-нибудь значительных его порождений в общественной мысли» [2].

Приведенные в нашей книге и многие другие высказывания свидетельствуют о том, что журнал «почвенников» постоянно выступал с обличениями крепостнических устоев, сохранявшихся в русской жизни, их активизации при проведении реформы, требовал борьбы с ними. Заострение и «огрубление» позиции Добролюбова в статье Достоевского было продиктовано полемическим пылом эстетика-идеалиста, ученика Шиллера, против материалистических позиций противника, которые, несомненно, в трактовке бездарных, но ретивых учеников могли привести к игнорированию художественности и пропаганде голой тенденции.

Но, считая «преобладающий пафос» выступления Достоевского по вопросам искусства «реакционным», У. А. Гуральник не мог не признать, что «наряду с очевидными пороками отстаиваемая им эстетическая концепция содержала немало значительных истин, плодотворных предпосылок, поскольку она являлась вместе с тем результатом и выражением богатого индивидуального опыта большого художника» (стр. 317).

Высказав в февральской книжке свое credo по вопросу об искусстве, редакция неоднократно возвращалась к повторению основных его положений. Так, в мартовской книге 1861 г. новому отделу, который назывался «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой», было предпослано такое

---

[2] Сб. «Творчество Достоевского». М., Изд-во АН СССР, 1959.

Цитируя статью У. А. Гуральника, мы не можем не выразить здесь своего удивления тем, что на страницах 302, 307, 309, 320 и др. автор, не подкрепляя свои положения ссылками, говорит об апологии «почвенниками» покорности, «кротости», «смирения», «пассивности», «долготерпения» как якобы характерных свойств русского народа. Говорит он также, что «почвенниками» «со счетов сбрасывается многовековая история русского народа, преднамеренно не учитываются такие факты революционной борьбы, как крестьянские войны Разина, Пугачева, Болотникова, деятельность Радищева, восстание декабристов, игнорируется история русского народного освободительного движения, история классовой борьбы в России». Проштудировав все 28 томов «Времени», мы нигде не обнаружили в них указанную выше «апологию», наоборот, встречали всюду с удовлетворением отмечаемые случаи активности народа в борьбе за свои интересы, все растущий отпор насилию и включение в общественную деятельность. Мы встречали также указания (конечно, в пределах цензурных возможностей) на многозначительное «безмолвие» народа, разразившееся пугачевским восстанием, подчеркнутый интерес к происхождению и истории антиправительственных тенденций в расколе, многочисленные упоминания о Радищеве, Новикове, Белинском. В этой книге мы привели немало свидетельств, полностью противоречащих тенденции, проводимой У. А. Гуральником, их много осталось и за пределами книги.

введение редакционного характера: «Решаясь открыть в журнале нашем особый, хотя, конечно, не непременный, отдел оценки литературных явлений, или вовсе пропущенных, или мало оцененных современною критикою, мы не имеем, кажется, нужды заявлять, что при всей нашей вере в искусство, при всех требованиях от литературных произведений художественности, мы нисколько не против современности стремлений искусства и литературы. Мы высказались (примечание: «Г.— бов и вопрос об искусстве».— «Время», № 2) насчет этого вопроса с подробностью и ясностью, достаточными, кажется, для того, чтобы не быть заподозренными в какой-либо вражде против современности, в желании противоборствовать обличительному и вообще дидактическому роду литературы, в намерениях возвышать какие-либо произведения, в которых преобладает форма, перед другими, в которых преобладает мысль».

Редакция не упрекает критиков за их интерес к произведениям, «в которых, при известной красоте формы, захвачены и животрепещущие вопросы времени». Редакция признает также и временную законность увлечения критиков произведениями, в которых резкая постановка какой-либо общественной или нравственной мысли, хотя бы «в весьма недостаточной или ошибочной форме», дает им возможность говорить о насущных вопросах жизни. Однако такую критику следует относить не к литературе, «а к политике, политической экономии или эфике». Увлечение критиков этой стороной произведений ведет к тому, что они пропускают те произведения, где она недостаточно резко выражена [3].

Характер редакционного введения имеет и начало рецензии во второй книге 1861 г. на «Гаваньских чиновников в домашнем быту» Ив. Генслера, напечатанных в «Библиотеке для чтения» (1860, кн. 11—12). На семи страницах говорится об отсутствии в журналах подлинной критики из-за боязни потерять автора — участника журнала, боязни сказать честно свое мнение, боязни признаться в ошибке. О позиции «Времени» говорится, как и в его «Объявлении», от лица редакции: «Мы сами не раз и не два будем увлекаться...» «Что касается до нас, то мы будем...» «Читатели наши увидят, что мы не придерживаемся... будем спорить...» и т. д.

Есть основания думать, что и эти страницы принадлежат М. М. Достоевскому, тем более что на них встречается замечание о молчании критиков-рутинеров о романе В. Крестовско-

[3] Возможно, что это введение принадлежит М. М. Достоевскому, как и следующая за ним высокая оценка поэзии Полонского, о котором, при его популярности, было мало критических статей. Оценка эта вряд ли принадлежит Ап. Григорьеву, который является автором разбора повести Дмитриева «Лес» (конец статьи). См. в работе: *Б. Егоров.* Библиография трудов А. А. Григорьева.— «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 98, 1960, стр. 241.

го (Хвощинской) «В ожидании лучшего». В это время М. М. Достоевский как раз предлагал Де Пуле написать разбор сочинений Хвощинской, привязав его к рассмотрению этого романа [4].

В том же письме к Де Пуле имеются высказывания М. М. Достоевского, характеризующие его взгляд на литературу и задачи критики, по поводу стихотворения Никитина «Хозяин». Он прямо заявлял, что оно ему «не нравится». «Первая страница прелестна и в самом деле полна поэзии, далее же (домашний быт гуляки-купца) так исключителен, что походит на портрет, на анекдот. Чтобы эта исключительность не бросалась в глаза, нужно большее развитие содержания... буду очень благодарен И. С. Никитину, если он пришлет нечто небольшое, но тщательно обделанное. Мне кажется, что он уже слишком сильно принял к сердцу критику — бова писать о голодных, и это таращенье писать именно об этом сильно вредит ему как поэту» [5].

Как утверждение позиции «Времени» в литературной критике интересна рецензия М. М. Достоевского на «Стихотворения» Плещеева, помещенная в апрельской книжке за 1861 г. Отмечая, что отклики Плещеева «на современные вопросы» и укрепившееся название его поэзии «жалостливой музой» определили отрицательное отношение к нему сторонников «искусства для искусства», считающих, что «вопросомания» губит поэтическое дарование, М. М. Достоевский говорит от лица редакции: «Мы не приверженцы «искусства для искусства» в том смысле, как понимают эту теорию ее ярые адепты. Мы думаем, и совершенно серьезно, что поэзия может быть и в этих вопросах, точно так же как в любви, в красотах природы, даже в луне... даже в *ней*... Поэзия, по-нашему, таится во всем: в отвлеченном, сухом каком-нибудь факте, точно так же как в самом ярком образе действительности. Поэзия во всем, потому что она в сердце поэта». Поэт таинством своего гения превращает прозу жизни в поэтический мир: «В подтверждение этого мы можем указать на бóльшую часть стихотворений Некрасова, стихотворений прелестных и в высшей степени поэтических, несмотря на всю сухость и, так сказать, деловитость вопросов, которым посвящены стихотворения... Вот истинный поэт этого направления...»

Характеризуя поэзию Плещеева и замечая, что почти все его оригинальные стихотворения вызваны современной мыслью, а переводные являются так называемыми «стихами с направлением», М. М. Достоевский находит, что поэт не всегда удачно откликается на современные вопросы, но ценит в нем его нена-

---

[4] Б. Егоров, приписывая рецензию на Генслера А. А. Григорьеву, выражает, однако, сомнения по поводу вступления, которое носит редакционный характер (там же, стр. 237).

[5] «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Под ред. А. С. Долинина, 1922, стр. 509—510.

Статья Добролюбова о «Стихотворениях» Никитина (1859) была помещена в «Современнике» (1860, кн. 4).

вист ко лжи и несправедливости: «Он с болезненным участием смотрит на всех обделенных в мире, на всех *«униженных* и *оскорбленных»*. И это главное достоинство его поэзии. И это главная черта, заставляющая симпатизировать его благородной музе». На недостаток формы он косвенно намекает, советуя далее больше разрабатывать свой поэтический дар.

Переходя к рассмотрению прозы Плещеева, М. М. Достоевский считает ее слабее поэзии и видит в его новых повестях и рассказах повторение уже достигнутого им в 40-х годах под влиянием натуральной школы. И далее редактор-критик резко выступает против этих традиций и продолжения борьбы с романтизмом: «Мы не понимаем, отчего наши писатели так боятся предаваться всей искренности своих талантов. Неужели не надоела им еще эта рутина, эти старые мотивы, которые когда-то имели большой смысл — смысл противодействия романам тридцатых годов, романам с небывалыми лицами, с невозможными приключениями. Ведь всегда тянуть прежнюю канитель скучно, а между тем мы видим, что не только г. Гончаров, но и новые писатели — гг. Потанин, Родионов, Помяловский (все они более или менее с дарованием и некоторые даже с большим) тянут ее преусердно. Но об этом мы собираемся говорить в одном из ближайших номеров «Времени» [6].

В качестве ведущего критика журнала был приглашен Ап. Григорьев, но работал он в журнале лишь с февраля до мая 1861 г. и с июля 1862 по апрель 1863 г., т. е. 14 месяцев — половину всего времени издания журнала. Напечатанных им за это время статей очень много, но далеко не все они относились к литературной критике. Здесь были напечатаны его стихотворные переводы из Байрона, его незаконченная автобиография «Мои литературные и нравственные скитальчества», ряд его театральных рецензий и статей о театре и две статьи-рецензии на исторические книги. Статьи же его о русской литературе можно условно разделить на общие, концептуальные, отражающие его взгляд и оценки развития русской литературы с 20-х до начала 60-х годов, и частные, посвященные разбору творчества отдельных писателей. Мы говорим — условно, так как последние широтой затрагиваемых вопросов, сближением с рядом предшествовавших им параллельных литературных явлений часто превращаются в характеристики целых течений и направлений в литературе.

Статьи, в которых А. Григорьев излагал свои общие взгляды на развитие русской литературы в связи с основными установ-

---

[6] Плещеев писал Милюкову 8 июля 1961 г.: «Вот еще недавно Добролюбов и М. М. Достоевский, разбирая один мои повести, другой — стихотворения, говорили о тех и других с некоторым оттенком иронии,— неужели вследствие этого я способен сказать, что «Современник» и «Время» — плохие журналы? Сохрани меня бог.» («Литературный архив», № 6, 1961, стр. 286).

ками журнала, спецификой русской народности и соотношением ее с западными влияниями, представляли особый цикл в журнале, во многом близкий установкам редакции, но иногда вызывали ее возражения. В 1861 г. были напечатаны «Народность и литература», «Западничество в русской литературе. Причины его происхождения», «О постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества», «Белинский и отрицательный взгляд в литературе», «Оппозиции застоя. Черты из истории мракобесия». Что касается частных разборов литературных произведений 1861 г., нужно отметить незначительность выбранных объектов («Сцены» Генслера и «Лес» Н. Дмитриева). Более интересны по характеристике скорее исторических, нежели литературных взглядов Григорьева, разборы «Псковитянки» Мея и «Стихотворений» Хомякова. В последней рецензии критик оценил не поэта, а автора философских, теологических и исторических трудов, «борца за святое и честное дело нашей умственной самобытности».

Во второй период работы во «Времени» — 1862—1863 гг.— общими по тематике можно назвать лишь две статьи: «Нигилизм в искусстве» и «Наши литературные направления с 1848 г.» Наиболее же значительными явились статьи, посвященные разбору творчества крупнейших русских художников слова: «Граф Л. Толстой и его сочинения» (две статьи), «Лермонтов и его направление» (две статьи), «По поводу нового издания старой вещи «Горе от ума», «Стихотворения Некрасова».

Нам было бы трудно в условиях объема данной книги дать хотя бы сжатое изложение основных идей Ап. Григорьева на этом этапе его деятельности ввиду их теснейшей связи с предшествующим путем, чрезвычайной разбросанности их изложения, отсутствия планомерного логического их развития, преобладания интуитивных, эмоциональных высказываний, часто оборванных, противоречивых, незаконченных. Воздерживаясь от такого анализа, мы используем недавнюю работу советского исследователя, которая, как нам кажется, правильно наметила эволюцию сложного пути Григорьева и его позицию во «Времени» [7].

Б. Ф. Егоров указал, что в эпоху революционной ситуации, в связи с изменением общественных настроений Ап. Григорьев изменил свое отношение к активной борьбе личности за свои права. В русском характере он стал рассматривать «две силы» — стремительную и осаживающую. Последняя (ее воплощение в Белкине Пушкина) может перейти в застой, привести к моральному мещанству. С приближением к 1861 г. в Григорьеве усиливается интерес к мятежному, бунтарскому началу, и его перестает удовлетворять односторонность Островского. Еще в период молодой редакции «Москвитянина» Григорьев признавал об-

---

[7] *Б. Ф. Егоров.* В кн.: *Аполлон Григорьев.* Литературная критика. М., 1967, Вступительная статья.

щей основой для всего кружка демократизм и непосредственность. После 1855 г. усиление демократизма и отдаление от славянофильства, как барственно-антидемократической партии, к тому же способствующей уничтожению личности началом общего, стало в Григорьеве еще заметнее.

В статьях 1860—1861 г. в «Светоче» Б. Ф. Егоров видит в оценках «Грозы» Островского и «Накануне» Тургенева близость к высказываниям Добролюбова и, возможно, его влияние. Но, возражая против тины патриархального мира и требуя активной борьбы с ней, Григорьев был далек от социально-политических выводов критика «Современника». Идеи, которые легли в основу программы «Времени», были близки статьям Григорьева двух предшествующих лет, что способствовало его сближению с редакцией журнала. По мнению Б. Ф. Егорова, во взаимоотношениях Ф. М. Достоевского и Григорьева наблюдался следующий парадокс: в начале совместной работы Достоевский был более радикален в общем социально-политическом смысле, но Ан. Григорьев с его усиливающимся пафосом личного начала, с его романтическим бунтарством объективно оказывался часто «левее» Достоевского, тем более что последний под влиянием обостренной общественной борьбы, накаленных революционной ситуацией страстей конца 1861 и 1862 г. стал заметно «праветь».

В статьях Григорьева во «Времени» наиболее интенсивно проявляются романтически-мятежные начала, хотя умеряемые «почвенничеством», «гармонией», но все же рвущиеся наружу. Критик проповедует освобождение личности, ее протест против догм и пут. Главным литературным тезисом становится формула: «где поэзия, там и протест» («Стихотворения» Некрасова). «Главную силу» Пушкина Григорьев усматривает теперь в произведениях, в которых «как нельзя более очевидно присутствие протеста». Он называл протест «существенным нашим свойством» («Граф Л. Н. Толстой и его сочинения»). В статьях Григорьева закономерно появляются элементы социального анализа, прежде полностью им игнорировавшиеся. Значительное место начинают занимать термины «общественное понимание», «общественный взгляд», а этические оценки следуют после социальных: «общественное и нравственное стремление» и т. д.

В период работы во «Времени» Григорьев становится наиболее «общественным» критиком. В статье о «Горе от ума» он называет Чацкого «сыном и наследником Новиковых и Радищевых» и намекает на его связи с декабристами. Вся статья — горячая защита «героической натуры» Чацкого. В статьях о «Лермонтове и его направлении» Григорьев особенно оценивает романтических героев поэта, а в Печорине видит не только героя своего времени, «но едва ли не одного из наших органических типов героического», способного «умирать с холодным спокойствием Стеньки Разина в ужаснейших муках». Однако, отделяя более четко «народ» от «барства», оправдывая закономерность протеста,

Григорьев оставался далек от революционно-демократического мировоззрения, противником «западнического» отношения и народной революции. «Протест воспринимается как индивидуально-нравственный процесс, вне социального переворота».

Особенно значительны по своему содержанию для направления журнала статьи Григорьева о Некрасове и Л. Толстом. Критик выступил с гневным откликом на толкование творчества Некрасова либералами, с горячей защитой поэта и признанием его органической связи с народом[8]. Но не все одобряя в поэзии Некрасова, Григорьев выступал против иронического отношения к народу или иронического изображения его представителей. Б. Ф. Егоров предположил в этой установке влияние Ф. М. Достоевского, который в статье «Книжность и грамотность» осуждал сатирическое изображение народа в литературе. Укажем, что тот же взгляд проводится в рецензии на «Рассказы Н. Успенского», которая приписывается Ф. М. Достоевскому. Напряженность, протест, переполненность страданиями поэзии Некрасова глубоко волновали Григорьева.

В оценке сочинений Л. Толстого Григорьев приветствовал разоблачение писателем мишуры «светского» общества. Но изображение Толстым в основном простого «смирного» народного типа, так же как возвеличение природы над человеком, заставляло критика насторожиться. Вспоминая Островского, Кольцова, Некрасова, Достоевского, находивших в народной жизни широкое активное начало, Григорьев хотел и у Толстого большего внимания к «силе и страстности» народной стихии, и вспоминал о Степане Разине как герое народных песен. Он ждал от писателя раскрытия глубинных возможностей народной жизни. Отметим, что в появившейся в № 3 «Времени» за 1863 г. статье Полонского о «Казаках» Толстого было выражено недовольство образом Оленина, для бегства которого от цивилизации в природу автор не нашел иронии, «хотел казнить, но не договорил последнего слова». Хваля верное действительности изображение Кавказа и историю Лукашки, Полонский все же считал произведение нехудожественным, так как жизнь в ней все время спорит с автором, который не перестает выражать свои мысли, суждения, но не справляется с анализом действительности.

Для статей А. Григорьева о крупных явлениях русской художественной литературы было характерно их помещение в отделе «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой», но были у него отклики и на только что опубликованные в журналах произведения, о чем особенно заботилась редакция

---

[8] Эта полемическая часть статьи была рекомендована Ап. Григорьеву М. М. Достоевским, судя по следующим словам Григорьева: «Редактор «Времени», с которым я говорил об этой назревшей у меня в душе статье, советовал мне поговорить сначала о критических толках по поводу стихотворений любимого поэта».

«Времени». Так, в последней книге журнала за 1862 г. Григорьев поместил разбор напечатанного в августе — октябре в «Русском вестнике» романа Алексея Толстого «Князь Серебряный». Аристократические тенденции, непонимание автором безразличного отношения народа к оппозиции бояр Грозному, объясняемого тем, что эти бояре сами были угнетателями народа, нежелание видеть активность народа, когда дело касалось его интересов,— все это резко отрицательно расценивалось Григорьевым.

К важнейшим особенностям статей Григорьева во «Времени» — демократическому пафосу, утверждению тесной связи искусства с жизнью, органической целостности искусства и жизни, связи этического и эстетического анализа — хочется добавить пронизанность их памятью о великом основоположнике русской критики — Белинском. Статья Григорьева «Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики» (1861, кн. 3) почти наполовину посвящена Белинскому, его значению для критики, для эпохи, его эволюции от «Литературных мечтаний» и гегелевского периода. В статье ряд глубоко сочувственных оценок личности Белинского, его чуткости и вместе с тем беспощадной пламенности в стремлении к истине. Григорьев называет его «своего рода террористом литературным», «народным представителем нашего сознания и представителем единственным».

В связи с высказываниями Белинского рассматриваются оценки иностранных писателей в русской литературе, признаются и объясняются некоторые его ошибки и дается такой итог: «С Белинским кончаются наши, часто неправильные, но всегда серьезные и искренние отношения к великим западным писателям. По смерти Белинского в критике нашей, как в этом, так и в других отношениях, начинается ряд маний и праздношатаний мысли».

Памятью о Белинском принизана и статья Григорьева о поэзии Некрасова, исторически выросшей из эпохи Гоголя, Лермонтова и Белинского. Говоря о Белинском, «великом руководителе» русской критики, он характеризует его в эпоху 40-х годов, когда он весь «протест и всё вместе с ним и вслед за ним протестует, протестует жарко, энергически, до крайних границ, до клеветы...», которую Григорьев считает «законной». О смерти Белинского он писал, что великий критик «погиб вследствие чистой случайности, уже может быть видя смутно грань поворота дороги. Как жизнь сама, пламенный и восприимчивый, он — нет сомнения — остался бы вечно вождем жизни, если б организация его выдержала». Таких высоких оценок Белинского, как критика и человека из последних статей Григорьева можно было бы привести еще много, хотя для него оставался несомненным факт связи деятельности Белинского с тем «отрицательным» направлением в современной журналистике, с которым Григорьев боролся.

Подобно Белинскому в «Московском наблюдателе», Григорьев вел во «Времени» отдел театральных рецензий (1862, кн. 9, 10,

11, 12; 1863, кн. 2) и в них неоднократно вспоминал театр 30-х годов. Основной мыслью Григорьева было создание народного театра, изгнание со сцены переводного и устарелого хлама и пропаганды прежде всего театра Островского, «первого вполне народного драматурга», а также Пушкина, Гоголя, Грибоедова. Давал он и оценки пьес своих современников — Тургенева, Писемского, Мея, и возмущался тем, что те, которые «имеют настоящее, бытовое, жизненное значение», на сцене не даются.

Резко отзывался он и об игре артистов, особенно преследовал фальшивые претензии и непонимание ролей Бурдиным, который, обиженный этими нападениями Григорьева, обращался с протестующими письмами в редакцию журнала.

Наиболее значительной явилась статья во второй книге за 1863 г. по поводу напечатанной во «Времени» и поставленной на сцене пьесы Островского «Грех да беда на кого не живет». Но самой пьесе отведено немного места. Главная мысль статьи — в результате рассмотрения ряда пьес Островского показать ошибочность основных положений статьи Добролюбова «Темное царство». Не сатирическое изображение народного быта, не самодурство, не протест против него видит Григорьев у Островского, а народность, подлинное человеческое достоинство и глубокую поэзию. Как М. М. Достоевский в статье о «Грозе» возражал против приложения к ней «теории» «темного царства», так протестовал и Ап. Григорьев против оценки новой пьесы «Грех да беда...» с позиций той же «теории» Добролюбова.

Отметим, что «Время» дало несколько рецензий на современные драматические произведения («Ребенок» Боборыкина, «Быль молодцу не укор» и «Дока» Н. Потехина, «Слово и дело» Устрялова), указывая на связь с современными общественными интересами (пьеса Боборыкина и Устрялова) и на несамостоятельность, отсутствие мысли, слабость формы пьес Н. Потехина.

Статьи Ап. Григорьева, несомненно, ценились братьями Достоевскими и другими сотрудниками журнала, вместе с тем доставляли и огорчения редакции журнала тем, что широким кругом читателей они игнорировались, оставались неразрезанными. Страхов, говоря о стремлении редакции сделать журнал легким для чтения и занимательным, видел здесь «настоящую причину небольших разногласий, возникших у журнала с Ап. Григорьевым: «Статьи Григорьева усердно читались нами, сотрудниками «Времени», вероятно, читались и серьезными литераторами других кружков; но для публики они, очевидно, не годились, так как для своего понимания требовали и умственного напряжения и знакомства с литературными преданиями, не находящимися в обиходе».

В связи с непопулярностью у читателей имени Григорьева Ф. М. Достоевский предложил печатать его статьи без подписи, что чрезвычайно обидело Григорьева, который понял это как стремление оградить журнал от компрометации и готов был разорвать

с «Временем» сношения [9]. Болезненно реагируя на вмешательство редакции в свою критическую работу, Ап. Григорьев, конечно, был малоудобным сотрудником журнала, что засвидетельствовал Ф. М. Достоевский в своем «Примечании» к публикации писем Григорьева к Страхову в «Эпохе» (1865). Оно несколько вскрывает взаимоотношения редакции и ее ведущего сотрудника: «Без сомнения, каждый литературный критик должен быть в то же время и сам поэт, это, кажется, одно из необходимейших условий настоящего критика. Григорьев был бесспорный и страстный поэт, но он был и капризен и порывист как страстный поэт...

«Я критик, а не публицист»,— говорил он мне сам несколько раз и даже незадолго до смерти своей, отвечая па некоторые мои замечания... Григорьев, судя о слове *публицист* с предубеждением... не хотел даже понимать, чего от него добивались, и, кто знает, по своей гамлетовской мечтательности, может быть, думал, что от него добиваются отступничества. Я полагаю, что Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. А если б у него был свой журнал, то он бы утопил его сам месяцев через пять после своего основания».

Как известно, «Время» утопил не Григорьев, а Страхов, которого редакция усиленно втягивала в критико-публицистическую работу и с которым работала в большем контакте, чем с Григорьевым.

Страхов, который пришел во «Время» как ученый, философ и натуралист и, по его признанию, «смотрел на журналистику со стороны и принес в нее некоторое высокомерие... скоро втянулся в литературу и стал гораздо живее принимать к сердцу ее интересы». Он вспоминал, что от него «непременно желали статей по литературной критике». Он стал их писать, но двигала им не страстная любовь к русской литературе, как поэта Григорьева, а осознание идеологического противника и дар публициста, призывавший его на борьбу: «Пренебрежение к журналистике уступило место более серьезному отношению, когда оказалось, что на подкладке этих разглагольствий вырастают такие явления, как нигилизм; вражду, которую я чувствовал, я старался передать и Федору Михайловичу».

В этой главе мы рассмотрим лишь две статьи Страхова, которые все же можно назвать литературной критикой, хотя публицистическое их назначение, особенно второй, совершенно откровенно. Первая «Несколько слов о г. Писемском, по поводу его сочинений», была помещена в № 7 «Времени» за 1861 г., почти тотчас после того как Григорьев покинул Петербург и журнал, уехав в Оренбург. Очевидно, Страхову было трудно решиться на это журнальное выступление, о чем он писал Григорьеву, судя по ответу последнего из Оренбурга от 23 сентября 1861 г.: «Что

---

[9] *Н. Н. Страхов.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском, стр. 207, 274; «А. А. Григорьев», стр. 279.

за дикое, ложное смирение заставляет тебя с каким-то странным недоверием относиться к своей собственной критической деятельности? А я так тебе говорю, положа руку на сердце, кому же и писать теперь, как не тебе? Я читал статью о Писемском... И тонко и ловко схвачена сторона бездвижности в его произведениях, в статье есть и глубокий прием и *единство* мысли, бьющей наверняка».

Оценка Писемского Страховым была значительно подготовлена статьей Григорьева «Об идеализме и реализме по поводу издания соч. Тургенева и Писемского» («Светоч», 1861, № 4) и его же высказываниями о даровитости Писемского, отсутствии у него идеала, высоких убеждений, о его «слепом таланте». Страхов писал: «Г. Писемский принадлежит, без сомнения, к главному руслу нашей литературы; его известность заслужена истинным талантом». Он принадлежит «к тому отрицательному направлению нашей литтературы, родоначальником которого был Гоголь. Эту школу называли некогда у нас натуральною школою, и к дальнейшему ее развитию нужно отнести и мимолетные явления обличительной литературы, и более правильные явления современного реализма».

Главная черта в творчестве Писемского — суровое разоблачение действительности, голая правда и отсюда «оскорбленный идеализм». К его произведениям, более чем к пьесам Островского, подходит наименование «темное царство». Тяжелое впечатление оголенной правды не смягчается у Писемского «возведением ее в перл искусства», не совершается примирения сознания через показ более полной правдивости и глубины, чем простая верность действительности. Нет света идеала, нет трагизма и комизма, а механически действует судьба, страсти холодны и мертвы. «Действия, развития, драмы, борьбы у Писемского почти нет... события зреют сами собой».

В заключение Страхов смягчает приговор, говоря, что «струя истинно художественного реализма всегда спасает произведения Писемского от односторонности его миросозерцания» и что критик не отвергает значения его творчества, а только указывает на его особенности.

Связь Писемского с гоголевской традицией утверждал и Ап. Григорьев. Последний, уже прочтя статью Страхова, писал ему 19 октября 1861 г.: «Ведь прямое, хоть несколько грубое, последствие Гоголя — Писемский, а косвенное — Гончаров». Достоевский же еще в 1858 г., прочтя «Тысячу душ», писал брату из Сибири более резко: «Но неужели ты считаешь роман Писемского прекрасным? Это только посредственность и хотя *золотая,* но только все-таки посредственность. Есть ли хоть один новый характер, *созданный,* никогда не являвшийся. Все это уже было и явилось давно у наших писателей-новаторов, особенно у Гоголя. Это все старые темы на новый лад. Превосходная клейка по чужим образцам».

Но у Достоевского был и особый упрек Писемскому идейного порядка. Он не мог простить ему изображение «оглупленного» народа. В статье «Два лагеря теоретиков» (1862) он писал: «Нас убеждают согласиться в том, что народ — наше земство — глуп, потому что гг. Успенский и Писемский представляют мужика глупым», доходя до клеветы на него. То же находим и в статье о «Рассказах Н. В. Успенского». Выход в 1863 г. антинигилистического романа Писемского «Взбаломученное море» вызвал у Достоевского желание написать о нем статью в первую книгу «Эпохи»: «Разбор Чернышевского романа и Писемского произвел бы большой эффект и, главное, подходил бы к делу. Две противоположные идеи и обоим по носу. Значит правда. Я думаю, что все эти три статьи (если только хоть 2 недели будет работа спокойной) я напишу»[10].

В феврале 1862 г. в «Русском вестнике» были напечатаны «Отцы и дети» Тургенева, после чего, по словам Страхова, «на Тургенева сыпался в продолжение нескольких лет целый дождь всяких упреков и брани». Свое мнение о романе и толках по его поводу Достоевский сообщил Тургеневу в недошедшем до нас письме, на которое автор Базарова отвечал 18 марта 1862 г. из Парижа: «Мне нечего говорить Вам, до какой степени обрадовал меня Ваш отзыв об «Отцах и детях». Тут дело не в удовлетворении самолюбия, а в удостоверении, что ты, стало быть, не ошибся и не совсем промахнулся — а труд не пропал даром. Вы до того полно и тонко схватили то, что я хотел выразить Базаровым, что я только руки расставлял от изумления — и удовольствия. Точно Вы в душу мою вошли и почувствовали даже то, что я не счел нужным вымолвить. Дай бог, чтобы в этом сказалось не одно чуткое проникновение мастера, но и простое внимание читателя — то есть, дай бог, чтобы все увидели хотя часть того, что Вы увидели! Теперь я спокоен насчет участи моей повести: она сделала свое дело — и мне раскаиваться нечего».

Вполне соответствовала по настроению этой переписке Достоевского и Тургенева написанная в это время статья Страхова об «Отцах и детях», напечатанная в четвертой книжке «Времени» за 1862 г. В ней, по словам Страхова, «превозносился Тургенев, как чисто объективный художник, и доказывалась верность изображаемого типа». Вероятно, как и письмо Достоевского, статья Страхова была очень приятна Тургеневу, который «тотчас после появления статьи приехал в Петербург» и, по воспоминаниям Страхова, «навестил» редакцию «Времени», «застал нас в сборе и пригласил Михаила Михайловича, Федора Михайловича и меня к себе обедать...»[11]

---

[10] Письма, т. I, стр. 341.

[11] *И. С. Тургенев.* Полное собрание сочинений. Письма, т. IV, стр. 358—359; *Н. Н. Страхов.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском, стр. 236—237.

В статье Страхова Базаров рисуется цельной натурой, близкой народу. Хотя мы не знаем, что было с Базаровым до действия романа, и поэтому кажется, что он создан не жизнью, а внезапно «умственным переворотом» и так же внезапно уходит из жизни, тем не менее в коротком показе его существования это цельный, живой человек. Хотя «он отрицается от жизни», но несомненна его глубокая жизнь, несмотря на его «ломанье». У него потребность в общении с людьми, хотя любовь к ним часто выражается злобой на них. Под «мертвящим действием теории» в нем всегда ощущается живой человек. Страхов поставил Базарова в ряд с Онегиным, Печориным, Рудиным и Лаврецким, одержимыми страстной жаждой деятельности, но пока живущими только в умственной сфере. В то время как журналы и общество искали ответ на вопрос — прогрессивный или ретроградный роман Тургенева,— Страхов обращал особое внимание на «поэзию» романа: «Тургенев стоит за вечные начала жизни», за ее основные элементы, против которых восстает Базаров,— природу, искусство, любовь — и показывает величие жизни в ее победе над «титаном» Базаровым, мрачно рисующимся на ее фоне. По мнению Страхова, Тургенев не только как поэт показал самую суть идей передового отряда русского общества, но, будучи прогрессивнее всех прогрессистов, доказал, что, «поэзия, оставаясь поэзией и именно потому, что она остается поэзией, может деятельно служить обществу».

В статью об «Отцах и детях» Страхов включил продолжение своей полемики с «Современником», для чего ему дали материал статьи, появившиеся в «Современнике» и «Русском слове». Но об этой стороне статьи мы скажем в следующей главе. Страхов еще раз вернулся к образу Базарова, рассматривая в первой книге «Времени» за 1863 г. комедию Устрялова «Слово и дело». В примечании к этой рецензии было сказано, что редакция получила много критических статей, в которых герой комедии Вертяев рассматривался как исправившийся Базаров, умышленно искаженный Тургеневым в его романе. Страхов, заступаясь за изображение Тургеневым человека из новой, «чреватой будущим» толпы, названного им «нигилистом», иронически говорил далее о «нескончаемых» толках о нем его защитников и противников, которые в своем анализе поправляют понимание Базарова, вложенное автором: «Нигилизм ничего для себя не сделал, все для него сделано его противниками. Они создали ему героя, дали ему имя, заботились об его истолковании». В результате получается, что нигилизма вообще-то и нет, и что это такое — остается в представлении темным хаосом, пустотой: «Может быть, это и не так. Мы нимало не думаем ручаться за то, что таково именно настоящее положение дела; но согласитесь, что так можно подумать, если судить по некоторым фактам, по этим комедиям и критикам, и вообще по всему, чем нигилизм заявил себя литературно».

В следующей, февральской, книге 1863 г. Страхов вновь вернулся к образу Базарова и его критикам, разбирая новую пьесу Островского «Грех да беда...», Страхов говорил о «великих достоинствах» русской литературы и мелочности, уродливости современной критики. Слепота этой критики сказалась в упреках Тургеневу за то, что он казнил Базарова, не замечая, что таков Тургенев во всех своих романах: выводя всегда «передового человека, властителя дум поколения», он «болеет своим веком», но «страшная сила анализа» ведет его к приговору, к развенчанию этих людей и воспеванию лишь людей «непосредственных» и природы. Иной, более конкретный, оценивающий прогрессивную общественную роль Базарова взгляд высказало «Время» в майском обзоре 1862 г. «Наши домашние дела», об этом говорилось в гл. IV.

Во «Времени» была еще одна статья о Тургеневе (1861, кн. 2), принадлежавшая Де Пуле и называвшаяся «Нечто о литературных мошках и букашках. По поводу героев г. Тургенева». Разбирая русских литературных героев и среди них героев произведений Тургенева, автор останавливается на его статье «Гамлет и Дон Кихот» и оспаривает понимание Тургеневым классических литературных образов. По письмам М. М. Достоевского мы знаем, что он принужден был исправлять как эту статью, так и следующую, присланную Де Пуле, а третью отослал обратно. Н. С. Милашевичу он писал, что не считает Де Пуле сотрудником «Времени», так как «не сходится с ним ни во взглядах, ни во мнениях». Предполагаем, что второй статьей Де Пуле (без подписи) была статья «Г-жа Кохановская и ее повести» («Время», 1861, кн. 9). 9 октября 1861 г. М. М. Достоевский извинялся, что не выслал денег Де Пуле за последнюю статью, а высланные за нее деньги (31 р. 25 к.) соответствуют размеру статьи о Кохановской (13 стр.). Статья эта противоречила позиции «Времени», так как в ней проглядывало «сочувствие» автора писательнице, которой «не мешал» «деспотизм семейный, деспотизм помещицкий», потому что он принимался ею за «явление нормальное» [12].

Нам остается еще сказать об отзывах «Времени» о двух молодых писателях-демократах, которых вырастили, воспитали идеи «Современника». Это Н. В. Успенский и Помяловский. Н. В. Успенский печатался в «Современнике» с 1858 г. По поводу издания в двух частях его «Рассказов» в 1861 г. Чернышевский напечатал в ноябре этого года статью «Не начало ли перемены?» Проникнутая идеей о свержении самим народом того гнета, который делает из него жертву, бессмысленно терпящую страдания и издевательства от меньшинства, идеей крестьянской революции, статья эта была сильно сокращена цензурой. В рассказах Успенского статья высоко ценила то, что автор не идеализи-

---

[12] «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Под ред. А. С. Долинина, 1922, стр. 512. Де Пуле писал о Кохановской в «Русском слове», 1859, № 12.

рует мужика и мужицкий быт, говорит открыто о их недостатках, «пишет о народе правду без всяких прикрас». Такое отношение свидетельствует о признании возможности народа самому бороться за изменение своей судьбы. Чернышевский видел в этом «хороший признак», «очень отрадное явление».

Книга «Современника» с этой статьей Чернышевского вышла в свет 14 декабря 1861 г., а в декабрьской книжке «Времени» (вышла в свет 28 декабря) появилась также статья о «Рассказах Н. Успенского», автором которой есть все основания считать Ф. М. Достоевского. Две недели разницы в сроке позволяют предположить, что Достоевский мог ознакомиться со статьей Чернышевского: он мог, как «хозяин» журнала, отдать свою рецензию в последний срок перед выпуском книги. Статья Достоевского очень невелика. Она сразу же отметила связь Н. Успенского с «Современником», благодаря «рекомендациям» которого он пользуется вниманием публики. С самого же начала ощущается полемическая заостренность статьи против тех, кто видит в Н. Успенском «*основателя* какого-то нового взгляда в описаниях народного быта, изобретателя какой-то новой точки зрения, с которой следует смотреть на народ». Но так как далее говорится, что авторы этого взгляда видят в Успенском только собирателя материалов о народе без своего «предвзятого» взгляда на него, к которому общество якобы еще не приготовлено, то видеть в этом предполагаемом оппоненте Чернышевского вряд ли возможно.

В противоположность Чернышевскому Достоевский находит, что писатели, предшественники Н. Успенского, в изображении народа «сказали о нем в сто раз более, чем он, и сказали верно, и в этом их слава». Успенский многое повторяет уже сказанное, а, кроме того, его картины можно сравнить с дагерротипом, захватывающим все, что попало в объектив, без отбора и идеи. То, в чем Чернышевский видит большой внутренний смысл (рассказ «Обоз», счеты мужиков) и приводит в доказательство страницы цитат, Достоевский осуждает, как намерение автора «посмеяться над мужиками, что они не умеют считать».

Но Чернышевский и Достоевский сходятся в том, что в рассказах Н. Успенского подлинная любовь к народу, его понимание и близость к нему. И еще сходятся они в том, что Успенский показывает обыденность, рутину народной жизни, и одобряют это. У Чернышевского читаем: «Рутина господствует над обыкновенным ходом жизни дюжинных людей и в простом народе, как во всех других сословиях, и в простом народе рутина точно так же тупа, пошла, как во всех других сословиях. Заслуга г. Успенского состоит в том, что он отважился без всяких утаек и прикрас изобразить нам рутинные мысли и поступки, чувства и обычаи простолюдина». А Достоевский писал: «Нам именно нравится, наконец, что г. Успенский выбрал такой обыденный случай для своей критики. Обыденных случаев больше,

чем необыденных... из них слагается вся жизнь простонародья». Чернышевский на анализе рассказа «Проезжий», а Достоевский — рассказа «Поросенок» вскрывают, как народ, действуя по инерции, по заведенному порядку, как будто лишен чувства обиды, самозащиты, принимает насилие над собой как нечто неизбежное. Но если Чернышевский в обнаруживающихся при этом «вздоре, грязи, мелочности и тупости» просит не спешить с заключением и напоминает, что в каждом вялом и мелочном человеке бывают «минуты энергических усилий и отважных решений», напоминает об энергических действиях французских поселян, исторически известных (т. е. о революции), то Достоевский видит в несоответствии внешнего поведения простого народа с его внутренним миром его «доверчивость, неоскверненность духа народного», и он поражается мыслью «о внутренней правоте народной нравственности, о глубине сердца народного, и о прирожденной широкости его человеческих воззрений», отражающихся «в последнем из созданий, забитой, загнанной и полупомешавшейся деревенской бабе».

В этой статье Достоевского интересно еще отметить его защиту журнала от обвинений в особом преклонении перед силой искусства и определение роли критики. Повторяя частично сказанное в статье «Г. — бов и вопрос об искусстве», Достоевский писал: «Наш журнал обвиняют в том, что мы хотим понять и изучить современность одним искусством и какими-то еще восторгами художников и поэтов. Мы никогда не говорили такого вздора; мы всегда только отстаивали и заявляли самостоятельное значение искусства, естественность его самостоятельности и, таким образом, его полную необходимость в деле общественного развития и сознания, но вовсе не исключительность... Искусство помогает сильным и могущественным образом человеческому развитию, действуя на человека пластично и образно. Но критика так же естественна и такую же имеет законную роль в деле развития человеческого, как и искусство. Она сознательно разбирает то, что искусство представляет нам только в образах. В критике выражается вся сила, весь сок общественных выводов и убеждений в данный момент». Говоря далее о значении в развитии человечества науки, автор статьи, явно выступая от редакции, так обрывает себя: «Впрочем, не отвечать же нам на все нелепости, которые на нас взводят!»

Другим писателем, выпестованным «Современником», о котором писало «Время», был Помяловский. В 1861 г. в феврале была напечатана в «Современнике» его повесть «Мещанское счастье», а в октябре повесть «Молотов». В первой книге за 1862 г. редакция «Времени» поместила разбор «Мещанского счастья», причем сделала следующее примечание к началу статьи: «О прекрасной и замечательной повести «Молотов» г. Помяловского мы выскажем свое мнение в этом году».

Статья о «Мещанском счастье» принадлежала П. А. Биби-

кову и называлась «По поводу одной современной повести. Нравственно-критический этюд». Ее автор не был ни «поэтом», ни литературным критиком. Это был тридцатилетний кадровый военный, который «принадлежал к кружку тех революционно настроенных офицеров генерального штаба (по воспоминаниям Соколова, это Обручев, Аничков, Бибиков, Добровольский и др.), который был тесно связан с Чернышевским». Бибиков был автором первой книги о Добролюбове («О литературной деятельности Добролюбова», 1862), автором исторических статей в «Современнике», «Русском слове». В статье «Третье сословие во Франции до революции» («Русское слово», 1861, март) Бибиков довольно прозрачно намекал на порочность крестьянской реформы в России, когда писал о крестьянах Франции: «Боязнь общего восстания заставляет господ согласиться уступить за деньги свое незапамятное на них право. Но эти уступки не могли произвести общего и полного освобождения; затруднения были слишком велики, нужны были радикальные изменения прав собственности». В 1865 г. Бибиков издал собранные в книгу «Критические этюды» (Фурье, Чернышевский и др.). Книга была арестована и вызвала первый литературный процесс в России [13]. Бибиков был также переводчиком ряда классических трудов по политической экономии.

Статья о Помяловском была первым выступлением Бибикова во «Времени», где он позднее поместил ряд статей, связанных с военной службой и реформами в организации военной системы. В статье о «Мещанском счастье» Помяловского Бибиков выступил с резкой критикой как бездеятельных литературных героев, ограничивающихся словесным осуждением действительности, так и «мещанского счастья», ухода в борьбу за личное благополучие. Через всю статью проходит требование «дела», «героев», которые не только бы обещали, но и выполняли обещания, чего ждет и читатель от литературных произведений. Но «у нас, где жизнь общественная и гражданская тянется вяло, когда незаметно, где она вовсе не представляет никаких положительных интересов, а поражает только отрицательной своей стороной», все же не она является ареной действия героя романа, а по-прежнему главным интересом продолжает быть любовь. Но и в этой области герой остается бездеятельным, обманывает ожидание читателей. Бибиков вспоминает статью Чернышевского 1858 г.: «Не только в повестях и романах Тургенева, герои которого по преимуществу оказываются такими, но во всех других замечательных произведениях герой на rendez-vous оказывается несостоятельным».

Бибиков отвергает оправдания такого поведения воздействием «среды», общественных условий и, отсюда, согласие на примирение. Он требует от героя ответственности за свои слова,

---

[13] *Ф. Кузнецов.* Журнал «Русское слово», стр. 57, 68, 157.

и если герой не умеет проявить честности и благородства в любви, то «мы не станем ожидать от него дел, подвигов, на которые необходима прежде всего известная доля самопожертвования, увлечения, в которых рефлексия не уместна и только вредит». О каких «делах» идет здесь речь, ясно из горячего выступления критика против «среды»: «Пришло иное время, прежнее объяснение не успокаивает нас. Что же это в самом деле? Все среда, да среда заела! Да разве среда творится безусловно сама собою, без всякого влияния на нее человеческой воли?...» Объяснение причинностью «не удовлетворяет своим примиряющим характером, и мы требуем подвига, дела. Слова эти тоже слышатся всюду, носятся в нашей атмосфере».

Герой повести Помяловского не «заеден средой» или рефлексией и, «по-видимому, вовсе не принадлежит к тем пустым и жалким либералам, которых у нас расплодилось так много в последнее время и от которых не приходится ожидать ничего путного. Но найденный им выход резко спорит с теми ожиданиями, которые он сперва внушает читателю: «Он стал чернорабочим не ради процесса самого труда,— нет, а из высокого чувства услаждения своею собственностью и следующею за нею независимостью. Руководит им даже не любовь к труду, а любовь к деньгам». Бибиков резко осуждает героя повести за то, что, добиваясь необходимых условий жизни (хлеб, жилье) только для себя, он забывает о других неимущих, тратит все силы на «благонравную чичиковщину», в то время как ранее звал любимую женщину идти «вместе на борьбу, на осмысление жизни». Критик резко бичует буржуазное самодовольство, его склонности к примирению и покою в «мещанском счастье» и напоминает о существовании подлинных борцов, деятельность которых неведома, скрытна, но без них не могло бы быть движения вперед. Их неудачное изображение в литературе объясняется тем, что жизнь еще не создала их образ, присутствие которого только ощущается в атмосфере. В будущем здоровых, деятельных героев появится много, но выйдут они не из уютных жилищ, где процветает «мещанское счастье».

В статье Бибикова много места уделено вопросу эмансипации женщины. Он обещает в особой статье поговорить о современной героине, в которой, несмотря на условия среды, произвол мужчины, сохранились природная сила и упорство: «Жизнь стремится к тому, чтобы открыть ей те же пути, какие удержаны исключительно за собою мужчиной, чтобы войти в мир всеобщего, науки и искусства, религии и права, гражданственности и политики».

«Нравственно-критический этюд» Бибикова вместе со статьями Разина и Ткачева обнаруживают силу воздействия на разные отделы журнала революционно-демократических органов печати и их руководителей. Терпимость к этому воздействию редакции «Времени» была, конечно, осознанной и хорошо ощуща-

лась как журнальными врагами «Времени», так и органами правительства.

Литературная критика журнала, помещая как основополагающие декларации Ф. М. Достоевского о первостепенном значении свободы творчества и художественности, была тем не менее вся, от статьей Ап. Григорьева до статьи Бибикова, пронизана выявлением в литературе «общественной или нравственной мысли», связанной с «животрепещущими вопросами времени», с текущей действительностью и тем самым отдавала дань тому «утилитаризму», которому Достоевский хотел бы противопоставить свое понимание литературной критики.

«Время», очевидно, предполагало давать критическое обозрение не только художественной литературы, но и других искусств. Выше говорилось о театральной критике, которую вел Григорьев, ее установках на народность, национальность и реализм. Была сделана попытка давать критические обозрения в области музыки. В мартовской книжке 1862 г. была помещена статья «О музыке в России. Введение» (35 стр.). Автор статьи — П. П. Сокальский, магистр химии, нашедший свое призвание и известность как композитор, фольклорист и музыкальный деятель. Он предпослал статье примечание, в котором сообщал, что предполагает дать ряд статей о музыке «со стороны эстетической». Его интересуют не личности, не учреждения, а «факты, запечатленные убеждением или общественным значением». «Краеугольным камнем» для него является «вопрос о народности в музыке». На этой основе он предполагает говорить о потребности, значении и будущности музыки в России.

Первая часть «Введения» посвящена вопросу о создании русской школы в музыке, в развитие которой автор твердо верит, так же как в ее будущее значение для общего развития музыкального искусства. Вторая часть «Введения» дает сведения о Русском музыкальном обществе, объявленном композиторском конкурсе, организации концертов и музыкальном образовании. Очень высоко оценивая гений Глинки, автор жалел, что русская музыка еще мало звучит в концертах и театре. Если сопоставить установки этой статьи с глубоким уважением и интересом Достоевских и Ап. Григорьева к творчеству А. Н. Серова, ставшего позднее сотрудником «Эпохи», то можно сделать вывод, что «Времени» было близко наиболее прогрессивное музыкальное направление, которое как раз в эти годы нашло свое развитие в деятельности «могучей кучки».

Представляют значительный интерес две статьи «Времени», посвященные критике изобразительного искусства. Эти две статьи, помещенные в октябрьских книжках за 1861 и 1862 гг., с отчетами о выставках Академии художеств. Первая из них (без подписи) давно связывалась с именем Ф. М. Достоевского Л. П. Гроссманом и О. Шульцем. Высказанные Б. В. Томашевским сомнения в авторстве Достоевского и предположения,

что автором мог быть Платон Кусков [14], кажутся нам мало убедительными. Дело ведь не в том, что в статье приведены «детали каторжной жизни», которые мог знать и другой автор, а в том проникновении в психологию арестантов, которая сближает отзыв о картине Якоби в «Отчете» с «Записками из Мертвого дома». Но, считая Ф. М. Достоевского автором первых пяти страниц статьи о «Выставке в Академии художеств за 1860—1861 год», т. е. описания и критики картины Якоби «Партия арестантов на привале», мы думаем, что следующие 22 страницы написаны лицом, близко стоявшим к современной художественной жизни, следившим за ней (автор вспоминает выставки прежних лет), свободно ориентировавшимся в ее направлениях и специфике творчества разных авторов.

Как гипотезу мы выдвигаем предположение, что соавтором Ф. М. Достоевского был Я. П. Полонский. Он сам был художником и лишь недавно вернулся из Швейцарии, где брал уроки живописи у местных художников. В отчете приведены чрезвычайно сочувственные отзывы о картинах швейцарцев Калама и Диде. В 1859—1860 гг. Полонский путешествовал по Италии, изучая памятники искусства. Он был близким другом семьи придворного архитектора Штакеншнейдера, где встречался со многими деятелями изобразительных искусств и где все были в курсе жизни Академии художеств. По своим эстетическим вкусам и дружеским отношениям с Ф. М. Достоевским он вполне мог быть соавтором последнего. Наконец, в книге гонораров под 2 ноября 1861 г. есть запись: «Яков Полонский получил за прозу 50 р., за 3 главы романа — 540 руб., за стихотворение «Беглый» 30 руб.— 620 р.» В октябрьской книжке там же, где статья о выставке, были помещены главы из «романа в стихах» «Свежее преданье», в ноябрьской — стихотворение «Беглый», а «прозы» с подписью Полонского в ближайших книгах нет. Между тем 40—50 р.— это как раз оплата за печатный лист критики и соответствует 20 с лишним страницам отчета.

Если для отчета о выставке 1861 г. характерна борьба против академизма и погони за внешним эффектом, против натурализма («нет, художественная правда совсем не та, совсем другая, чем правда естественная»), то в отчете о выставке 1862 г. П. Ковалевского отметим особый интерес к творчеству Федотова и его школы, внимание к социальному содержанию картин, раскрытие этого содержания в комментариях к ним. Автор увязывает сюжеты картин с направлением литературы, видит в них явное влияние Гоголя и «обличительного» жанра. О Перове, ко-

---

[14] См. *Достоевский,* т. XIII, стр. 529—547.

В примечании на стр. 608 Томашевский высказывает предположение, что инициалы П. К., которыми подписана статья о выставке в 1862 г., принадлежат П. Кускову, и этим подтверждает предполагаемое авторство Кускова в статье 1861 г. Между тем, автор статьи 1862 г.— П. Ковалевский, так значится в оглавлении и в гонорарной книге.

торого он особенно высоко ценит, читаем: «Г. Перов действительно одарен большою способностью *отрицания,* как принято выражаться, и, по-моему, положительным уменьем смеяться над тем, что смешно». Сюжет картины, «исчезнувшей» на другой день после открытия выставки «по причинам, от художника не зависящим», автор излагает, явно давая понять читателю, чем это объясняется [15].

Отчет П. Ковалевского — это смелая, вызывающая пропаганда того направления, которое стало скоро известно под именем «передвижников». Как в области музыки, так и в живописи журнал «Время» сумел оценить передовые позиции современного искусства.

---

[15] Речь шла о картине Перова «Сельский крестный ход на пасхе» (1861), изображавшей пьяное духовенство и снятой властями с выставки. Ее воспроизведение в печати было запрещено.

Глава XIII

Журнальная полемика во «Времени»

Основывая журнал, редакция заявила о своем намерении вступать в бой с другими изданиями в защиту своих убеждений и обличать отрицательные факты современной журнальной жизни: «Мы не уклонимся и от полемики. Мы не побоимся иногда немного и «подразнить» литературных гусей; гусиный крик иногда полезен: он предвещает погоду, хотя и не всегда спасает Капитолий». Эта шутливо и задорно высказанная осенью 1860 г. угроза через год, в новом «Объявлении» о журнале, была выражена как его принципиальная установка. Признаваясь, что в течение истекшего года «Время» «увлекалось во многом» и не всегда было беспристрастно, редакция заявляла: «Полемику же идей мы считаем в наше время необходимою. Скептицизм и скептический взгляд убивают всё, даже и самый взгляд, наконец, и граничат с полной апатией и мертвенным сном» [1].

Полемика «идей», как мы показали во всех предшествующих главах, действительно проходила через все разделы журнала. В вопросе о крестьянской реформе, о судьбах дворянства, об экономическом развитии России, о принципах судебной реформы, о народном образовании, о русской истории, о роли искусства и значении Пушкина и в ряде других поднимавшихся вопросов «Время» полемически заостряло свои выступления как в серьезных научных статьях и рецензиях, так и в специальных публицистических откликах в виде фельетонов, писем в редакцию и др.

Исследованием полемики Ф. М. Достоевского во «Времени» в тесной связи с эволюцией его мировоззрения [2], с определением его общественной позиции, привлекая материалы, которые дает его предшествующее и последующее творчество, письма, записные книжки, свидетельства современников, занималось немало

[1] *Достоевский,* т. XIII, стр. 500, 506.

М. М. Достоевский писал Де Пуле в феврале 1861 г. «Если Вы потрудитесь прочесть вышедшие две книги, то увидите, что полемика играет важную роль в нашем издании... За всякую честную полемическую страницу я буду Вам весьма благодарен» («Ф. М. Достоевский». Под ред. А. С. Долинина, 1922, стр. 509).

[2] См. «Введение».

авторов, высказавших много наблюдений, имеющих прямое отношение к нашей теме. Но самое задание этих исследований вело к суммарному изучению полемики Достоевского во «Времени» и «Эпохе», его опубликованных статей и почти стенографически набросанных заметок в «Записных книжках», не поддающихся точной датировке. При таком изучении эволюция полемики журнала «Время», как такового, с трудом может быть прослежена. Оставаясь в пределах материала, опубликованного на страницах «Времени», и анализируя выступления Достоевского в ряду с выступлениями других полемистов журнала, мы постараемся в этой главе конкретизировать «полемику идей», во-первых, по ее идейной направленности, а в связи с этим — по ее отношению к определенным органам печати, а иногда и отдельным лицам.

Насколько горячо рвалась редакция «Времени» в журнальную полемику, хорошо иллюстрирует ее поведение уже в первые месяцы 1861 г. Общее внимание прессы в это время привлек развязно написанный фельетон Камня Виногорова (П. Вейнберга) в еженедельной газете «Век» о публичном чтении некоей г-жой Толмачевой в Перми «Египетских ночей» Пушкина. В № 3 «Времени» появилась небольшая статья Страхова [3], в которой он рассказал о существе фельетона и реакции на него других изданий. Он изобличал Вейнберга в грязной направленности его помыслов и грубости понимания «целомудренного и всегда чистого Пушкина». Но эта небольшая заметка Страхова, очевидно, не удовлетворила Ф. М. Достоевского, и он поместил в этой же книге журнала большую статью «Образцы чистосердечия», излагая со своими комментариями оправдания и ответы «Века» на выступления прессы, направленные против него. Негодование Достоевского на развязного фельетониста вылилось в горячей защите оскорбленной женщины, в саркастических вопросах, в восклицаниях, которыми он засыпал автора фельетона и защищавший его журнал.

Этими статьями вопрос не был исчерпан. В апрельской книге 1861 г., в отделе фельетона, была помещена статья П. А. Кускова (без подписи) «Некоторые размышления по поводу некоторых вопросов», где между другими темами Кусков возвращался к чтению Толмачевой «Египетских ночей» и защищал ее. «Русский вестник» счел этот фельетон принадлежащим Достоевскому и чрезвычайно раздраженно и оскорбительно ответил на него. Выступление «Русского вестника» вызвало почти полную его перепечатку с саркастическими замечаниями Ф. М. Достоевского в статье «Литературная истерика» в седьмой книге «Времени» и помещение там же «Письма П. А. Кускова к «Русскому вестнику».

В апреле—мае Страхов написал вторую статью с откликом

---

[3] «Один поступок и несколько мнений г. Камня Виногорова в № 8 газеты «Век».

на историю Толмачевой, но Достоевский не поместил ее в журнале, а, взяв из нее лишь часть, включил в виде «письма приятеля» в свой большой «Ответ «Русскому вестнику» (1861, кн. 5), в котором вернулся к «безобразному поступку «Века», хотя и признавал, что этот вопрос «до того надоел всем и каждому, что о нем даже говорить теперь боятся печатно». Но, вернувшись к нему, Достоевский поднял «проходную» захватанную тему журнальной полемики на высоту утверждения глубоких принципиальных положений: с одной стороны, он раскрывал философское значение произведения Пушкина, а с другой — развивал свои мысли о женской эмансипации, свое понимание ее значения для прогресса, для высшего нравственного развития общества [4].

В течение всего существования «Времени», а в первый год особенно, полемика Достоевского была в основном нацелена на издания Каткова — «Русский вестник», «Современная летопись», «Московские ведомости». Как ясно из предшествующих глав, их позиция резко расходилась со «Временем» и в вопросе о крестьянской реформе, значении дворянства, и о дальнейшем развитии экономики страны, и организации судебных, городских и земских учреждений. Но Достоевский атаковал руководителей консервативных органов Каткова и Леонтьева за их кабинетную оторванность не только от народа, но и от русского общества, от родной литературы, за их постоянное преклонение перед «зрелыми странами» Европы и за глубокое презрение к русской действительности. Взяв себе частную, казалось бы, тему — негодование «Русского вестника» на «крошечный» отдел «Современника» — «Свисток», Достоевский не уставал высмеивать «олимпийство», «пальмерстонство» «Русского вестника», его высокомерную уверенность в том, что именно он является тем центром, указаниям которого все обязаны следовать.

Особенно резкий отпор Достоевского встретил тот уничтожающий приговор, который озлобленный на «Свисток» «Русский вестник» выносил всей русской литературе и современному обществу, приравнивая их к «свистунам» и «мальчишкам». Достоевский взял под свою защиту не только литературу, в которой, по его словам, выразилась «преемственность сильной всенародной мысли», которая «вошла органически в русскую жизнь», но и самый «Свисток», вызывавший негодование «Русского вестника», так охарактеризовав его: «Мы вовсе не увлекаемся свистящим направлением «Современника». Свист его иногда легкомыслен и даже пристрастен, так по крайней мере нам кажется. Но все-таки, повторяем, мы находим его во многом полезным. «Свисток», по-нашему, даже отчасти нормальное явление в нашей литературе. Он не хочет утешать себя побасенками и разными приятными грезами. От деятелей он требует деятельности, а не тупого самодовольства. Он хочет называть каждую вещь

---

[4] *Достоевский,* т. XIII, стр. 221—227, 172—186, 203—220, 595, 596.

ее собственным, настоящим именем, а не принимать журавля за соловья... Пусть они иногда не правы, далеко заходят, опрометчивы, неумеренны. Но мысль-то их недурна. Она нова в нашей литературе» («Время, 1861, кн. 5).

Характеристика «Свистка» приводит далее Достоевского к важнейшему его высказыванию о силах, действующих в обществе, его внутренней структуре и развитии. Существенно, что, поместив его в «Ответе «Русскому вестнику» (1861, кн. 5), он перепечатал его вторично в статье «По поводу элегической заметки «Русского вестника» (1861, кн. 10) как основу для своей дальнейшей полемики против циничной позиции «Русского вестника» в отношении к русской литературе, науке и жизни. «Нет у нас «совестливых» людей, говорит он (т. е. «Рус. вестник») обо всех без исключения. «У нас ничто и ничего не представляет никаких задатков будущего: всё это одна гниль разложения». Одним словом: «всё гниль, и все — гниль!..»

Какой же свой дважды высказанный взгляд на общество противопоставил Достоевский этому отрицателю «справа»?[5] Он делил общество на две неравные части. Огромное большинство всегда стоит за то, что, «по их понятиям, незыблемо и неподвижно», так как это совпадает «с их материальными текущими интересами, часто в ущерб остальным и многочисленнейшим их собратьям, и для них хоть весь свет гори, было бы им хорошо». Это большинство из чувства самосохранения боится всего нового, прогресса. Рядом с большинством существует меньшинство, которое «с огорчением смотрит» на тупость, грубость и корыстность большинства, развращающего толпу. «В этом меньшинстве таятся прогрессивные жизненные силы в противоположность застою всего общества. И та и другая сторона сами по себе законны и даже необходимы одна другой. Но ненависть и борьба между ними непрерывны». Признавая, что «между меньшинством являются иногда люди гениальные» и «всегда есть люди честные и высоких нравственных качеств, готовые всем пожертвовать для блага общества и стоически переносить всевозможные гонения», он констатировал наличие в нем «мальчишек и крикунов», которые, ухватывая только верхушки идей, доводят их до крайности и опошляют их. «А между тем, как ни смешны эти крикуны, из числа их бывает много людей, честно и благородно преданных делу». Враги меньшинства используют для своей выгоды крикунов, глумясь и клевеща на них, но «прозорливый человек никогда не будет судить по этим крикунам о стойкости и истинности какой-нибудь новой прогрессивной идеи, проповедуемой в избранном меньшинстве общества лучшими его представителями».

Так как в полемике под «крикунами и мальчишками» подразумевался сатирический отдел «Современника», то во всем вы-

[5] Там же, стр. 204—205, 227.

ступлении Достоевского нетрудно увидеть защиту журнала Чернышевского, тем более что самое деление общества на еще не тронутую прогрессом массу и на наличие в нем «новых людей», передового меньшинства также очень напоминает о нем. В статье «По поводу элегической заметки «Русского вестника» (1861, кн 10) Достоевский уже прямо указывал на «Полемические красоты» Чернышевского, как причину «скрежета зубовного» и «элегического воя» журнала Каткова, и с несомненным сочувствием писал о Чернышевском, на которого со злобой ополчился не только «Русский вестник», но и «Отечественные записки». Полемизируя с «Русским вестником», Достоевский не раз противопоставлял ему деятельность Белинского, именно последнее время его деятельности, «когда образовалось целое новое поколение, немногочисленное, но благородное; оно скрепилось новыми убеждениями; эти убеждения стали органическою потребностью общества, развивались все больше и больше». На презрительное «осклабление» «Русского вестника» при словах о «величии Белинского» Достоевский прямо указывал, что журнал «желчно завидует Белинскому» и поэтому обливает его грязью.

Горячность Достоевского в полемике с «Русским вестником», с которой он обрушивался на него, несомненно, возбуждалась не только высокомерием, англоманией и презрением к русской действительности Каткова, но и ясным пониманием политической позиции журнала, исполнявшего охранительные функции и в том или ином виде доносившего правительству на литературу и прогрессивное «меньшинство». Достоевский ядовито закончил свою статью ««Свисток» и «Русский вестник»», приведя как пример «чистосердечности» московского издания цитату-признание из него: «Мы не откажемся также от своей доли полицейских обязанностей в литературе...». А статью «По поводу элегической заметки «Русского вестника» закончил прозрачным намеком на карьеру журнала как правительственного доносчика, как современного Фаддея Булгарина: «Да, «Русский вестник», мы уже вам пророчили прежде, что вы рано ли, поздно ли поворотите на одну дорожку. Дорожка эта торная, гладкая. Вероятно, найдете и товарищей. Счастливый путь! И весело, и выгодно!..»

В 1862 г. Достоевский уже не считал нужным по отдельным поводам высмеивать и подшучивать над «Русским вестником». Он открыто выступил против его руководителя и вдохновителя Каткова и, очевидно, в связи с болезненной реакцией Каткова на «свистунов», сам надел на себя маску «свистуна» (позднее он писал: «Мы сами иногда посвистывали») и напечатал в десятой книге «Времени» «Щекотливый вопрос. Статья со свистом, с превращениями и переодеваниями». В ней он показал путь, который проделал Катков за последние годы, и нарисовал беспощадно разоблачающий облик влюбленного в себя, пустозвонного оратора, не забывавшего, однако, уличать в неблагонамеренности тех или других своих конкурентов. В этой статье

Достоевский сделал попытку вывести на сцену ряд других изданий, кроме катковских, и «нигилиста», т. е. «критика и мальчишку», который у него берет верх над Катковым, вынужденным стушеваться.

С 1861 г. начал Достоевский также свою полемику со славянофилами, поместив в ноябрьской книжке статью о новой аксаковской газете «День». При всем личном уважении к редактору, частичном одобрении понимания славянофилами «основных элементов русской народной особности» и русской общины Достоевский все же взял на себя разоблачение самых основ славянофильского учения. Во многом он повторял Белинского, указывая, что «собственный идеал у них (славянофилов) еще вовсе не выяснен», что, по их мнению, «любить родину и быть честными дано в виде привилегии только одним славянофилам». Но основной порок славянофильства Достоевский видел в непринятии им русской действительности, общества, литературы. Если Каткову все представлялось кругом гнилью, то И. Аксаков фанатично называл все ложью, которая разъела, как проказа, русскую жизнь. С энтузиазмом защищая современную русскую литературу от этого обвинения, Достоевский вставал на защиту тех, с кем боролись славянофилы,— западников, так как для него была несомненна связь с ними общественной роли литературы «за десятки последних лет»: «Эта самая литература, страстно-отрицательная, с неслыханной ни в какой еще литературе силою смеха и добровольного самоосуждения, благородная и с энтузиазмом шедшая прямо к тому, что считала доблестным и честным,— что эта самая литература восторженно поддерживалась самыми крайними западниками».

Враждебно настроенные славянофилы говорят о западниках «не иначе как с презрением и проклятием, забывая, или, лучше, не хотя понять, что западничество и даже самые последние его крайности были вызваны непременным желанием самопроверки, самопознания, последней вспышкой жизни в умиравшей петровской реформе и первой вспышкой сознания, его осудившего, т. е. было вызвано самим процессом жизни. Будто в западниках не было такого же чутья русского духа и народности, как в славянофилах? Было...» Но они «не закрывали глаз для света и хотели дойти до правды умом, анализом, понятием» и «обратились к реализму», тогда как славянофилы в своей неподвижности и отвлеченности дошли «до полного разлада с действительностью».

Бегло говоря об «ошибках» западников, Достоевский подчеркивал сочувствие к ним «массы общества», видел значение петровской реформы в том, что она внесла «великий элемент общечеловечности» и поставила его «как главнейшую цель всех стремлений русской силы и русского духа». Достоевский совсем не двусмысленно соединял, далее, свое направление с западниками и отгораживался от славянофилов, в «европеизме, запад-

ничестве, реализме» видя возрожденную жизнь, начало сознания, начало воли, начало новых форм жизни. Он допускал наличие «лжей», перечисленных Аксаковым, но отвечал: «Мы не боимся этого злорадного исчисления наших болезней... Пусть это лжи, но движет нас правда. Мы в это веруем. Движение остановить нельзя...» И высоко ценя участие в действительной жизни, он обвинял славянофилов в сознательной и презрительной самоизолированности от нее, застойном идеализме. «Да что же вы-то делали, К. Аксаков? а не вы, так все ваши славянофилы?» В заключение статьи Достоевский негодующе указал на защиту крепостного права в «Дне» в статьях корреспондентов и самого редактора.

Через три месяца Достоевский вернулся к выяснению своих отношений к славянофилам в статье «Два лагеря теоретиков» (1862, кн. 2). Ее главная задача — раскрыть взгляд автора на русский народ, на отрешенность от него общества и необходимость сближения. К славянофилам он в этой статье был снисходительнее и находил в «Дне» «много честности». Он ценил, что «День» «затрагивает самые существенные стороны нашей русской жизни» и «его отрицание идет вглубь, поднимает, так сказать, самое *нутро* вопроса», но, тем не менее, Достоевский оставался при своем мнении: «беспощадное отрицание «Дня» в иных случаях слишком беспощадно и потому несправедливо». Вспоминая опять об огульном фанатическом обвинении «Днем» во лжи русского общества, литературы, Достоевский вновь вставал на их защиту, а также на защиту прав молодого поколения, не признаваемых славянофилами. Это выступление очень характерно для позиции «Времени» этих месяцев: «Твердя о непочатых силах народных, о свежести и крепости его, славянофилы запрещают всякую деятельность молодым, крепким, в первый раз столкнувшимся с действительностью силам... Взывают к голосу народному, от народа, еще неискусившегося во зле, ожидают плодов, а молодому поколению, на которое возлагаются лучшие надежды общества, отказывают во всяком голосе...»

Достоевский видел в этом выступлении «Дня» против молодого поколения «неизгладимое пятно редакции». Большое место в этой статье Достоевский отвел разоблачению того «московского идеальчика», по которому славянофилы хотят перестроить жизнь, разоблачению той лживости и порочности, которые пронизывали допетровскую Русь, представляемую славянофилами в искусственном освещении.

В той же книге «Времени» (1862, кн. 2) была помещена небольшая заметка под названием «Девятнадцатый нумер «Дня», посвященная специальному вопросу — антисемитству славянофилов. Надо сказать, что в ряде выступлений и заметок внутреннего обозрения «Время» защищало евреев от притеснений и обвинений, которым они подвергались в быту, что отражалось в прессе. Передовая статья № 19 «Дня» сетовала, что по новому

закону евреи, имеющие ученые степени, допускаются на службу по всем ведомствам и по всей России. Статья утверждала, что евреи «проповедуют ниспровержение всякого христианского порядка», что они «могут вздумать законодательствовать в духе Моисеевом», и требовала ввести в закон ограничения. «Время» обличает «День» в том, что он ищет защиты не в христианской вере, а в *законе*: «ему стоит еще сделать шаг — и он будет искать ее в огне и мече!» Автор «Времени» считает, что для «Дня» «логично, честно и нелицемерно, если бы мы жгли и вешали евреев». Он указывает, что «День» проклинает не только евреев, но и ряд явлений цивилизации XIX в., материалистов и коммунистов, якобы сеющих разврат и низводящих человека до уровня животного, и так отвечает Аксакову:

«Не тем преимущественно характеризуется наш век, что он породил матерьялистов и коммунистов,— эти явления, конечно, входят в его характер,— но главные черты характеристики не в них: гораздо важнее и главнее то, что эти матерьялисты и эти коммунисты в настоящее время бывают добрее и обильнее любовью, чем иногда бывали некоторые ревнители благочестия; что общество не предает пытке матерьялиста и не сжигает на кострах коммуниста, вообще смотрит на них с иной точки зрения, чем та, которой держится «День».

Автор заметки видит в позиции «Дня» слепую вражду, отрешенность от жизни, из чего вытекает и его чуждость русской литературе и презрительное к ней отношение. Причина же всего в легкомыслии *теоретического* решения вопросов и в хвастовстве «силой своей логики» [6].

«Современник» приветствовал выход первого номера «Времени» благожелательной статьей Чернышевского. Он призвал внимание публики к новому журналу, видел в нем обещание быть «представителем честного и независимого мнения» и «направление, достойное симпатии». Он несколько иронически отнесся к широковещательному обещанию «Времени» бороться с авторитетами, но одобрил его позицию в вопросе о гласности, приведя из него два больших отрывка. Однако Чернышевскому уже было ясно, что ««Время» расходится с «Современником» в понятиях о многих из числа тех вопросов, по которым может быть разница мнений в хорошей части общества», что оно «так же мало намерено быть сколком с «Современника», как и с «Русско-

---

[6] Заметка, вероятно, принадлежит М. И. Владиславлеву. В письме к нему М. М. Достоевского от 17 января 1862 г. есть приписка: «P. S. Вот бы разобрать газету «День». Хорошо было. Напишите — пришлю». Запись в книге гонораров также позволяет думать, что заметка принадлежит Владиславлеву. Владиславлев мог прислать более обширный разбор «Дня», но так как в февральском номере шла статья Ф. М. Достоевского, где также разбиралась газета Аксакова, то редакция могла напечатать только часть статьи Владиславлева на тему, которой не касался Достоевский. Указанием же на «теоретическое» решение вопроса она как бы соединила обе статьи.

го вестника»». В первой же книжке «Времени» он увидел, что в ней «порядком достается» и его журналу.

Приветствовал появление «Времени» в том же номере «Современника» в отделе «Свистка» Некрасов («Гимн «Времени»):

Явленье нового журнала
Внезапно потрясло умы:
В нем слышны громы Ювенала,
В нем не заметно духа тьмы.
Отважен тон его суровый,
Его программа широка...
Привет тебе, товарищ новый!

Некрасов шутливо давал советы и делал предостережения в связи с предстоящим журналу трудным путем, сопроводив их примечанием: «Свисток» надеется, что редакция «Времени» оценит бескорыстность и доброжелательство этих предостережений, которыми вовсе не должно пренебрегать».

Во второй книге «Времени» Достоевский поместил свою большую статью «Г.— бов и вопрос об искусстве», в которой он, как мы показали в предшествующей главе, рассматривая разные направления русской критики, сосредоточил свой анализ на критике «Современника». Но, конечно, не эта статья положила «начало борьбы с нигилистическим направлением», как писал о том Страхов. И не ее имел в виду Достоевский, когда в октябре 1861 г. писал в конце статьи «По поводу элегической заметки «Русского вестника» — о выпадах Чернышевского против журнала Каткова: «Нам можно говорить о г. Чернышевском, не боясь что нас примут за его сеидов и отъявленных партизанов. Мы так часто задевали уже нашего капризного публициста, так часто не соглашались с ним». Действительно, с первой своей книги «Время» так или иначе «задевало» «Современник», причем с каждой книгой атака усиливалась и становилась злее.

Автором большинства выступлений в 1861, в начале 1862 г. был Страхов. Он очень откровенно писал о себе: «Могу сказать, что во мне было постоянно какое-то органическое нерасположение к нигилизму и что с 1855 года, когда он стал заметно высказываться, я смотрел с большим негодованием на его проявления в литературе. Уже в 1859 и 1860 году я делал попытки возразить против нелепостей, которые так явно и развязно высказывались; но редакторы двух изданий, куда я обращался, люди хорошо знакомые, решительно отказались печатать мои статьи... Я понял тогда, какой большой авторитет имеют органы этого направления, и очень опасался, что такая же участь меня постигнет и во «Времени». Поэтому для меня было большой радостью, когда моя статья «Еще о петербургской литературе», разумеется, благодаря лишь Федору Михайловичу, была принята («Время» 1861, июнь); тогда я стал писать в этом роде чуть не в каждой книжке журнала».

Характерно, что далее Страхов признавал, что встречал со стороны редакции «маленькое сопротивление», вставки выражений и оценок, которые смягчали суждения Страхова, и приводил примеры. Упоминал он о «довольно горячем настоянии» Достоевского, вставившего в его статью «Нечто о полемике» фразу в защиту «свиста» в литературе, т. е. прямо «Современника»: «Вольтер целую жизнь свистал, и не без толку и не без последствий. (А ведь как сердились на него и именно за свист)». Однако, по заявлению Страхова, «всякие поправки такого рад вовсе прекратились», и можно думать, что Страхов сильно воздействовал в этом направлении на Достоевского. Признаваясь в своей ненависти к нигилизму, он добавлял: «вражду, которую я чувствовал, я старался передать и Федору Михайловичу».

«Вражда» Страхова уже ясно обнаружилась в его статье о Камне Виногорове (1861, № 3), в которой он «один наиболее читаемый и любимый публикою журнал» — «Современник» — не только приравнял к одиозной «Домашней беседе» Аскоченского в признании Пушкина «безнравственным», но счел его идущим еще далее, видящим в Пушкине пустого празднослова. В следующей книге от частного случая Страхов перешел к обобщению, хотя и воздержался от прямого указания на «Современник». В «Письме в редакцию. Нечто о петербургской литературе» он так характеризовал его: «Представьте — полнейшее отрицание авторитетов; слабое, ничтожное развитие эстетического вкуса; некоторое отвращение к стихам, как к чему-то очень приторному, пламенное желание общественной пользы; желание стать во главе, на виднейшем и главнейшем месте в нашем движении вперед; очень малая начитанность, полнейшая уверенность в достоинстве своей логики и в непогрешимости *самобытных*, хотя весьма немногих собственных убеждений, неопределенное, но постоянное недовольство всем и всеми; инстинктивное уклонение от общества и пребывание в узких кружках, причисление себя к избранным и весьма немногим; полнейшее незнание действительности, мизантропический взгляд на людей, скорая вера во все дурное; воззрение па жизнь более аскетическое, чем современное». За этой общей характеристикой последовал уже прямой выпад против Чернышевского и Писарева в новом «Письме к редактору «Времени» по поводу двух современных статей. Еще о петербургской литературе» (1861, кн. 6).

Имея в виду статью Чернышевского «О причинах падения Рима» («Современник», 1861, кн. 5) и Писарева «Схоластика XIX века» («Русское слово», кп. 5), Страхов стремился показать, что первая отрицает историю как науку, а вторая — философию, что считает особенно опасным, так как речь идет уже не об отрицании отдельных авторитетов, а целых направлений в человеческом знании, о «подвигах человеческого ума». Корень отрицания Страхов видел в провозглашении самостоятельности мышления и обвинял нигилизм в оторванности от всего развития

культуры, нежелании учиться у других, называя это «тиранией собственных мыслей». Он возмущался проповедью здравого рассудка и эгоизма, которые противопоставлял Писарев «бесполезной философии», лишь отвлекавшей людей от практической деятельности и познания подлинных явлений жизни. Особенно возмущался Страхов тем, что целью жизни провозглашалось «материальное благополучие».

В следующем «Письме в редакцию. Нечто о полемике» (1861, кн. 8) Страхов взял себе темой взаимоотношение журналов между собой, «освистывание» «личности» и даже клеветы друг на друга. Но как раз в это же время Достоевский защищал пользу «свиста» в полемике с Катковым и вставил в статью Страхова, как было указано выше, фразу, умеряющую негодование Страхова на «свист». Однако основное положение Страхова осталось, это было обвинение передовой мысли, что она живет «в фантастическом мире», что для нее не существует истории и искусства, «приобретенных целою жизнью человечества», и что эти извращения ее же губят.

В № 11 1861 г. («Литературные законодатели. Письмо в редакцию») Страхов вновь открыто выступил против Чернышевского и Писарева, хотя поводом явилась статья Н. В. Шелгунова «Литературные рабочие» («Современник» № 10, псевдоним Т. З.).

Неустанное преследование Страховым как в этих «Письмах в редакцию», так и в других статьях деятелей «Современника» и «нигилизма» вызвало в № 12 этого журнала ответную статью М. А. Антоновича «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе «Времени»)». Страхов поспешил ответить на нее новым «Письмом в редакцию «Времени». Пример апатии» в первом номере за 1862 г. В нем был уже открытый бой идеализма против материализма. Излагая основные положения «Времени» о «почве», о жизни народа, его развитии и органической связи всех членов, Страхов возмущался позицией Антоновича, возводившего историю «почвы» к «Маяку» и издевавшегося над тем, что в результате ее идеи свелись «к скромному требованию грамотности для народа», что явилось уже прямым откликом на статьи Ф. М. Достоевского. Антонович указывал на зависимость между материальным благосостоянием и образованием народа, говорил о необходимости заботиться о том и другом, в одной же грамотности видел «безразличное оружие», которое может быть направлено в разные стороны, может приносить и вред. Страхов, не соглашаясь с необходимостью на первое место поставить заботу о благосостоянии народа, об устранении его страданий, настаивал, напоминая об Евангелии, на необходимости прежде всего искать не житейских благ, а высших человеческих интересов, постижение которых возможно лишь через образование, грамотность. «Мир управляется идеализмом; как бы ни были крепки различные силы, входящие в игру жизни, власть и господство принадлежит той силе, которая всех крепче и одна непобедима — идеализм». Ста-

раясь показать полную оторванность от русской народной жизни и недоверие к народу, высокомерие и холодность Антоновича, Страхов в той же статье едко характеризовал и сопоставлял Чернышевского и Писарева, видя в первом «основание и начало» общего учения, а во втором «вывод и конец».

После этой статьи, где, конечно с согласия редакции, было обнаружено основное разногласие «Времени» с «Современником», последовала во второй книге 1862 г. статья Ф. М. Достоевского «Два лагеря теоретиков», где лагерю теоретизировавших славянофилов были противопоставлены и охарактеризованы теоретики «Современника», однако без той конкретной полемики, которая характерна для Страхова. Острие статьи Достоевского было направлено против славянофилов, а также была широко развернута вновь идея сближения образованного общества с народом, понимания его особенностей. Но все же Достоевский вступил в ту полемику Страхова с Антоновичем, которая касалась вопросов народной грамотности и благосостояния, полностью поддерживая идеалистическую позицию Страхова в сформулированных им тезисах и игнорируя политические и экономические требования «Современника»: «Теоретики опять задают вопрос: в чем же должно состоять это сближение с народом? Чтобы не распространяться об этом предмете много, мы скажем коротко, что для сближения с народом образованных классов нужно:

1) Распространить в народе грамотность. Народ наш беден и голодает вовсе не от того, чтоб у него мало было средств к добыванию насущного хлеба. Земли у нас много, заработка не трудна, по недостатку рабочих рук. Народ оттого беден и голоден, что невысок у него, по особым обстоятельствам, нравственный уровень, что он не умеет извлекать для себя пользу из тех огромных естественных богатств, какие у него под рукой. Значит, прежде всего нужно позаботиться об его умственном развитии.

2) Облегчить общественное положение нашего мужика уничтожением сословных перегородок, которые заграждают для него доступ во многие места. Средство это стоит в тесной связи с вопросом о сословных правах и привилегиях».

В третьем пункте Достоевский предлагал «нравственное преобразование общества», его освобождение от «сословных предрассудков и эгоистических взглядов». Как видно из этой идеалистической программы, Достоевскому чуждо понимание бедственного положения крестьянского большинства после реформы, бывшего основным предметом внимания революционных демократов и разработки их программы.

До осени 1862 г., т. е. до возвращения из-за границы, Достоевский более не выступал против «Современника», но Страхов продолжал свою полемику все в более развернутых статьях. В третьей книге 1862 г. он написал статью о Добролюбове в связи с выходом первого тома его сочинений.

Смерть Добролюбова была почтена во «Времени» публикацией в кн. 11 за 1861 г. очень тепло написанного некролога человеком, очевидно лично его знавшим (возможно, Разиным или Бибиковым). Автор некролога писал: «... Умер один из замечательнейших русских писателей... и смерть его была для всех, кто знал покойного, тяжелым ударом... Друзья Добролюбова давно ожидали его смерти, знали наверное, что болезнь его неизлечима, смерть приближалась заметно, болезнь явно глодала больного. Но пробил последний час — и всякий, кто был даже совершенно убежден в неминуемости скорой смерти Добролюбова, испугался. Одним честным и неустрашимым деятелем стало меньше».

Далее автор некролога, кратко сказав о литературной работе Добролюбова, в которой «все показывает здоровую, талантливую голову и установившееся, прочное, всегда верное себе воззрение», с большим сочувствием писал о пребывании Добролюбова в Италии и его интересе к ее общественно-политической жизни: «Там, вместо того, чтобы внимательно заняться своим здоровьем, он весь погрузился в ту кипучую жизнь, которой тогда жила соединившаяся Италия, познакомился со всеми тамошними деятелями, принимал живое участие в их делах и прениях, несколько раз проехал Италию из конца в конец...» Заключался некролог фразой: «Судя по началу его деятельности, Россия могла ожидать от Добролюбова много пользы, потому что он был храбрый, честный боец за правду».

Надо еще отметить, что «Время» вступилось за память Добролюбова в книге второй 1862 г., резко осудив выходивший в Москве «Зритель» за легкомысленный фельетон, в котором под именем Ванички Сладкопевцева изображался умерший Добролюбов и упоминался «Chef d'atelier M-r Czernyschewsky». «Время» возмущалось «бессмысленной насмешкой над такими предметами, как ум, талант, преждевременная смерть честного человека».

Страхову предстояло соблюсти в статье о сочинениях Добролюбова уважение к его имени, которое диктовалось позицией журнала, но, конечно, и заявить о своем отрицательном отношении к нему — задача, не представлявшая для Страхова трудности. Он признавал несомненное значение Добролюбова, в течение четырех лет стоявшего во главе «самого любимого русского журнала», который «был положительно выше всех журналов по сочувствию к нему литературы», по составу авторов. Называя Добролюбова публицистом, являвшимся в виде критика, Страхов сопоставлял его с Белинским: «В этом случае Добролюбов был его прямым и непосредственным продолжателем». Страхов отмечал внимание Добролюбова к «безобразным явлениям литературы» и особенно к тем, «которые фальшивили в проповедовании гуманных идей» — к диссонансам в этом смысле ухо его было особенно чутко.

Но среди отдельных положительных оценок в статье Страхова отчетливо звучит неприятие им в целом и деятельности Добролюбова и его журнала. Страхов сопоставил успех «Современника» с успехом в 30-х годах «Библиотеки для чтения» Сенковского и его установкой на отрицание и высмеивание, основанными на «голом материализме и скептицизме». Он возражал против утверждения, что Добролюбов был образованнее Белинского, и отрицательно отзывался о семинарской подготовке критика, которая отрывает от «жизненных корней». Он отдавал предпочтение воспитательному влиянию окружавших Белинского людей, среди которых были все лучшие люди того времени. Ища «живую струю», которая давала смысл писаниям Добролюбова, он видел ее «в отвлеченной мысли, в стремлении теоретически рассмотреть предметы». В этом отрыве от жизни, от конкретной действительности, он видел главный порок в деятельности критика, основная мысль которого об общем благе сама по себе прекрасна. Но это — отвлеченная мысль, в угоду которой теоретик отрицает конкретные частности, не подходящие под его общую формулу. У Добролюбова не было «властителей дум», они были ему не нужны, как всякие авторитеты. Белинский приучал мыслить, поднимал образованность, Добролюбов «отучал мыслить», не давал толчка к развитию. Как все «теоретики», он не нуждался в других, опираясь на самого себя, отрицая все, что не соответствовало его теории. Поэтому он не мог иметь положительного влияния на литературу, но имел большое влияние на читателей.

В апрельской книге 1862 г. «Времени» была помещена статья Страхова об «Отцах и детях» Тургенева, о которой говорилось в предшествующей главе. Кроме своего истолкования Базарова, Страхов продолжал в этой статье полемику против «Современника». Появившиеся в мартовских книгах «Современника» и «Русского слова» статьи о тургеневском романе Антоновича и Писарева дали Страхову новый материал для рассуждения о передовых журналах, которые решительно разошлись в оценке нового произведения.

Страхов примкнул к оценке Писарева, признавшего в Базарове действительно тип новой молодежи, которую Тургенев верно понял, «оправдал в Базарове и оценил по достоинству». С тем большей ядовитостью он напал на статью Антоновича «Асмодей нашего времени», увидевшего в Базарове клевету на молодое поколение, на разночинцев, и выступившего с защитой их. Страхов же видел в круге мыслей Базарова — мысли «Современника» и «Русского слова», видел в Базарове «главу кружка, порожденного нашей бродящей и оторванной от жизни литературой». Но, рассматривая взгляды Базарова и «Современника» на искусство, начиная с «Эстетических отношений искусства к действительности» Чернышевского, их суждения о научных теориях, философии, Страхов делал вывод, что деятели журнала «ниже настоящего Базарова».

Систематические выступления Страхова против «Современника» привели к появлению в его апрельской книжке 1862 г. статьи Антоновича «О духе «Времени» и о г. Косице (т. е. Страхове), как наилучшем его выражении». Тщательно оговаривая, что упреки и порицания не относятся к художественным произведениям Ф. М. Достоевского, Антонович останавливался по преимуществу на полемических статьях Страхова, так что последний имел право написать в «Воспоминаниях»: «Мне досталось весьма почетное место в числе главных врагов, или, пожалуй, главных жертв «Современника». Эта честь заслужена мною именно тем анализом нигилистического направления, которым я с таким усердием занимался». На эту статью Страхов ответил в майской книжке «Времени» «Письмом в редакцию. Нечто об «опальном журнале», в котором особенно подчеркивал личный характер обид и претензий Антоновича, разъяснял смысл своей статьи о Добролюбове, вновь касался статьи «Современника» о романе Тургенева.

Обращаясь к редактору «Времени», Страхов писал: «Ни один журнал столько не возился с «Современником», как ваш, но ни один же не отдавал ему такой справедливости и так верно не ценил его»,— и далее перечислял основные расхождения «Времени» и «Современника»: «Время» уважает литературу, видит в ней органическое явление современной жизни, следит за ней — «Современник» называет литературу «праздной болтовней»; «Время» ищет народный дух и сближения с ним — «Современник» ждет спасения от «хороших книжек г. Чернышевского»; «Время» выбирает беллетристические произведения, в которых «просвечивают положительные стороны нашей народной жизни»,— «Современник» держится обличительного направления; «Время» выше всего ставит в литературе Пушкина — «Современник» считает его эротическим поэтом; он же сравнивает Тургенева с Аскоченским, а «Время» выступило в защиту романиста. При таких разногласиях никакого значения не имела личность Антоновича, который толковал полемику как злобные нападки и зависть по своему адресу.

Ответ Страхова на статью, направленную в сущности против всего журнала, не удовлетворил редакцию «Времени», которая поместила после статьи Страхова редакционное примечание, со следующим вступлением: «Мы находим это письмо весьма недостаточным и удивляемся легкомыслию и односторонности своего сотрудника. Считаем нужным прибавить по крайней мере следующие замечания». Пародируя резкий, грубый тон статей Антоновича, Ф. М. Достоевский (а это, по всей вероятности, был он) издевался над отдельными местами его статей, закончив таким выпадом против «Современника» в целом: «С какой стати г. Антонович клеплет на нас, будто мы «Современник» сравнивали с Базаровым? Это было бы уж непростительно дерзко с нашей стороны. Мы раз как-то осмелились уподобить его Ситникову, да и

это сделали с разными оговорками. Нужно же ведь и врагам отдавать справедливость» [7].

Этими словами, констатировавшими враждебные отношения журналов, закончилась на время приостановившаяся их полемика. Достоевский и Страхов уехали за границу, Чернышевский и Писарев оказались в Петропавловской крепости, а «Современник» закрыт до января 1863 г. Как позднее писал Страхов, «Время» лишилось противника, борьбе с которым «приписывали важное значение», вынуждено было молчать, хотя знало, что направление противника «продолжает все усиливаться и развиваться».

Но уже в октябрьской книжке Страхов вернулся к журнальной полемике. В «Письме в редакцию. Тяжелое время» он иронически изображал осенние настроения 1862 г. в журналистике: «Первый удар моему счастливому настроению был нанесен закрытием двух журналов — «Современника» и «Русского слова»... я был повергнут в такое недоумение, что долго не мог опомниться и сообразить, в чем дело... После того как из солнечной системы наших журналов исчезли две планеты, я предполагал, что равновесие остальных планет будет нарушено. Я внимательно наблюдал их, и что же? не обнаружилось ни малейшего признака нарушения равновесия. Все было тихо, и перемена произошла совершенно незаметно...» Автор письма обнаружил даже «звуки какого-то музыкального согласия, чего-то вроде гармонии миров, звуки, своей монотонностью наводящие непреодолимую тоску». Далее он приоткрывает, что имеет в виду воцарившийся реакционный дух, приводя слова Н. Ф. Павлова из его журнального «Объявления»: «Теперь в нашем смысле говорят столько голосов, что мы боимся остаться назади и уступить им в рвении».

Характеристика, сделанная Страховым, верно отразила общую настроенность русской журналистики осенью 1862 г., когда после петербургских пожаров, появившихся прокламаций, обысков, арестов, закрытия журналов стал ясен поворот правительственного курса на самую решительную борьбу с революционно-демократическим движением, в связи с чем с особенной энергией заработала цензура. Относя в следующую главу более детальное рассмотрение значения для «Времени» этого периода, отметим здесь, что в его журнальной полемике он также не мог не отразиться, Страхов нашел себе новый объект для борьбы с нигилизмом в «Искре», обвиняя ее, как ранее Антоновича в «Современнике», в невежестве, «в презрении или, лучше сказать, в легкомыслии к народу», к «нравственному элементу народной жизни» («Время», 1862, кн. 10 — «Тяжелое время»; кн. 12 — «Нечто об авторитетах»).

Но основная линия журнальной полемики с конца 1862 г.

---

[7] «Время», 1862, № 5, «Неудавшийся антагонизм. Литературная собственность».— Достоевский, т. XIII, стр. 573.

перешла к Ф. М. Достоевскому. Это положение определилось появлением в сентябре написанного им «Объявления» о подписке на 1863 г., значительно более обширного, чем предыдущие. Уже с третьей строки в нем начата была речь о многочисленных «недоброжелателях» «Времени» и указаны два их лагеря, которые Достоевский назвал «теоретиками» и «доктринерами». И тотчас начато выяснение отношения «теоретиков», т. е. лагеря «Современника», хотя не назывался ни он, ни его сотрудники: «С первого появления нашего журнала теоретики почувствовали, что мы с ними во многом разнимся. Что хотя мы и согласны с ними в том, в чем всякий в настоящее время должен быть убежден окончательно (мы разумеем прогресс), но в развитии, в идеалах и в точках отправления и опоры общей мысли мы с ними не могли согласиться».

Далее Достоевский утверждал, что «теоретики», прекрасно понимая основную идею «почвенников», тем яростнее нападали на них, так как не признают народности, стоят за «начала общечеловеческие» и представляют собой «западничество в самом крайнем своем развитии и без малейших уступок». Достоевский обвинял их в полном непонимании народа, презрении к нему, оторванности от него, в стремлении видеть в нем грязь и уродства и не замечать его «самостоятельную вековечную силу». Правда, бросая такие упреки противнику и, вероятно, ощущая их несправедливость, Достоевский спешил несколькими неожиданными строками смягчить их: «Мы понимали и умели ценить и любовь, и великодушные чувства этих искренних друзей народа, мы уважали и будем уважать их искреннюю и честную деятельность, несмотря на то, что мы не во всем согласны с ними. Но эти чувства не заставят нас скрывать и наших убеждений».

Характеристика «доктринеров» — лагеря «Русского вестника» — менее горяча: их непонимание народности и слияния с народом не умышленное, а остаток прошлого — «они понимают еще слишком по-старому», этим объясняется их боязнь «за науку» за цивилизацию», их высокомерие. И вновь Достоевский обращался к «Современнику», споря, с обличителями и «свистунами» и вместе с тем в чем-то признавая их и соглашаясь с ними: «Боже нас сохрани, чтоб мы теперь свысока говорили об обличителях. Честное, великодушное, смелое обличение мы всегда уважаем, а если обличение основано на глубокой, живой идее, то, конечно, оно не легко достается. Мы сами обличители; ссылаемся на журнал наш за все это время... Мы рвемся к обновлению уж конечно не меньше их. Но мы не хотим вместе с грязью и выбросить золото», т. е. «естественные родовые основания русского характера». Недавнее личное знакомство с Европой, лондонские и парижские наблюдения, посещение Герцена, диктовали ему уверенность, что «в иных *естественных* началах характера и обычаев земли русской несравненно более здравых и жизненных залогов к прогрессу и обновлению, чем в мечтаниях самых го-

рячих обновителей запада, уже осудивших свою цивилизацию и ищущих из нее исхода». Указывая на существование крестьянской общины, которая, по его мнению, должна бы исключать возможность бедноты в деревне, он явно идеализировал «новую жизнь», начавшуюся после 19 февраля.

Не только это отделяло его от теоретиков. Он настойчиво повторял в следующем абзаце, что соединение с народом должно произойти, что прогресс и жизнь лучше, чем застой и тупой беспробудный сон,— «но только чтоб без скачков и без опасных salto-mortale совершился этот выход на настоящую дорогу». Отрицание революционного пути, о котором он не мог не помнить в период первого провозглашения революционных призывов в появившихся прокламациях, звучит и в дальнейших его словах: «В нашем обществе уже есть энтузиазм, есть святая, драгоценная сила, которая жаждет применения и исхода. И потому, дай бог, чтоб этой силе был дан какой-нибудь законный, нормальный исход. Разумеется свобода, данная этому выходу, хотя бы в свободном слове, сама себя регуляризировала бы, сама себя судила бы и законно, нормально направила. Мы искренно ждем и желаем того».

По воспоминаниям Страхова, это «Объявление» имело большой успех, то есть возбудило литературные толки, большей частью враждебные. Живописное выражение о «кнутике рутинного либерализма» было подхвачено мелкими журналами, понявшими, что речь идет об них» [8]. Насколько неблагоприятное впечатление произвело «Объявление» на передовых деятелей литературы, свидетельствует письмо Помяловского к М. М. Достоевскому 26 октября 1862 г., приведенное выше в главе XI. Он отказался от дальнейшего сотрудничества во «Времени», «не сходясь с программой» журнала и его «идеей».

Общую неблагоприятную реакцию на «Объявление» признал Ф. М. Достоевский, так начиная свою первую статью нового года издания «Необходимое литературное объяснение, по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» («Время», 1863, кн. 1): «В последнее время в текущей литературе объявилось множество голосов и мнений против нашего журнала. Нападения раздались особенно дружно тотчас по выходе в свет нашего прошлогоднего сентябрьского объявления об издании «Времени» в 63 году». Считая, что часть нападок надо отнести на счет конкуренции в период подписки, Достоевский остановился на тех, которые обиделись, приняв на свой счет его слова о ненависти к «свистунам, свистящим из хлеба», т. е. тех, кто, якобы стоя за правду, готовы освистать любые идеи, следуя заказу или моде. Разоблачая существование такого явления в журналистике, Достоевский касался и «нехлебных» свистунов, но «мелко плавающих», поверхностных и легкомысленных, опошляющих все,

---

[8] *Достоевский,* т. XIII, стр. 506—512; *Н. Н. Страхов.* Воспоминания, стр. 246.

чего они касаются. Надо отметить, что в резкой характеристике журнальных «обличителей» Достоевский отмежевал их от вождей, именем которых они прикрываются: «Любимая повадка ваша — прятаться за справедливую идею и за громкие литературные имена писателей, то есть прикрываться авторитетами, преимущественно такими, которые стяжали себе особое уважение. «Нападают на нас, а! Значит нападают на прогресс. Мы свистуны из хлеба, а! Значит и Чернышевский и Добролюбов свистуны из хлеба». Но, господа, мы вовсе не принимаем вас за Чернышевских и Добролюбовых». И далее, Достоевский указывал на смелость, с которой «Время» два года обличало крикливую прессу, Каткова, перед которым «все млели», и «не соглашалось и даже нападало на Чернышевского и Добролюбова, а они в то время были боги... И мы знали, что делали, и на какую опасность шли своими нападениями на авторитеты. Вы-то, впрочем, были не очень страшны, но Чернышевский и Добролюбов были другое дело. Добролюбов особенно: это был человек глубоко убежденный, проникнутый святою, праведною мыслью и великий боец за правду. Чернышевский работал с ним вместе. Мы не согласны были с некоторыми уклонениями Добролюбова и с теоретизмом его направления. Он мало уважал народ: он видел в нем одно дурное и не верил в его силы. Мы противоречили ему, а ведь опять-таки тогда он был бог».

В той же январской книге Достоевский поместил «Журнальную заметку. О новых литературных органах и о новых теориях». На основании напечатанных в конце 1862 г. «Объявлений» и вышедших первых номеров новых газет Достоевский старался формулировать то новое в русской прессе, что явилось результатом перемены курса правительства и было подхвачено и развито либералами и консерваторами. «Современника» в этой статье он не касался, так как первый его номер за 1863 г. вышел только в феврале. В сущности вся статья пронизана сознанием, что происходит движение назад с уже достигнутых позиций, что оживились те силы, которые принуждены были ранее молчать, а теперь уверяют в своем предвидении происходящего и обвиняют общество. Ссылка реакционной прессы на бывшие весной пожары, на «подметные письма», обвинение ею молодежи, общая ставка на «умеренность и аккуратность» — все это глубоко возмущало Достоевского.

С горячностью он вступился именно за деятельность общества в течение последних шести лет, из которых последние два года он сам своим журналом ему содействовал: «Общество заявляло себя по всем пунктам, всегда и везде, кто же этого не помнит? — именно заявляло себя ровно до тех пор, ровно до той самой черты, до которой возможно было ему заявлять себя. Вспомните: общество заявило себя и по вопросу о распространении обществ трезвости, и по вопросу о грамотности, и по вопросу о воспитании, и по вопросу о гласности, и по вопросу кре-

стьянскому; оно составляло по этому вопросу съезды, комитеты, адресы. И большинство и меньшинство этих съездов заявляло, печатало свои мнения, подавало их по начальству. Потом происходили другие съезды и другие собрания... Потом, особенно в городах, деятельная часть общества заводила воскресные школы, собирала сотрудников, деньги, подписки... Даже бедная литература наша и та составляла собрания и записки начальству по вопросу о цензуре... В самом начале, лет шесть тому назад, приобретен был великолепный результат: все общество проснулось, восстало в одном великом движении и с верою и надеждою стало заявлять свои требования...» Но доктринеры во всем видели только ошибки, легкомыслие, пугались и «силились остановить движение». Говоря о неизбежности ошибок в начале большого общественного движения, Достоевский сурово осуждал тех, кто тянул общество назад, и провозглашал «честь и славу» другим, которые «твердо верили в успех и реформу» и многое хорошее успели-таки совершить и докончить».

Вновь предметом особого негодования Достоевского сделался всех поучающий Катков. «По нашему,— писал Достоевский,— скорее систему Фурье можно у нас ввести, чем идеалы Каткова, теймствующего в Москве». Особенно возмущала его антидемократическая позиция Каткова в вопросе о высшем образовании как привилегии аристократии, и он напоминал о Петре Великом, который установил право на образование «на самом демократическом и плодотворном основании». В оживлении реакции, в ее выступлениях с осуждением деятельности общества Достоевский увидел и злобу на народ: «А теперь вот начинаются даже признаки какого-то желания зла нашему мужику, какого-то отомщения ему за то, что до сих пор все так за него стояли и так за него распинались. Проглядывает даже ненависть».

Закончив статью едким сопоставлением помещика и крестьянина, совершающих одно и то же преступление, Достоевский проявил себя в ней как обличитель нарастающей реакции, новых трудных условий, в которые была поставлена передовая часть общества и литература.

В «Журнальной заметке. Ответ Свистуну», помещенной в февральской книге 1863 г., Достоевский еще раз выступил со своей оценкой деятельности и личности Добролюбова. В ответ на указания «Свистуна», что высокие оценки Добролюбова в статье Достоевского находятся в прямом противоречии с оценками Страхова, помещенными в прошлом году в том же журнале, Достоевский вновь, горячо и убежденно повторил свое мнение о личности Добролюбова: «Он стремился неуклонно к правде, т. е. к освобождению общества от темноты, от грязи, от рабства внутреннего и внешнего, страстно желал будущего счастья и освобождения людей, а следовательно, был благороднейший деятель в нашей литературе». Но, продолжая видеть ошибки Добролюбова в его взгляде на народ, в устремлении к западным образцам,

чем он вредно повлиял на своих «бездарных последователей», Достоевский выражал даже предположение, что этим взглядам Добролюбов мог в дальнейшем изменить. Несомненно, с целью возвысить образ Добролюбова Достоевский вспоминал Белинского: «Белинский был благороднейший из благороднейших деятелей русских, но раза три в жизни основным образом менял убеждения. Одной правде он не изменял никогда. Это чрезвычайно яркий пример, милостивый государь, зачем вы его не припомнили?»

Две последние «Журнальные заметки» Достоевского — «Молодое перо» в февральской книжке и «Опять Молодое перо» в мартовской — были вызваны выступлениями Щедрина в «Современнике» против «Времени». Полемика, начавшаяся по ничтожному поводу (заявление Г. П. Данилевского во «Времени» в защиту своего псевдонима «А. Скавронский», высмеянное Щедриным), положила начало новой борьбе с «Современником», которая получила развитие и достигла кульминации в будущей «Эпохе». Но и последние «Журнальные заметки» во «Времени», как и язвительные статьи Щедрина («По поводу литературной подписи», «Тревоги «Времени»» — «Современник», кн. 1—2, 3) по своему накалу, использованию оскорбительных для противника приемов и выражений, свидетельствовали о жестоких предстоящих схватках. В пылу выступления Достоевский напоминал о прошлом этапе борьбы с «Современником», но не с «Современником» Чернышевского и Добролюбова, а с «Современником» Антоновича и Щедрина: «А это началось еще с прошлого года перед закрытием «Современника», потому что тогда он серьезно струсил за свое безграничное прежнее влияние. Помните статью «О духе «Времени» г. Антоновича. Статейка из себя вылезала. Тогда-то вы и начали борьбу...», «Вы примкнули к «Современнику» не по убеждению, а из искусства для искусства (потому что и в «Современнике»-то убеждений почти совсем теперь нет)».

В это же время появилась еще одна статья против «Современника» («Время», 1863, кн. 3) сотрудника журнала И. Г. Долгомостьева, который позднее продолжал работать в «Эпохе». Выступив во втором номере со статьей о «Некоторых педагогических и научных тенденциях», он и в следующей книге взял себе тему, связанную с педагогикой,— разбор статьи А. Н. Пыпина «Наши толки о народном воспитании» («Современник», 1863, кн. 1—2) о взглядах на воспитание и образование Л. Н. Толстого. Долгомостьев (под псевдонимом Игдев) назвал свою статью «Сказание о «Дураковой плеши», объяснив что «Современник» (№ 1—2, 1863) в «Нашей общественной жизни» назвал «Время» людьми, лезущими из «Дуракова болота» на «Дуракову плешь» (автором этого раздела был Щедрин). Так как статья Пыпина, против которой выступил Долгомостьев, была не подписана, а в отделе «Современное обозрение», где она была помещена, более половины статей принадлежало Щедрину (14 из

20), то, вероятно, Долгомостьев в своей полемике обращался именно к Щедрину и, возвращая ему его ругательство, называл авторов «Современника» «господами — с Дураковой плеши».

Но обвиняя журнал в невежестве в области современной европейской мысли, в глумлении над народными элементами в литературе и др., Долгомостьев видел расхождение «Современника» новой редакции со старым «Современником». Раньше журнал только отрицал, и «это было опорою, даже основою его славы», с новой же редакцией он начал «проповедовать и положительное учение», которое и вызывает отпор Игдева. Вместе с «Журнальными заметками» Достоевского статью Долгомостьева надо считать прелюдией того боя, который, отсроченный на год катастрофой с журналом «Время», развернулся на страницах «Эпохи» в 1864—1865 гг.

Заканчивая эту главу, нам хотелось бы подчеркнуть, что если в полемике «Времени» против Каткова и Аксакова Ф. М. Достоевскому принадлежало первое место, то в полемике с «Современником» зачинателем и наиболее последовательным участником был Страхов. Для Достоевского же (в его печатных выступлениях во «Времени») было характерно стремление отмежевать лично уважаемых им руководителей журнала Чернышевского и Добролюбова от массовых их поклонников и последователей, а также отграничить руководимый ими журнал от «Современника», начавшего выходить в 1863 г. под новой редакцией. Подлинными антагонистами «Времени» были не Чернышевский и Добролюбов, а Антонович и Щедрин.

Глава XIV

«Время» и цензура. Закрытие журнала

Вступая в третий год издания, редакция была настроена очень оптимистично относительно успеха «Времени». Еще перед началом второго года она писала: «Публика поддержала нас... Не в похвальбу себе говорим, что поддержка, оказанная нам публикой, была в размерах, давно уже неслыханных в нашей журналистике». В «Объявлении» же, напечатанном накануне третьего года издания, редакция, признавая обилие своих врагов, в то же время видела в этом подтверждение своей силы и успеха: «Мы выступили на дорогу слишком удачно, чтоб не возбудить иных враждебных толков. Это очень понятно. Мы, конечно, на это не жалуемся... По крайней мере мы возбудили толки, споры. Это ведь более лестно, чем встретить всеобщее молчание». Оптимистическое настроение подтверждал Страхов, рассказывая об осени 1862 г., когда собрались основные работники журнала: «Все принялись работать как могли и как умели, и дело шло так хорошо, что можно было радоваться» [1].

Большое значение для уверенной позиции редакции имели два обстоятельства: успешно шедшая подписка читателей на журнал и обилие стекавшихся в редакцию рукописей авторов, желавших в нем печататься. Ранее, в главе второй, мы сообщили об опубликованном в январской книге 1863 г. «Списке экземплярам, разосланным по губерниям в 1862 году», свидетельствовавшем о 4302 подписчиках [2]. Успешно началась подписка и на 1863 г., с октября 1862 г. по июнь 1863 г. было получено от подписчиков 55 894 руб., что приблизительно составляло около трех с половиной тысяч подписчиков. Приток рукописей в портфель редакции также свидетельствовал об успехе журнала. В сохранившейся редакционной тетради, под названием «Список статьям (рукописям). 1863 год.», куда М. М. Достоевский собственноручно вписывал поступавшие рукописи, находится свыше

---

[1] *Достоевский*, т. XIII, стр. 503, 506; *Н. Н. Страхов*. Воспоминания, стр. 245.
[2] Тиражи изданий толстых журналов на 1862 г.: «Современника» — 7000; «Русский вестник» — 5700; «Русское слово» — 4000; «Отечественные записки» — 4000 (*М. Лемке*. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 г. СПб. 1904, стр. 192).

450 названий — художественных произведений, научных статей и рецензий. Лишь 15 из них редакция успела напечатать во «Времени», очень немногие увидели свет в «Эпохе», остальные вернулись к авторам. Среди записанных рукописей были и принадлежавшие ранее печатавшимся во «Времени» авторам, но много было и новых имен. Это обстоятельство вызвало в начале 1863 г. обмен полемическими выступлениями между «Современником» и «Временем».

В третьей книге «Современника» Щедрин напечатал статью «Тревоги «Времени», в которой с насмешкой указывал, отчего зависел успех журнала Достоевских: «И еще вы хвастаетесь, что вас любит публика, что у вас много подписчиков. Знаете ли, кому вы этим обязаны? Вы обязаны этим «Современнику», который некоторое время заблуждался, что из вас может нечто выйти, и занимался наставлением вас на путь истинный; вы обязаны этим временному прекращению того же «Современника», которое сосредоточило у вас две литературные силы. И тут покровительствующею вам силою явились не ваши сапоги всмятку, а чужая неудача».

Щедрин, конечно, имел в виду публикацию во «Времени» в 1863, кн. 1, стихотворения Некрасова «Крестьянские дети» и драмы Островского «Грех да беда на кого не живет». Это было ошибочное предположение: помещение и той и другой вещи не было связано с закрытием «Современника». Но мысль, брошенную Щедриным, подхватил И. Дмитриев и ядовито писал в «Очерках», что успехам своим редакция «Времени» обязана политическим событиям 1862 г.: «Пожар способствовал ей много к украшению ее журнала. Писатели, помещавшие статьи свои во «Времени» после петербургских пожаров, теперь публично объявляют, что были загнаны в этот журнал горькою необходимостью (см. «Современник» № 3)», т. е. закрытием «Современника».

В статье «Опять Молодое перо» («Время», 1863, кн. 3) Ф. М. Достоевский вскрыл обстоятельства, предшествовавшие этим нападкам: Щедрин, напечатавший во «Времени» в пору закрытия «Современника» «Наш губернский день», поместил еще ранее, в апрельской книге «Времени», свои «Недавние комедии», следовательно, не был «загнан» в журнал Достоевских необходимостью. Что же касается И. Дмитриева, то его рукопись «Время» отвергло (она была занесена в редакционный список под № 147), и это вызвало его злобные выступления в «Очерках». Совершенно резонно Достоевский отвечал и Щедрину и Дмитриеву: «Но вот что особенно удивляет нас: почему же, если прекратился «Современник», г. И. Дмитриев обращался именно в наш журнал? Разве не было «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения», «Русского вестника» и множества еженедельных изданий, кроме «Времени»? Почему же непременно все эти блестящие таланты (т. е. г. Дмитриев и «Молодое перо») сами текли во «Время», а теперь объявляют, что были только

загнаны к нам одною необходимостью, т. е. запрещением «Современника»?»

Достоевский был совершенно прав, когда далее, в примечании к тексту, писал, что приостановка «Современника» не дала «Времени» «ни одного нового, значительного сотрудника». И все же, изучая список рукописей, поступивших в портфель «Времени», в конце 1862 г. видишь ряд авторов, ранее работавших в «Современнике», и такие названия произведений, по которым можно предполагать их ориентацию именно на направление «Современника». Некоторым подтверждением перехода отдельных рукописей, предназначавшихся «Современнику», во «Время» является письмо И. Захарьина-Якунина Чернышевскому, пришедшее из провинции после его ареста и попавшее в III отделение. Автор письма просил передать свою рукопись, забракованную в «Современнике», в редакцию журнала «Время» [3]. Какой-то круг авторов, сочувствовавший «Современнику», именно во «Времени» находил тенденции, более отвечавшие их взглядам, чем в других журналах, и желал печататься в нем.

Чем более удачным было начало нового года, тем неожиданнее оказалась катастрофа, разразившаяся после выхода четвертой книжки журнала. А между тем, изучая отношение к «Времени» тех сил, от которых зависело существование всей русской прессы, надо констатировать, что над журналом Достоевских давно скапливались тучи и катастрофа не была внезапной.

В предшествующих главах мы не раз подчеркивали внимание журнала Достоевских к молодежи, его сочувственное отношение к арестованным студентам осенью 1861 г., резко контрастировавшее, например, позиции аксаковского «Дня», который 28 октября в № 3 поместил такое обращение «К студентам»: «Бросьте все ваши бесполезные толки, волнения без содержания и без цели и без определенного смысла!.. Вы еще не имеете полных прав гражданских, а, следовательно, и голоса в делах общественных. С какою целью вы поступаете в университет? С единственною целью учиться; другой цели, другой заботы, другой деятельности у вас и быть не может и быть не должно».

Не только статьями журнала, но и участием в текущей общественной жизни Ф. М. Достоевский с самого появления в Петербурге свидетельствовал о своем сочувствии передовой молодежи, выступая с чтением на вечерах вместе с Чернышевским, Некрасовым и другими литераторами.

Вспоминая много позднее об этой форме общественного протеста, Страхов описал иронически один из таких вечеров, который явился как бы кульминацией «воздушной революции», по его выражению. Он состоялся 2 марта 1862 г. в зале Руадзе: «Этот вечер был устроен с целью сделать как бы выставку всех пе-

[3] *М. Лемке.* Политические процессы в России 1860-х гг. по архивным документам. Пг., 1923, стр. 203.

редовых прогрессивных литературных сил. Подбор литераторов сделан был самый тщательный в этом смысле, и публика была самая отборная в том же смысле. Даже музыкальные пьесы, которыми перемежались литературные чтения, были исполняемы женами и дочерьми писателей хорошего направления. Федор Михайлович был в числе чтецов, а его племянница в числе исполнительниц. Дело было не в том, что читалось и исполнялось, а в овациях, которые делались представителям передовых идей». Как известно, после этого вечера один из выступавших, проф. П. В. Павлов, был отправлен с жандармами в Ветлугу.

«Время» приняло участие в общественном выступлении прогрессивной журналистики в защиту М. Л. Михайлова, арестованного в связи с прокламацией «К молодому поколению». 15 сентября 1861 г. министру народного просвещения была подана петиция за подписью 31 человека, в числе которых среди имен Добролюбова, Некрасова, Благосветлова, братьев Курочкиных было имя Мих. Мих. Достоевского. В петиции напоминалось о недавно принятом законе, ограждающем граждан от вторжения полиции в жилища, который нарушен двухкратным обыском Михайлова и его арестом, и выражалась просьба о разрешении избрать депутатов «для охранения гражданских прав Михайлова во все время судебно-полицейского исследования поступков, в которых он обвиняется». Михайлов характеризовался «как один из лучших и благороднейших представителей литературы», деятельность которого «направлена была к самым благородным целям и постоянно клонилась к уменьшению в человечестве страданий и преступлений, а не к увеличению их». Напомним, что «Время» поместило в своей последней перед запрещением книге стихотворение Михайлова (псевд. М. Илецкий), когда тот отбывал каторжные работы на Нерчинском заводе [4].

До нас дошел рассказ о том, как внутри редакционного кружка «Времени» горячо обсуждался вопрос о политическом будущем России, о возможности в ней революции. Н. Ф. Бунаков, участник революционного молодежного кружка в Вологде, а с лета 1862 г. член «Земли и воли», так вспоминал о своем присутствии на одном таком обсуждении в конце 1861 года: «Ф. М. Достоевский пригласил меня на вечер, где я познакомился со всем кружком журнала, кроме А. Григорьева, которого тогда не было в Петербурге. Понятно, что я держался среди этих «настоящих» литераторов несколько робко и больше слушал, нежели говорил. Помню шумный спор о том, возможно ли и готово ли в России революционное движение — тема, бывшая тогда в большом ходу... Большинство лиц в кружке «Времени» отрицало серьезность революционных заявлений и возможность русского народного революционного движения.

---

[4] *М. Лемке.* Политические процессы в России 1860-х гг. по архивным документам. Дело Михайлова.

Горячее других оспаривал мнение большинства невзрачный молодой человек — поэт Платон Кусков. Хотя рассудок говорил мне, что большинство едва ли не право, но симпатии мои были на стороне Кускова...

Кусков горячился. Грузный Разин возражал отрывочно и с менторской важностью. Благодушный Страхов держался неопределенной середины. Нервный Федор Михайлович, бегая по комнате мелкими шажками, некоторое время не вмешивался в разговор, потом вдруг заговорил, пришептывая,— и все призамолкли. Это, очевидно, был пророк кружка, перед которым все преклонялись.

А этот пророк говорил о смирении, об очищающей силе страдания, о всечеловечности русского народа, о невозможности с его стороны никаких самовольных движений ради собственного блага, об отвращении его ко всякому насилию, о неестественности какого бы то ни было общения между ним и самозванными радетелями его, набравшимися революционных идей или из книжек, или прямо из жизни Запада, которая противоположна русской жизни и не может служить ей примером» [5].

Хотя мы думаем, что изложение выступления Ф. М. Достоевского, написанное Бунаковым в конце века, после «Дневника писателя» и «Братьев Карамазовых», переносит в 1861 г. окрепшие значительно позднее убеждения писателя, все же является симптоматичным этот рассказ о подобном споре внутри редакции журнала и разногласии сотрудников по поднятому вопросу. Можно не сомневаться в том, что позиция Ф. М. Достоевского была отрицательная, это подтверждают его высказывания в журнале против насильственных исторических скачков и против приложения опыта Европы к русской жизни, но о «смирении», «непротивлении» народа насилию, «очищении страданием» во «Времени» не писал ни Ф. М. Достоевский, ни его сотрудники.

Прежде чем говорить о взаимоотношении «Времени» с цензурой, надо хотя бы кратко напомнить, что представляла собой последняя в интересующие нас годы. Один из первых исследователей этого вопроса назвал период русской цензуры с 1855 по 1865 г. эпохой «цензурной анархии» [6]. Председатель комитета, созданного для пересмотра цензурного устава, Берте в своей «Записке» 1862 г. так характеризовал истоки этой «анархии»:

«Надобно сознаться, что сначала, когда литературные органы гласности, приобрев или придав себе большую свободу слова, сравнительно с прежнею, со всею пылкостью и страстностью

---

[5] «Записки Н. Ф. Бунакова». СПб., 1909, стр. 50. О Н. Ф. Бунакове см.: *Л. Ф. Пантелеев.* Воспоминания, 1958, стр. 304, 329—347; *Р. Таубин.* Я. И. Бекман и Харьковско-Киевское тайное общество.— «Революционная ситуация...», 1963, стр. 415; *В. Сенкевич.* Н. Ф. Бунаков — пропагандист творчества Пушкина.— «Русская литература», 1970, № 2, стр. 92—96.

[6] *Д. Усов.* Очерки по истории русской цензуры.— «Вестник Европы», 1884, кн. 5, стр. 389.

ложно понятой свободы устремились к обсуждению и обработке таких предметов, которые прежде лежали вне литературной сферы, цензоры захвачены были таким порывом, так сказать, врасплох, переход от старого строя словесности к новому застал их неприготовленными, недостаточно вразумленными. Главное управление цензуры, руководящее цензоров, не успело еще снабдить их сколько-нибудь положительными наставлениями, да и не могло предвидеть всех частных случаев, всех вопросов и предметов, по которым цензура могла встретить недоразумение» [7–8]

Главное управление цензуры находилось в ведении министерства народного просвещения. Но в связи с ростом общественного интереса к подготовляемым реформам, стремлением высказать свое мнение и усилением обличительного направления в литературе, правительство сильно повысило требования к охранительной роли цензуры, что уже было естественно для министерства внутренних дел. В результате 10 марта 1862 г. последовал указ, по которому Главное управление цензуры было упразднено, а его обязанности были возложены на министра народного просвещения с подчинением ему цензурных комитетов. Но одновременно в указе значилось: «Наблюдение, чтобы в печати не являлось ничего противного цензурным правилам, возложить на министерство внутренних дел с тем, чтобы министерство это о замеченных упущениях сообщало для зависящего распоряжения относительно изданий, подлежащих общей цензуре,— министерству народного просвещения». В это же время были выработаны и утверждены 12 мая 1862 г. «временные правила» по цензуре, которыми отменялись прежние, находившиеся в действии. В результате двойного надзора и руководства, а также ориентации цензоров на новые «временные правила» резко повысилось количество цензурных дел, а политическое положение в стране вызвало почти непрерывную переписку по вопросам цензуры между министрами просвещения и внутренних дел — Головниным и Валуевым.

Период поисков новых форм постановки цензурного дела, которые помогали бы правительству в борьбе с революционной ситуацией и охраняли от критики его деятельность, вместе с тем сопровождался фальшиво-либеральным обращением к деятелям литературы, якобы привлекавшим их к совместной работе над будущим цензурным уставом. Летом 1861 г. редакторы и сотрудники петербургских и московских изданий вырабатывали текст записки, поданной в конце года в междуведомственную комиссию (министерства народного просвещения и министерства внутренних дел) по дальнейшей организации цензурного дела.

Несомненно, в этой коллективной «Записке» приняла участие и редакция «Времени». Ф. М. Достоевский в статье «О новых

[7–8] *А. М. Скабичевский.* Очерки истории русской цензуры. СПб., 1892, стр. 391.

литературных органах и о новых теориях» («Время», 1863, кн. 1) вспоминал об этом факте: «Даже бедная литература наша и та составляла собрания и записки начальству по вопросу о цензуре, и ее соображения, заявленные ею и представленные начальству, во многом послужили потом на пользу высочайше утвержденной комиссии по делам книгопечатания, о чем и сама комиссия свидетельствует в своем новом проекте устава о книгопечатании».

Но журналы не ограничились коллективными записками по начальству, многие из них на своих страницах широко высказались по вопросам цензуры, откликаясь на следующее обращение, напечатанное в «С.-Петербургских ведомостях» в связи с отчетом о первом заседании цензурной комиссии: «Весьма бы желательно, чтобы г.г. литераторы наши и редакторы периодических изданий потрудились сообщить комиссии свои мысли и соображения по выше означенным предметам. Желательно бы также, чтобы литература наша несколько ближе ознакомила публику с вопросами до законодательства о печати относящимися. Сравнительное изложение законодательств других образованных государств и теоретическая оценка их могла бы приготовить общественное мнение к правильному развитию силы и значения новой системы законодательства о книгопечатании».

Этот призыв вызвал поток статей; из них многие оказались задержанными той самой цензурой, которую они критиковали, а некоторые, прорвавшиеся через нее, доставили значительные неприятности министрам обоих министерств, судя по их официальной переписке. Выше охарактеризованный сотрудник «Времени» Д. Щеглов поместил в «Библиотеке для чтения» (1862, кн. VI) статью «Временные правила по делам книгопечатания», в которой ядовито критиковал «Правила» пункт за пунктом, показывая их несостоятельность, возможность произвола их применения, а также их обхода. По приказу Головнина, министра просвещения, ему отвечал в «Северной почте» цензор Постников. Большую статью поместил в «Дне» (1862, № 32) И. Аксаков, в которой высказывался о необходимости закона о свободе печатного слова как неотъемлемом праве каждого, «без различия звания и сословия», и представлял свой проект постановления о печати. По распоряжению Валуева в «Нашем времени» Павлова был помещен длинный опровергающий ответ [9].

«Время», которое не раз страдало от царской цензуры и которое в мае 1862 г. испытало особенно чувствительный удар (была запрещена очередная, VIII глава второй части «Записок из Мертвого дома»), высказало свое отношение к цензуре в двух статьях,

---

[9] *М. Лемке.* Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов, стр. 194—197; «Сборник статей, недозволенных цензурой», т. 1. 1862. См. № 4 «Свобода слова и ее ограничение», № 5, № 6, № 7 (стр. 121—167). В статьях есть резкие высказывания и о предварительной и о карательной цензуре как полицейской мере.

написанных Разиным и помещенных в июньской и июльской книжках «Времени» 1862 г.[10] Откликаясь на приглашение свыше излагать и оценивать цензурное законодательство «других образованных стран», Разин, особенно следивший за жизнью Франции, назвал свою первую статью «Законы печати во Франции. (Исторический очерк)». Он начал ее с обзора существования цензуры в средние века, писал о роли богословия, об изменении особенностей цензуры вместе с ростом литературы. Попутно он замечал: «Еще не было примера, чтобы цензура могла помешать распространению истинно полезного и прекрасного произведения». Проследив далее историю цензуры в эпоху революции, Наполеона и реставрации, когда цензура была быстро восстановлена, Разин ставил это в связь с тем, что пришедшее к власти «мещанство ревниво берегло свои карманы». Переходя к характеристике современного состояния цензуры во Франции, Разин предупреждал: «Мы далее сделаем краткий обзор существующих порядков, но скажем заранее, что они оказываются не столь действительными, как того хотел бы император Луи Наполеон. Несмотря на тысячи глаз и тысячи ушей полиции и цензуры, все читается, все можно достать; разница в том, что народ платит дороже, с большей жадностью поглощает запрещенный плод и лучше прежнего усваивает прочитанное».

Напоминанием о Петре, который колом, кнутом и пытками старался уничтожить старые понятия, Разин утверждал невозможность борьбы с общественным мнением путем административных мер и судебных преследований и далее писал следующие криминальные строки, которые вскоре возмущенно цитировал Валуев в своем отношении к Головнину: «Может возникнуть предположение, что общественное мнение может быть истреблено, подавлено деятельными запретительными мерами, если это будет признано удобным в административном отношении. Но в нашем веке даже на минуту подумать это — неблагопристойно, непотребно, и если Луи Наполеон это делает, то всякий сколько-нибудь опытный машинист скажет, что это неблагоразумно. Стенки всякого парового котла устроены так, что могут выдержать большое давление запертого внутри пара; но всему есть мера, и если плотно запирать все предохранительные клапаны, то котел несколько времени продержится, а потом, неизвестно в какую именно минуту, неожиданно лопается и откидывает труп неопытного машиниста на груду трупов всех его друзей и попутчиков».

---

[10] Восьмая глава «Записок из Мертвого дома» была позднее разрешена к печати и напечатана в декабрьской книге «Времени» 1862.

Принадлежность статей о цензуре Разину доказывается его письмом к М. М. Достоевскому от 11 июня 1862 г., которому он сообщал, что в сутолке переезда задевал «статью о цензуре» и «теперь не еду к Вам сам, чтобы не потерять 24 часа времени, так как тороплюсь написать статью снова» (Рукописный отдел Гос. биб-ки им. Ленина, ф. 93; *Достоевский*, II, 8, 7). Подтверждается авторство Разина и записью в Книге гонораров.

Разин назвал далее наполеоновскую карательную цензуру «веревкой удавленника, распущенной ровно настолько, чтобы пациент задохнулся не сейчас же». Указывая, что во Франции «полицейские очень хорошо знают, что в тайниках человеческой мысли, по существу своему не подчиненных ни предупредительной, ни карательной цензуре, оппозиция есть, хранится всецело, накопляется, сгущается», Разин считал необходимым дать ей свободу выражения своих желаний и требований. В итоге он называл нынешнее состояние печати во Франции «беспримерным в истории, бесправным состоянием».

Книга со статьей Разина прошла цензуру 6 мая, но, вероятно, в связи с общим напряженным политическим положением (прокламация «Молодая Россия», петербургские пожары), вышла в свет только 3 июня. А через месяц, 4 июля, Валуев, министр внутренних дел и поклонник Луи-Филиппа, писал Головнину, министру просвещения: «В № 5 журнала «Время», в статье под заглавием «Законы о печати во Франции» автор говорит о бесполезности, даже о вреде цензуры вообще, между прочим в следующих выражениях...» Приводя далее цитированный выше отрывок о «паровом котле», он продолжал: «Цензура предупредительная, по словам статьи, ни для религии, ни для морали, ни для власти не оказала никаких услуг, в прошлом столетии она не умела ничего предупредить. Столь резкие сравнения и суждения имеют целью вооружить читающую публику против существующего у нас порядка цензуры, а также заранее поселить в обществе предубеждение против тех мер, какие будут приняты правительством в предполагаемом к изданию новом цензурном уставе» [11].

Это секретное послание Валуева не помешало, однако, выходу в свет второй статьи Разина в июльской книжке (цензурное разрешение — 8 июня, выход в свет — 2 июля). Она называлась «Законы печати», без указания на Францию, и открыто говорила уже о цензуре, имея в виду современные русские условия. Разин обрисовал ущерб, который терпят авторы, издатели и читатели от цензурных преследований, которые потом оказываются несостоятельными, как, например, было с комедией Грибоедова. Он указывал на то, что цензура губит таланты и способствует распространению нехудожественной переводной литературы. Но и правительство от нее в ущербе. «Общество,— писал Разин,— не чувствует никакой потребности ни в каких законах о печати, кроме разве одного, именно о свободе печати: всякий может писать, печатать и издавать свободно все, что хочет, так как правительство, опирающееся на любовь народа и на общественное мнение, имеет основание рассчитывать в то же время на здравый смысл подданных, а потому не имеет повода опасаться ни

---

[11] *Д. Усов.* Цензурная реформа в 1862 году.— «Вестник Европы», 1882, кн. 5, стр. 108.

за себя, ни за граждан и, сверх того, имеет нужду в свободном проявлении общественного мнения для соображения мер, постановлений и законов, необходимых для блага общего...» Разин не видел в печати руководителя общественного мнения, но считал, что она при полной свободе «есть только продукт общественного мнения. Правительство есть представитель общественного мнения, и стало быть в продукте его, в печати, может почерпнуть полезные для великого своего дела указания».

В июньской книге «Времени» появилась еще одна, связанная с вопросами цензуры, статья «О суде по преступлениям против законов печати», принадлежавшая П. Ткачеву, о других статьях которого говорилось выше, в гл. VI. Она имела подзаголовок «По поводу одной журнальной статьи» и была направлена против предложений, сделанных И. Аксаковым в № 32 «Дня», том самом, который подвергся осуждению Валуева и опровержению в «Нашем времени» за допущенный либерализм. Ткачев же обвинял Аксакова в защите прав привилегированного сословия и отстранения большинства граждан от участия в суде присяжных, т. е. исключения «элемента народного в тесном смысле слова»: «Мерка, которою определяется годность или негодность граждан занимать лавки присяжных, должна быть одна и та же как для судов по делам печати, так и для общих судов. А так как эта мерка еще не известна, то мы со своей стороны предлагаем постановить единственным ограничительным условием для присяжных по делам печати *небытие* под уголовным судом и возраст от двадцати одного года до шестидесяти лет». Однако это радикальное предложение восемнадцатилетнего автора вызвало редакционное примечание с обоснованным возражением крайнему по смелости мнению автора: «В судах по уголовным и другим преступлениям от присяжных требуется только здравый смысл и честная совесть. В суждениях же о делах печати *необходимо* образование. Иначе самая легкая критика необразованными присяжными будет приниматься за обиду. Нужна некоторая начитанность, нужно знание современного положения литературы, чтобы судить о ее преступлениях. Иначе обвинению будет представлено обширное поле действовать на темные умы присяжных, и защита едва ли будет в состоянии успешно бороться с обвинением в такой темной и невежественной среде».

В заключение своей статьи Ткачев горячо требовал «свободной критики» в самых широких размерах как «насущной потребности всякого развитого человека», и чем более она будет удовлетворена, «тем разумнее будут общественные отношения, тем менее опасностей будет грозить государству».

Вниманию правительства к «Времени», привлеченному его выступлениями о печати, предшествовали события, которые сделали май 1862 г. наиболее ощутимым моментом поворота правительства к реакции. Появление прокламации «Молодая Россия» и эпидемия петербургских пожаров, причину которых какая-то

часть населения связывала с выступлением революционно настроенной молодежи, сильно взволновали редакцию журнала. Известно, как через десять лет в «Дневнике писателя» Достоевский рассказал о своем посещении Чернышевского и обращении к нему с просьбой «остановить» авторов прокламации, высказать свое порицание им. Чернышевский же, вспоминая об этом посещении Достоевского, сообщал, что последний просил его остановить зажигателей и спасти Петербург [12]. Воспоминания Чернышевского, таким образом, свидетельствовали о том, что Достоевский якобы верил в участие революционной молодежи в поджогах. Однако материалы 1862 г. не подтверждают этих поздних высказываний. «Время» поспешило выступить с защитой молодежи от этих провокационных обвинений. Очевидно, в уже подготовленную майскую книгу журнал поспешил вставить статью, отзывающуюся на жгучую злобу дня (пожары начались 16 мая, 28—30 мая горели Апраксин и Щукинский дворы с многочисленными торговыми помещениями).

Статья «Пожары», уже набранная, была запрещена 1 июня, и, очевидно, редакция тотчас же представила другую статью на ту же тему, которая начиналась: «Мы прочли передовую статью в № 149 «Северной пчелы»...» Но и она была запрещена 3 июня, когда было дано общее разрешение на майскую книгу. Так как в первой статье говорилось в связи с пожарами и о «Молодой России», то обе статьи были в июне пересланы в «высочайше утвержденную по делу о злонамеренном распространении возмутительных воззваний следственную комиссию», а 8 июня в комиссию был вызван М. М. Достоевский для дачи сведений.

По дошедшим до нас в протоколе отрывкам статьи и ответу М. М. Достоевского нельзя определить, кто был ее автор, но, несомненно, она выражала позицию редакции журнала. Позиция эта осуждала реакцию, которая старалась использовать пожары, чтобы настроить обывательские массы против передовой молодежи, осуждала «хилых старцев в подагре и хирагре», впавших в панический страх от воззвания и пожаров (под ними легко было подразумевать представителей высших сановных, правительственных кругов), и защищала молодежь от злостных наветов и обвинений. Осуждая и высмеивая воззвание, автор статьи горячо выступал против распространителей клеветнических слухов: «Как же не подумали... что это значит натравливать всю массу на бедных, и без того уже тысячу раз оклеветанных и опозоренных? И неужели не поймет общество, не поймут неловкие (или уж слишком ловкие) публицисты, что это значит опозорить имя студента в темной массе народа на пятьдесят лет вперед, имя университета, профессоров, науки, грамоты, смысла. Верить не хочется, чтоб это делалось умышленно: необразованность, страх,

---

[12] *Достоевский,* т. XI, стр. 24—25; *Чернышевский.* Мои свидания с Ф. М. Достоевским.— Полное собрание сочинений, т. I, стр. 777—779.

неясное понимание вещей — вот причины затмения умов в обществе». Советский исследователь этого исторического периода так отозвался о статье во «Времени»: «Только немногие находили в себе смелость поднять голос против господствовавшего мнения, признавшего справедливость нелепого и гнусного слуха. В числе этих немногих был один из братьев Достоевских» [13].

В настоящее время гранки обеих запрещенных статей «Времени» о пожарах обнаружены в делах канцелярии министерства внутренних дел [14]. На полях первой из них помета чернилами: «Запрещена 1 июня» и карандашная помета Александра II: «Кем написана?»; на полях второй — «Запрещена 3 июня» и такая же помета царя. Если даже ранее известные выдержки из первой статьи удивляли политической смелостью, с которой автор, вступаясь за студенческую молодежь, издевался над паническим страхом верховной бюрократии, вызванным прокламацией «Молодая Россия», то полный текст статьи поражает откровенностью, с которой автор указывает на злостный характер соединения факта появления прокламации с последовавшими почти тотчас после петербургскими пожарами. Автор статьи писал: «В пожарах, между прочим, обвиняют студентов. И ведь догадки не в одном простом народе, а кое-где и в других сферах. Мы даже полагаем, что в народе они появились не сами собою, до них дошел не сам народ, а, очень может быть, они перешли в него извне. Очень трудно предположить, что народ ни с того, ни с сего вдруг стал бы подозревать в таком страшном злодеянии студентов. Откуда же, спрашивается, это подозрение?» Автор видит его источник в указаниях, «причины которых можно искать или в жесточайшем невежестве, или в самом подлейшем, узком своекорыстии и эгоистических целях».

Прямо обвиняя далее «Северную пчелу» в возбуждении народа против студентов и оценивая это как «страшное уголовное преступление», автор требовал гласного расследования обвинения, так как оно ставит под угрозу существование части русского юношества, «посвятившего себя науке, на которое справедливо возлагаются надежды всей мыслящей России».

Требование гласности расследования было сугубо смело, так как если реакция стремилась связать поджоги с молодежью, сочувствующей прокламации, то передовая часть общества очень быстро заподозрила в соединении этих фактов полицейскую провокацию, чрезвычайно выгодную для борьбы с революционным движением. Не в интересах властей было гласное разоблачение отсутствия фактических подтверждений этих обвинений. А автор статьи во «Времени» настойчиво требовал гласности, видя «пре-

[13] *Б. П. Козьмин.* Братья Достоевские и прокламация «Молодая Россия».— «Печать и революция», 1929, кн. 2—3; *Достоевский,* т. XIII, стр. 612—614.

[14] ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 1, ед. хр. 69, лл. 8—8а. Печатается в статье: *Н. Г. Розенблюм.* Петербургские пожары и Ф. М. Достоевский.— «Литературное наследство», т. 86.

ступников» в тех, кто ей препятствует: «Не к простому народу, не к людям, умеющим только повторять чужие слова, относится наше обвинение, наш протест. Он касается всех тех, кто или сознательно распространяет подобного рода догадки в народе, или намерены молчать ввиду грозных толков... Голословно обвинять молодое поколение в самых удивительных производствах не трудно, особенно когда оно не может отвечать от своего имени... Если оно виновато в страшных вещах, нечего скрывать в застенках факты, доказывающие его вину; сюда давайте их скорей. В противном же случае как же не допускать во всенародном публиковании фактов публичного оправдания целой корпорации от незаслуженных обвинений?... В народ подозрение перешло от самого общества, скажете вы. Следовательно, мы не виноваты в этих слухах. Разумеется, нет, и общество не виновато, но виноваты те, которые поддерживают и утверждают в обществе такие слухи — слухи, обвиняющие всю корпорацию студентов безразлично. Вот это — преступники, уголовные преступники против общества».

Дальнейшая критика в статье безрезультатности следствия о поджогах, «мрака неизвестности» по поводу людей, арестованных по подозрению, упоминание о «зуботычинах» начальства, которыми отучают народ от проявления инициативы «в общественном деле», — все это должно было еще более насторожить следственную комиссию, рассматривавшую статью, и способствовать ее запрещению.

То, что заняло в первой статье около десяти страниц, было после ее запрещения, очевидно, в тот же день изложено в еще более решительной, сгущенной форме на двух страницах статьи второй, которая должна была заменить запрещенную. Статья прямо направлена против «Северной пчелы», подтверждавшей слухи о связи прокламации с пожарами. Категорически отрицая «возможность подобной солидарности двух явлений, не имеющих ничего общего», автор уже прямо обвинял не только официозную газету, но и полицейскую агентуру: «Подобные толки поддерживаются и без того слишком долго, в чем, как мы сами имели случай убедиться, несколько виноваты и низшие политические агенты, которые, разумеется, по собственному невежеству вместе с народом повторяют те же нелепые слухи».

Энергичный протест свой автор статьи заканчивал решительным обращением к правительству сперва с просьбой, а потом с требованием фактов и гласности: «Во имя народного спокойствия, во имя спокойствия всех образованных граждан столицы мы просим гласного, строгого и самого быстрого суда над теми, кто арестован по подозрению в поджоге. Имена и звания лиц должны быть обнародованы. На полиции лежит обязанность как можно скорее успокоить столицу. Повторяем: мы требуем суда гласного и быстрого, пусть объявят, наконец, город на военном положении, если ему угрожает опасность и если (что мы положитель-

но отвергаем) эти пожары имеют что-нибудь общее с политическим движением. Пусть судятся обвиняемые в поджоге военным судом, но гласно!». Призывая «всех здравомыслящих людей» присоединиться к нему, автор заключал: «Мы положительно протестуем противу невежественных обвинений, ни на чем не основанных. Пусть докажут нам фактами, что мы ошибаемся».

Кто был автором этих смелых гражданских выступлений журнала, бросившим в защиту учащейся молодежи вызов не только полиции, но и самой следственной комиссии, назначенной царем? Н. Г. Розенблюм считает автором статей Ф. М. Достоевского, хотя и указывает на то, что в гранки первой статьи рукой М. М. Достоевского был внесен абзац и что М. М. Достоевский был вызван для ответа при расследовании дела в комиссии. Не считая убедительной аргументацию, собранную Н. Г. Розенблюмом в пользу авторства Ф. М. Достоевского, мы воздерживаемся приписывать статью и М. М. Достоевскому. Запечатлеть в слове смелую общественную позицию, с которой, несомненно, были согласны и Ф. М. и М. М. Достоевские, редакция могла поручить и кому-нибудь из сотрудников-единомышленников. Для нас важен самый факт, что журнал проявил себя в этой акции борцом за учащуюся молодежь, оклеветанную перед народом, и обличителем темных реакционных сил, способствовавших этому.

Выше упоминалось, что в дни, к которым относится написание и запрещение статей о пожарах, состоялись две встречи Достоевского с Чернышевским, нашедшие отражение в их поздних воспоминаниях. Мы согласны с предположением Н. Г. Розенблюма, что мемуаристы неточно указали основной мотив их беседы. Не мог Ф. М. Достоевский просить Чернышевского воздействовать на поджигателей, так как не допускал возможности связи пожаров с тем кругом, откуда шла прокламация. Взволнованный содержанием «Молодой России», он обращался к Чернышевскому с просьбой о воздействии на ее авторов с целью приостановить распространение испугавших его идей. Что касается ответного визита Чернышевского, то недавно опубликованные материалы открывают интереснейшие сведения. Чернышевский приходил к Достоевскому просить разрешения перепечатать отрывки из «Записок из Мертвого дома» в дешевом издании для популярного чтения. Инициатором подобных изданий был активный член общества «Земля и воля», офицер А. Д. Путята. Извлеченный из архива его «Отчет», относящийся к 1862 г., лег в основу статьи В. Лейкиной-Свирской «Н. Г. Чернышевский и «Записки из Мертвого дома» [15]. В ней мы читаем: «Отчет Путяты не только подтверждает, но и дополняет рассказ Чернышевского о переговорах с Достоевским. В июле, сообщает Путята, Чернышевский сказал ему, что Достоевский перед своим отъездом за границу (7 июня 1862 г.) «изъявил согласие на предложение Н. Г. Чернышевского сделать выбор из «Записок из Мертвого дома» и

[15] «Русская литература», 1962, № 1, стр. 213—215.

дал право Чернышевскому самому взять на себя упомянутый выбор, редакцию и издание, или поручить это кому угодно, по его усмотрению». Желание Чернышевского самому «сделать выбор из «Записок из Мертвого дома» и согласие на это Достоевского позволяет думать, что отношения между ними в это время были более дружественными, чем это отражено в их позднейших воспоминаниях».

Отрицательное отношение редакции «Времени» к распространявшимся слухам о связи пожаров с прокламациями находит подтверждение в дошедшем до нас письме М. И. Владиславлева к сыну М. М. Достоевского из Петербурга в Ревель. Оно начато 1 и закончено 3 июня. Публикуя впервые этот документ, мы считаем, что он подкрепляет позицию журнала, выраженную в задержанной статье, дает несколько черточек к характеристике Страхова, Ф. М. и М. М. Достоевских, а также отражает общую настроенность Петербурга в эти тревожные дни:

«Вероятно, Вы уже слышали о здешних пожарах. Пожары теперь считаются в день целым десятком. Разумеется, поджоги тут. В Духов день, 28 числа выгорел Щукин двор и Толкучий рынок — вообще все пространство между Чернышевым и Апраксиным переулками, Фонтанкой и Садовой; на другой стороне Фонтанки — лесные дворы Грошева, Гафа и других господ до Троицкого переулка — версты на три вдоль да на версты полторы поперек — это в один день 28-то числа. Ямские, Охта страшно погорели, на Невском проспекте раза три занимался пожар, да скоро, впрочем, потушили. И в нашей стороне тоже не без пожаров. У Вознесенского моста загорался дом прямо против магазина Над. Александров. Она, бедная, испугалась и прислала узлы свои к Михайлу Михайловичу, но опасность скоро прошла. На Большой Мещанской два раза начинался пожар; один близ Николая Николаевича. Теперь, действительно, такое время, что, того гляди, что загорится у тебя под носом. Караулы усилены. В нашем доме одни ворота — у квартиры Федора Михайловича — заперты совсем, а у других постоянно сидит дворник и каждого посетителя спрашивает, к кому он идет. Сам я пожару нисколько не боюсь, потому что почти могу сказать: omnia ⟨mea⟩ mecum porto; жалко книг, если только они сгорят. Федор Михайлович, кажется, застраховал свое имущество. Марья Дмитриевна, кажется, ужасно боится пожара и хотела, как я слышал (сам я еще не был у ней после вашего отъезда, да и до него-то не ходил), ехать в Тверь на лето, но почему-то отдумала. Михайло Михайлович, кажется, большой философ относительно пожара. Я его спросил как-то: а что, Михаил Михайлович, случится в нашем доме пожар — что вы тогда? — Ничего,— сказал он,— что ж станешь делать,— не убиваться же... Николаю Николаевичу — даже и книг не жаль, в случае пожара, потому что, как он сказал, *всё тлен*... Да, приходится философствовать, потому что и без философии сгорит все, коли загорится. Впрочем, все

до сих пор спокойно у нас и, вероятно, уцелеем, потому что теперь как будто начинает приутихать... Поджоги все сваливают на студентов, будто бы напечатавших «Молодую Россию». Разумеется, это ложь. Поджигателей несколько схвачено, но кто они — неизвестно. Судятся они военным судом, нарочно для них составленным.

Федор Михайлович еще не уехал за границу, хотя паспорт уже у него в кармане. Уедет он, вероятно, дней чрез пять, потому что в следующий вторник предполагается чтение в Павловске в пользу погоревших, и он будет читать. «Мертвый дом» кончил совсем и значительно повеселел после того».

Результатом усиленного внимания, которое привлекло к себе «Время» в июне и июле 1862 г. со стороны министерств и специальных комиссий, было признание его направления «вредным», ведущим «явно к осуждению действий правительства», и было сделано предложение, согласно утвержденным «временным правилам», запретить его издание «на срок не далее осьми месяцев». На это последовало согласие Александра II, но мера все же не была применена, было лишь приказано иметь за журналом «надлежащее наблюдение». Быстрота, с какою был закрыт журнал в апреле — мае следующего года за неправильно понятую статью Страхова, несомненно, объяснялась уже предшествующей историей и установившимся взглядом правительства на журнал Достоевских.

Подготовлявшееся революционными организациями и централизованным руководством польское восстание вспыхнуло в конце января 1863 г. Руководство возлагало надежды, с одной стороны, на крестьянские волнения в России, которые ожидались в связи с окончанием срока составления уставных грамот, с другой — на содействие иностранных держав, их давление на царское правительство и возможную интервенцию. Развертывавшиеся события в Польше стали для самодержавия грозными, когда в конце марта началось крестьянское движение в Литве и Белоруссии.

По схваченным при арестах русских революционеров бумагам правительство хорошо знало о глубоком сочувствии передовых людей русского общества польскому восстанию, связях с ним и помощи повстанцам, а также о значении выступления Герцена и Огарева, широко пропагандировавших польские национально-освободительные идеи. По словам Ленина, «вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши» [16], а отношение к польскому восстанию явилось водоразделом между революционными демократами и либералами.

Но в прессе отношение к событиям на Западе страны отразилось не вдруг и вследствие все более свирепствовавшей цензуры и, возможно, недостаточной осознанности некоторыми издателями занимаемой позиции. Сразу с энергической поддержкой правитель-

---

[16] *В. И. Ленин.* Собрание сочинений, т. 21, стр. 259.

ства выступили «Московские ведомости» и аксаковский «День». Иначе было с петербургскими журналами. По воспоминаниям Страхова об этом ему особенно памятном времени, картина там была такая: «Петербургская литература с самого начала восстания почти сплошь молчала, или потому, что не знала, что говорить, или даже потому, что со своих отвлеченных точек зрения готова была даже прямо сочувствовать притязаниям восставших. Это молчание очень раздражало московских патриотов и людей, настроенных патриотически в правительственных сферах. Они чувствовали, что в обществе существует настроение, враждебное государственным интересам той минуты, и справедливо питали гнев против такого настроения. Этот гнев должен был обрушиться на первое такое явление, которое достаточно ясно обнаруживало бы тайные чувства, выражаемые пока одним молчанием. Он и обрушился, но, по недоразумению, упал не на виновных: неожиданная кара поразила журнал «Время». Нужно прямо сознаться, что этот журнал дурно исполнял обязанности, предлежащие тогда всякому журналу, а особенно патриотическому. «Время» 1863 г. было замечательно интересно в литературном отношении... но о польском вопросе ничего не было написано...» [17]. В 1880 г. Страхов осудил «непатриотичность» «Времени», но в сущности не открыл, какую же позицию занимал журнал, отчего он молчал — оттого, что «не знал, что говорить», или «прямо сочувствовал притязаниям восставших»?

Прежде всего неверно сообщение Страхова, что до него в журнале о польском вопросе ничего не было написано. И в первой, и во второй, и в третьей книгах 1863 г. о восстании писал Разин. В январской книжке, в конце раздела «Наши домашние дела», он успел дать информацию о событиях в царстве Польском, начавшихся в связи с рекрутским набором. Он сообщал о событиях, выражая «ужас и трепет» перед кровопролитием, но ни словом не осудил восставших и не одобрил действия царских войск.

В февральской, мартовской и апрельской книгах Разин в «Политическом обозрении» анализировал отношение к польскому восстанию в западноевропейских государствах, замечая, что «Европа занята теперь почти исключительно русско-польскими делами». По английским газетам он сообщал, как в них характеризуется отношение к восстанию разных классов населения Польши, и делал вывод, что Англии выгодно ослабление России в связи с столкновением английских и русских интересов на Востоке. Австрия ведет себя умеренно, так как боится восстания турецких славян и знает, что Россия «не останется совершенно равнодушной к этому восстанию». Особенно охотно Разин останавливался на отношении к вопросу Франции, которая много говорит о сочувствии полякам, дружбе к ним, но цель этого шума — отвлечь внимание общества от своих неудач в Мексике. В Италии — общее сочувствие польскому вопросу. Много поляков сра-

[17] *Н. Н. Страхов.* Воспоминания, стр. 247.

жалось под знаменем Гарибальди, и последний сказал, что Италия у Польши в долгу. Но пока все кончается речами и шумом, а правительство принимает меры против беспорядков. Пруссия заключила конвенцию с Россией и готова помогать в подавлении восстания. Однако, палата восстала против конвенции.

В марте Разин опять рассматривал отношение европейских держав к польскому вопросу. Он констатировал их общее сочувствие Польше в таких, тоже отзывающихся сочувствием к восставшим словах: «Пламенное стремление повстанцев к цели, твердое убеждение, засвидетельствованное кровью, смертью, невольно и прежде всего возбуждает мысль о мученичестве, и по одному этому сочувствие извинительно, понятно и даже делает честь Европе, не знающей подробностей внутренних, домашних отношений России к Польше». Однако для Разина ясно, что это сочувствие только на словах, а на деле никто не вмешается, так как Европе невыгодно существование самостоятельной, сильной Польши, а для Англии и Пруссии опасна ее дружба с Францией. Надо отметить, что, излагая парламентские прения по польскому вопросу во Франции, Разин свободно приводил упоминавшиеся в них многочисленные отрицательные факты в отношениях России к Польше начиная с 1815 г.

Наконец, в последней апрельской книге, где была напечатана статья Страхова «Роковой вопрос», Разин сообщал о ноте европейских держав царскому правительству, о желании урегулировать его отношения с Польшей, а в «Наших домашних делах» — о царском манифесте, объявлявшем прощение повстанцам, вернувшимся к нормальной жизни. Но в «Политическом обозрении» он же доводил до сведения читателей, что предложенное «всепрощение» не принято. Мало надеясь на примирение и общий дальнейший для России и Польши путь мирного развития, Разин предлагал России совершенно избавиться от Польши, «на которую тратятся и лишние миллионы и многие десятки тысяч людей».

Ни в одной из статей Разина не прозвучало возмущение поведением поляков, не выражалось великодержавное «патриотическое» негодование и солидарность с действиями правительства. Если вспомнить образы политических ссыльных в «Записках из Мертвого дома», с которыми годами общался Достоевский на каторге, нельзя не представить себе, что мысль о сотнях будущих польских каторжанах не раз приходила ему в голову и тревожила его.

Страхов был, конечно, прав, когда писал: «Разумеется ни у братьев Достоевских, ни у меня не было и тени полонофильства, или сказать что-нибудь неприятное правительству». Но и приветствовать кровавую расправу с восставшими журнал, очевидно, не мог. Тогда и возникла основная мысль статьи Страхова, что «следует бороться с поляками не одним вещественным, но и духовным орудием», надо одержать над ними «духовную победу», т. е. в применении к совершающимся событиям развить

основную идею журнала о преимуществах исконной русской культуры перед западноевропейской цивилизацией, нашедшей свое якобы высокое воплощение в культуре Польши. Страхов назвал этот поворот жгучей темы «продолжением того дела, которым мы вообще занимались, то есть возведением вопросов в общую и отвлеченную формулу». Но он тут же должен был признать, что «жизнь со своими конкретными чувствами и фактами шла так горячо, что на этот раз не потерпела отвлеченности», результатом чего и явилась катастрофа журнала. Мы думаем, что огромную роль здесь сыграло присущее Страхову свойство двуличия, маскировки, благодаря которой его подлинная позиция оставалась спорной и неубедительной.

В ответе на вопрос «из-за чего поднялись поляки», Страхов, кроме обычного объяснения — из-за идеи национальности, освобождения себя из-под власти чужого народа и для всяческого улучшения быта и расширения прав,— видел «черту, которая дает вопросу страшную глубину и неразрешимую загадочность». Вся первая, бо́льшая часть статьи посвящена обрисовке отношения поляков к России как народа, прошедшего с Европой весь путь ее цивилизации, достигшего блеска своей культуры и вынужденного подчиниться народу, с его точки зрения, менее культурному. Страхов очень красочно и даже как бы сочувственно изложил это ощущение поляками своего культурного превосходства над всеми славянами и видел в нем один из глубоких источников «раздора», придающий «усилиям и борьбе поляков бесконечно героический характер».

Параллельно с этим как бы для оправдания поляков приводятся ссылки на «низшую ступень», на которой стоит русский народ, который, хотя и создал огромное и крепкое государство, но еще не создал культуры, а в европейской очень отстал.

Развив довольно красноречиво эту якобы польскую точку зрения, Страхов поставил себе задачей на последних трех страницах статьи разбить ее двумя путями: во-первых, доказав, что «цивилизация поляков есть цивилизация, носящая смерть в самом своем корне», и, во-вторых, что с польской борется «другая цивилизация, более крепкая и твердая,— наша русская»,— но тут же он признает, что последняя еще вся впереди: «Русские духовные силы! Где они? Кто, кроме нас, им поверит, пока они не проявятся с осязаемой очевидностью, с непререкаемой властью? А их развитие и раскрытие — оно требует вековой борьбы, труда, времени, тяжелых условий, слез и крови». И тут же, на последней странице, он опять отдает должное полякам, говоря о невозможности для них отказаться от «гордости своей цивилизацией»: «Ведь цивилизация входит в плоть и кровь человека; ведь недаром она — высокое благо, честь и гордость исторических народов. Ничего нет странного, что за нее умирают, как за святыню».

По словам Страхова, «Достоевские оба были сначала очень довольны... статьею, хвалились ею». Но неясное изложение основ-

ной мысли статьи вызвало ее превратное толкование: журнал Достоевских был обвинен не только в полонофильстве, но и в клевете на русский народ. Небольшая статейка Петерсона в № 109 «Московских ведомостей» нашла в «Роковом вопросе» не только ложные основания и выводы, но и «коварный умысел» в ее подписи «Русский» вместо фамилии автора: «Разумеется, поляки поторопятся перевести эту статью на все языки Европы и скажут: «Не правы ли мы,— как сами русские думают. Не правы ли мы?» Поди потом разуверяй Европу. Она и без того закидала нас грязью и клеветой. Редакция журнала «Время» имела полное право напечатать статью «Роковой вопрос», но и печатая статью безымянного автора, она сделала бы очень хорошо, если бы оговорилась: согласна ли она или нет с мнением автора, имя которого, если б оно было известно, произносилось с презрением каждым истинно русским».

Имевшая характер явного доноса статейка Петерсона вместе с разнесшимися слухами об опасности, грозящей журналу, вызвала необходимость немедленного ответа «Московским ведомостям». Страхов сообщил, что этот ответ написал Ф. М. Достоевский, а М. М. Достоевский направил его со своим письмом В. Ф. Коршу, редактору «С.-Петербургских ведомостей», которому писал: «Так как статья «Моск. ведом.» требует немедленного ответа, а следующий № «Времени» выйдет еще через несколько дней, то Вы меня премного обяжете, поместив мой ответ в Вашей газете». Ответ начинался с полной перепечатки статьи Петерсона, после чего развивалась основная идея «Времени»,— противопоставление европейской цивилизации русских народных начал, которые скажут «новое слово, и это новое слово, может быть, будет новым словом общечеловеческой цивилизации и выразит собою цивилизацию всего славянского мира». С чрезвычайной горячностью Ф. М. Достоевский утверждал, что европейская цивилизация породила в Польше «антинародный, антигражданственный, антихристианский дух... преимущественно католицизм, иезуитизм и аристократизм», что Польша всегда стремилась «ополячить и окатоличить» русские владения, презирала «и за людей не считала» русский народ — «хлопов». Распространяя далее отрицательное отношение Польши к «земским началам», из которых предстоит развиться русской культуре, на всю Европу, Достоевский переходил к обвинению в том же своего противника. За спиной незначительного Петерсона он видел руководителя «Московских ведомостей» и «Русского вестника» Каткова и обличал его в отсутствии «высокого, искреннего патриотизма», так как он «не признает русской народности» и не верит в самостоятельность русского развития. В заключение Достоевский подчеркивал согласие редакции журнала со статьей Страхова и, открывая русскую фамилию автора «Рокового вопроса», противопоставлял ее нерусской фамилии его обвинителя, прозрачно намекая, что статья последнего является явным доносом по начальству:

«Ваша статья нехорошая статья, именно тем, что поневоле требует ответа. Она даже и не статья. Она просто — дурное дело, г. Петерсон. Очень дурное дело» [18].

Цензура не пропустила статью редакции «Времени», так как стало известно, что дело представлено Валуевым на рассмотрение царя, который и повелел 24 мая прекратить издание журнала. В постановлении как о причинах запрещения говорилось о статье Страхова, «в высшей степени неприличного и даже возмутительного содержания по предмету польских дел, идущей прямо наперекор всем действиям правительства и всем патриотическим чувствам и заявлениям, вызванным нынешними обстоятельствами, и оскорбляющей народное чувство, а также о вредном направлении этого журнала».

Последние слова формулировки свидетельствовали, что вынесенное еще летом 1862 г. заключение правительства о журнале Достоевских играло большую роль в ликвидации журнала и что туманная и слишком хитроумная статья Страхова явилась удобным поводом, чтобы прекратить нежелательное издание.

Запрещение «Времени» почти тотчас получило отклик в «Колоколе» Герцена, который в «Россиаде» (1 июня 1863 г.) писал: «В 4 № «Времени» статья под заглавием «Роковой вопрос» показалась Валуеву (Персиньи — да и только!) направленной *«прямо наперекор всем патриотическим чувствам и заявлениям...»* В силу сего Валуев нажаловался государю, а тот и повелел прекратить издание журнала «Время».

Через год, в «Новой фазе в русской литературе», Герцен, характеризуя «страшную силу» доносов «Московских ведомостей», вновь писал о закрытии «Времени» и дал оценку не только положительным сторонам журнала Достоевских, но и «гуманным словам» в статье Страхова: «Журнал «Время», умеренный, но честный и исполненный великодушных симпатий, редактируемый выдающимся писателем Достоевским, мучеником, только возвратившимся с каторжных работ, написал по поводу Польши несколько гуманных слов, которые, весьма вероятно, прошли бы незамеченными, но «Московские ведомости» указали на статью, и журнал был приостановлен» [19].

В своих воспоминаниях Страхов писал, что хотя закрытие журнала было катастрофой и для сотрудников и для редакции, но «никто не унывал, и все готовы были смотреть на это происшествие только как на один из крупных случаев обыкновенных литературных превратностей». Действительно, ни автор статьи, ни редактор не подверглись репрессиям, но несомненно, что обоим братьям Достоевским это событие нанесло глубокую травму, имевшую большое влияние на их дальнейшую журнальную деятельность. Переживания Ф. М. Достоевского отразились

---

[18] *Достоевский,* т. XIII, стр. 512—516.

[19] *А. И. Герцен.* Собрание сочинений в 30 томах, т. XVII. Изд-во АН СССР, 1959, стр. 174; т. XVIII, стр. 209.

в его письме к Тургеневу в Баден-Баден 17 июня 1863 г.: «Последнее письмо Ваше застало меня в самое хлопотливое и тугое время, т. е. во время запрещения нашего журнала. Тут было столько возни, тоски и прочего, очень дурного, что решительно целый месяц не подымалась рука взять перо. Верите ли Вы этому?.. Итак, наш журнал запрещен, что, думаю, Вы может быть уже как-нибудь и знаете, предположив, что в Бадене есть русские газеты. Запрещение это случилось довольно для нас неожиданно. У нас в апрельской книжке была статья «Роковой вопрос». Вы знаете направление нашего журнала: это направление по преимуществу русское и даже антизападное. Ну стали бы мы стоять за поляков? Несмотря на то, нас обвинили в антипатриотических убеждениях, в сочувствии к полякам, и запретили журнал за статью в высшей степени, по-нашему, патриотическую. Правда, что в статье были некоторые неловкости изложения, недомолвки, которые и подали повод ошибочно перетолковать ее. Эти недомолвки, как мы сами видим теперь, были действительно весьма серьезные, и мы сами виноваты в этом. Но мы понадеялись на прежнее и известное в литературе направление нашего журнала, так что думали, что статью поймут и недомолвок не примут в превратном смысле,— в этом-то и была наша ошибка. Мысль статьи (писал ее Страхов) была такая: что поляки до того презирают нас как варваров, до того горды перед нами своей европейской цивилизацией, что нравственного (т. е. самого прочного) примирения их с нами на долгое время почти не предвидится. Но так как изложения статьи не поняли, то и растолковали ее так: что *сами от себя*, уверяем, будто поляки до того выше нас цивилизацией, а мы ниже их, что, естественно, они правы, а мы виноваты. Некоторые журналы («День» между прочим) серьезно стали нам доказывать, что польская цивилизация только поверхностная, аристократическая и иезуитская, а следовательно, вовсе не выше нашей. И представьте себе: доказывают это нам, а мы это самое и имели в виду в нашей статье; мало того: доказывают тогда, когда у нас *буквально* сказано, что эта польская, хваленая цивилизация носила и носит смерть в своем сердце. Это было сказано в нашей статье буквально. Замечательный факт, что очень многие из честных лиц, восстававших на нас ужасно, по собственному признанию своему, *не читали* нашей статьи. Но довольно об этом; дело прошлое, не воротишь».

Сообщая далее, что М. М. Достоевский не может прислать Тургеневу обещанные деньги, Достоевский писал о брате: «он совершенно разорен запрещением журнала и семейство его должно почти пойти по миру...» [20].

Подтверждение написанному Ф. М. Достоевским мы находим в записях дневника Е. А. Штакеншнейдер, которые отразили распространившееся по Петербургу общее мнение. 30 мая она записала: «С «Временем» случилось большое несчастье, его запре-

[20] Письма, т. I, стр. 317—318.

тили за статью Страхова о Польше. В чем, собственно, она заключалась, не могу сказать, потому что хорошенько не знаю, мы номер с нею не успели получить, он был отобран у книгопродавцов. Полонский в отчаянии, да и кто не в отчаянии. Страхов более всех: Достоевские жили журналом, цензор Цеэ потерял место. Хуже всего то, что статья не только написана в духе, противном правительству, но, что хуже всего, в духе, противном общественному мнению. В Москве всполошились, вступились за русскую честь, а Страхов под статьей подписался «Русский». Только со Страховым, только со «Временем» могло случиться подобное обстоятельство, с этим бледным, невысказанным журналом, добродушным и туповатым» [21].

Характеристика закрытого журнала, сделанная Штакеншнейдер без всякого личного повода для раздражения против него, вероятно, принадлежала не ей одной. Мы не нашли у современников сочувственных отзывов об издании в связи с его закрытием и думаем, что в этом немалую роль сыграло его свойство, отмеченное Штакеншнейдер, назвавшей его «*невысказанным* журналом» [22]. В период энергичного размежевания общественных сил, идейной поляризации, «Время» от января 1861 г. до апреля 1863 производило впечатление «невысказанного», хотя в нем было немало очень ярких и определенных идеологических статей и выступлений.

Причина же слагавшегося общего неясного впечатления заключалась в отсутствии идейного единства в выступлениях сотрудников, во внутреннем размежевании группы «почвенников» 40-х годов и группы молодежи, воспитавшейся на передовых демократических идеях конца 50-х годов. Причина заключалась и в определенном сочувствии редакции обеим группам, ее стремлении объединить их, в искренней уверенности, что она в состоянии это сделать. В цитированном выше письме к Тургеневу Ф. М. Достоевский писал в защиту «Времени»: «Журнал наш существовал почти два с половиной года без большой поддержки от наших известных литераторов... Между тем наш журнал был честный журнал, а во-вторых, понимал литературу и ее смысл и значение, право, лучше «Современника» и «Русского вестника».

---

[21] *Е. А. Штакеншнейдер.* Дневник и записки, стр. 332.— На другой день автор дневника внесла исправление в свою запись: «Мы этот номер «Времени» получили как следует, в апреле... я сама ее читала уже недели три тому назад, не то что читала, но заглянула в нее, прочла страницы две, потом она мне показалась такой чушью, что я ее бранила, не разрезав остальных листов».

[22] В письме к А. Н. Майкову от 6 декабря 1862 г. Чокан Валиханов писал о «Времени»: «Говоря между нами, я что-то плохо понимаю их *почву, народность,* то славянофильством пахнет, то западничеством крайним, примирения что-то не видать, или не удается им это примирение. По-моему, что-нибудь да одно: или преобразования коренные по западному образцу, или держись старого, даже веру надо использовать. Китайская середина не идет теперь к делу».— «Ученые записки Казахского гос. ун-та». Язык и литература, т. XIX. Алма-Ата, 1955, стр. 75—76.

Но в отзыве о «Времени», сделанном в конце 1863 г., в период подготовки нового журнала, Достоевский писал брату, одобряя предполагаемое название будущего журнала — «Правда»: «И мысль наиболее подходящую заключает, и к обстоятельствам идет, а главное — в нем есть некоторая *наивность, вера*, которая именно как раз к духу и к направлению нашему, потому что наш журнал («Время») был во все времена до крайности наивен и, черт знает, может быть и взял наивностью и верой» [23].

Это признание Ф. М. Достоевского чрезвычайно важно. Оно показывает, что в его сознании направление журнала характеризовалось не твердой уверенностью в избранном пути к определенной цели, но столь расплывчатыми понятиями, как «наивность» и «вера». В глазах же журналистов, его современников, эти свойства вели к осуждению «Времени» за его «невысказанность», непоследовательность, отсутствие своего лица, своего рода двойственность. В. П. Боткин сообщал Тургеневу 6 июля: «Журнал «Время» запрещен — и, я думаю, ни один человек не пожалеет о нем». На что Тургенев отвечал 8 июля без особого энтузиазма: «Твое письмо, любезный Василий Петрович, дышит патриотизмом...— но все-таки я не могу, подобно тебе, не пожалеть о запрещении «Времени» — журнала во всяком случае *умеренного*. Да и мне, как старому щелкоперу, всегда жутко, когда запрещают журнал» [24].

Сурово осудил направление закрытого «Времени» И. С. Аксаков и не только потому, что журнал Достоевских постоянно полемизировал с «Днем» и иронически отзывался о славянофильстве. Аксакову была ясна именно двойственность редакции, несомненная близость ее программы в каких-то пунктах славянофилам и вместе с тем ее тяга к все ширившемуся передовому демократическому настроению общества. 6 июля 1863 г. Аксаков раздраженно писал Страхову: «Вы напрасно ссылаетесь на *направление* «Времени». Хотя оно постоянно кричало о том, что у него есть направление, но никто на это направление не обращал внимания. Оно имело значение как хороший беллетристический журнал, более чистый и честный, чем другие, но претензии его были всем смешны. Там могли быть помещаемы и помещались и хорошие статьи... — но все это не давало «Времени» никакого цвета, никакой силы. Ему недоставало высших нравственных основ, честности высшего порядка. Оно имело бесстыдство напечатать в программе, что первое в русской литературе провозгласило и

---

[23] Письма, т. I, стр. 340.

[24] *И. С. Тургенев*. Полное собрание сочинений и писем, т. V, стр. 133, 574. 20 июня Тургенев писал Н. В. Щербаню о статье Страхова: «Я эту статью, помнится, пробежал и не нашел в ней ничего особенно зловредного. Это запрещение меня поразило — и для Достоевских, у которых оно отняло хлеб, и для правительства, которое не понимает, что оно тем самым бросает тень на искренность патриотических заявлений». Далее Тургенев выражал заботу, где печатать теперь «Призраки», которые предназначались для «Времени» (стр. 130).

открыло существование русской народности! Нет такого врага славянофилов, который бы не возмутился этим. Потом это наивное объявление, что славянофильство — момент отживший, а пути к жизни, новое слово — у «Времени»! Славянофилы могут все умереть до одного, но направление, данное ими, не умрет,— и я разумею направление во всей его строгости и неуступчивости, не прилаженное ко вкусу петербургской канканирующей публики. Вот это волокитство за публикой, это желание служить и нашим и вашим, это трактование славянофилов *свысока* во «Времени» и с презрением в первой программе «Времени». Это уронило журнал в общем мнении публики, а славянофилы, как вы знаете, *нигде*, ни единым словом даже не задели «Времени», потому что убеждения их не вопрос личного самолюбия...»

Интересны комментарии Страхова к этому письму Аксакова. Он, все время враждебно относившийся к «разиновщине» в журнале «Время» и сознательно разжигавший в Ф. М. Достоевском ненависть к «нигилизму», в пояснениях к письму Аксакова вскрыл ту сторону в деятельности «Времени», которая отделяла журнал от славянофильства и в сущности противоречила объявленной программе «почвенничества». Страхов считал, что упреки Аксакова «некоторые вполне основательны, а другие преувеличены, впрочем не без вины самого «Времени», именно по неясности того духа, в котором велся журнал...» «Очень справедлив упрек *в волокитстве за публикою*, но это волокитство имело вовсе не злостный, а скорее самый чистый характер, и под ним вовсе не скрывалось желание *служить и нашим и вашим.* Что же касается до высших нравственных основ, до христианской проповеди, то эти основы, действительно, высказывались в журнале всего менее и выражались разве только одним отрицательным образом, например в том, что в журнале не было ничего ни материалистического, ни антирелигиозного... Мало того,— из наших частных разговоров мне не припоминается почти ни одного случая, когда бы Федор Михайлович прямо высказывал то религиозное настроение, которое, по-видимому, не угасало в нем ни в один период его жизни...» [25].

Аксаков и Страхов отметили действительно заметную особенность «Времени», отделявшую его от славянофилов. Оно было чуждо религиозных тенденций, проповеди православия, евангельской морали смирения и всепрощения. Как мы видели из приводимых цитат, многие из статей не только энергично вскрывали отрицательные стороны социальной жизни, но показывали их истоки, возможность преодоления, звали на борьбу с ними,— то, что было неприемлемо и для Аксакова и для Страхова и что шло от другого, враждебного им течения во «Времени».

Представитель же этого течения также оставил свою характеристику «Времени», беспощадную в своей резкости, даже грубости,

---

[25] *Н. Н. Страхов.* Воспоминания, стр. 256, 257.

но тем не менее заключающую в себе зерно истины, с которой нельзя не считаться. Салтыков писал эти строки как завершение своей двухлетней полемики с журналами Достоевских в конце 1864 г., но они не были напечатаны при его жизни. Между тем они чрезвычайно важны с двух сторон. Они показывают большую заинтересованность редакции «Времени» в ведущем сотруднике «Современника» и свидетельствуют о признании, пусть грубом, этим сотрудником идейной связи обоих журналов. Щедрин писал о том, как началось его участие во «Времени»: «В 1861 году я приезжал в Петербург и случайно свиделся с Ф. М. Достоевским, который, между прочим, *весьма убедительно* приглашал меня к участию, даже, так сказать, упрекал в равнодушии к вновь возникшему журналу. Имея в виду, что «Время» в ту пору питалось ухвостьями идей «Современника», подобно тому как «Эпоха» питается ныне ухвостьями ухвостий «Дня», я согласился на сотрудничество и послал «Недавние комедии». Затем, по закрытии «Современника», я послал во «Время» еще несколько очерков и получил от М. М. Достоевского письменное приглашение сотрудничать далее, с предложением *каких угодно условий*... И после этаких-то льстивых слов вдруг оказаться и легкомысленным и негодным!» [26].

---

[26] *М. Е. Салтыков* (*Щедрин*). Собрание сочинений в двадцати томах, т. VI. М., 1968. «Г. г. семейству М. М. Достоевского, издающему журнал «Эпоха», стр. 528.

Заключение

Обычная трактовка журнала «Время» как органа «почвенников», направления, близкого славянофильству, не подтверждается детальным изучением его содержания и сотрудников. Прежде всего в журнале существовала очень значительная и влиятельная плеяда авторов художественной и публицистической прозы, которая вовсе не была связана с официальным курсом, проводимым в «Объявлениях» журнала и разрабатываемым братьями Достоевскими, Страховым и Григорьевым. Про эту плеяду можно сказать, что именно она питалась идеями «Современника» и воспиталась на них. Она вносила в журнал боевой дух современной демократической молодежи, откликаясь на все волновавшие общественность проблемы. Благодаря ее энергичному участию журнал «Время» приобретает свое значение в прогрессивной прессе начала 60-х годов, и его роль должна учитываться не только по реакционным выступлениям Страхова, но и по статьям Ткачева, Разина, Бибикова, Щапова, Щеглова, произведениям Помяловского, Левитова, Воронова, Бунакова и др. Ничего «почвеннического» не было и в выступлениях молодежи: Благовещенского. Владиславлева, Знаменского, Н. Барсова, Родевича, Стопановского. Объединяло их не преклонение перед «почвой», а общее всем им демократическое происхождение, трудовая деятельность, резко критическое отношение к русской действительности, вера в возможность и необходимость ее перестройки, вера, которую они черпали из печатных органов революционной демократии.

Признавая активную роль Ф. М. Достоевского в организации и руководстве журнала, совершенно очевидно надо признать, что и «питание» идеями «Современника» и энергичное участие всей плеяды указанных авторов происходило в журнале не только с его согласия, но и при явном его содействии. Издание журнала дало Достоевскому возможность хотя временного, хотя частичного контакта с передовым отрядом русской общественности, что не могло не отразиться на его дальнейших сложных и противоречивых поисках своего пути.

Идеи «почвенничества», как они провозглашались редакцией в «Объявлениях» и развертывались в статьях Достоевского и Страхова, нет оснований ставить в зависимость от учения славянофилов. Об этом решительно заявлял сам Достоевский, в те-

чение всего времени издания первого журнала последовательно выражавший свое несогласие с направлением аксаковского «Дня». «Времени» были чужды специфические заботы славянофилов о судьбах русского дворянства, признание возможности патриархальных отношений между помещиками и крестьянами при крепостном праве. Основное положение «почвенников» предполагало сближение народа с оторвавшейся образованной частью общества не путем опрощения, возвращения общества к народному уровню, а путем поднятия народа до уровня общества через грамоту, образование, науку. Не принимали «почвенники», как идеал народ древней Руси, искусственно воссоздававшийся славянофилами, а интересовались народом современным и именно с ним хотели засыпать разделявший их ров.

Они признавали огромное значение Петровской реформы в области образования, стремились быть на уровне современной европейской науки и литературы и горячо защищали всю русскую литературу, как создание русского народа, от нападок славянофильской критики. «Почвенники» были чужды исключительного национализма, не проявляли повышенного интереса к славянским народам, защищали евреев от ущемления их прав. Они были чужды проповеди православия, а тем более мистико-религиозных настроений, культа таких духовных «добродетелей», как смирение, всепрощение и т. д. Они встречали с одобрением активность народа, его протесты. Наконец, они охотно входили в контакт с современной передовой молодежью, приветствовали ее выступления, давали им место в журнале, в то время как Аксаков требовал от молодежи, как ее основной цели,— благонравного учения. Несомненно, И. С. Аксаков имел все основания быть очень недовольным «Временем», так как пропаганда последним единения с народом была иная, да и народ был иной.

Еще менее правы те исследователи, которые относят «Время» к реакционной охранительной прессе, возглавлявшейся Катковым. Обеим группам, действовавшим во «Времени», были глубоко чужды интересы и идеалы поместно-дворянской и правительственно-бюрократической партии, и борьба с ней проходит через весь журнал Достоевских, с первой до последней книжки.

Иной была история взаимоотношения с третьим противником «Времени» на журнальном фронте. Она претерпела эволюцию, которая коротко может быть подытожена здесь так. Мы думаем, что, начиная журнал и готовясь к журнальным боям, Достоевские вовсе не имели в виду именно «Современник», хотя и ощущали разницу в исходных пунктах своих позиций. Но они верили в возможность примирения, сосуществования и более или менее уважительной полемики. Несомненно, что многое в «Современнике» им импонировало — прежде всего демократизм и обличение зол отходящей в прошлое крепостной России. Внушали уважение и оба руководителя, Чернышевский и Добролюбов, исключительную одаренность которых они не могли не признавать.

Но очень скоро Страхов вскрыл те идейные основы обоих журналов, которые неизбежно должны были привести к открытому расхождению. Страхов пришел в журнал, уже видя в материалистической философии революционных демократов своих будущих непримиримых врагов, и путем кратких, но ядовитых статеек почти в каждом номере журнала, а еще более в постоянном личном общении и беседах, раскрывал свою ненависть к «нигилизму» и его несовместимость с идеалистическими позициями «почвенников» в области политических, общественных и эстетических вопросов. Несмотря на то, что поход Страхова против «Современника» велся все более откровенно, Достоевский воздерживался от его санкционирования и полного разрыва с «Современником». Вероятно, играли здесь роль и многочисленные выступления сотрудников его журнала, которые явно развивали в журнале идеи «Современника», с которыми боролся Страхов.

По нашему мнению, весна 1862 г., с ее прокламациями и пожарами в Петербурге, и лето этого года, когда Достоевский воочию увидел мир капитала и пролетариев, услышал от Герцена и прочел в его изданиях о неизбежности социализма и революционных путях к нему, определили решительный идейный поворот Достоевского от полускрытой полемики к открытой и острой борьбе и вражде. Уход с журнальной арены Чернышевского и Добролюбова (арест одного и смерть другого) развязывал руки. Антонович и Щедрин с их грубой откровенной манерой обращения с журнальными врагами способствовали нарастанию взаимного неприятия, и с выходом в феврале 1863 г. сдвоенной книжки (№ 1—2) «Современника» открытая война была объявлена с обеих сторон. Позицию «Времени» этого периода, как и других либеральных журналов, правильно определил Шелгунов: «С одной стороны, они чувствовали, что нельзя не идти вперед, с другой — их пугало, что либерализм порождает нигилизм, а нигилизм приводит к событиям» [27] (т. е. революции).

Война нового «Современника» и «Времени» была прервана закрытием последнего в апреле 1863 г., но возобновилась и усилилась с первой книги следующего издания Достоевских — «Эпохи». Здесь же «почвенники» должны были логически пересмотреть свое отношение к изданиям Аксакова и Каткова и увидеть в них уже не врагов, а возможных союзников.

Рассказать историю издания «Эпохи» — задача следующей книги.

---

[27] *Н. В. Шелгунов.* Воспоминания. М., 1923, стр. 192.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вера Степановна Нечаева

Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» 1861—1863

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы
им. А. М. Горького
Академии наук СССР

Редактор издательства *Е. Г. Павловская*
Художественный редактор *С. А. Литвак*
Технический редактор *Р. Г. Грузинова*

Сдано в набор 1/X-1971 г.
Подписано к печати 8/II-1972 г.
Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Бумага № 2.
Усл. печ. л. 20,0. Уч.-изд. л. 20,6.
Тираж 4900. А-05823. Тип. зак. 2899.
Цена 1 р. 45 к.

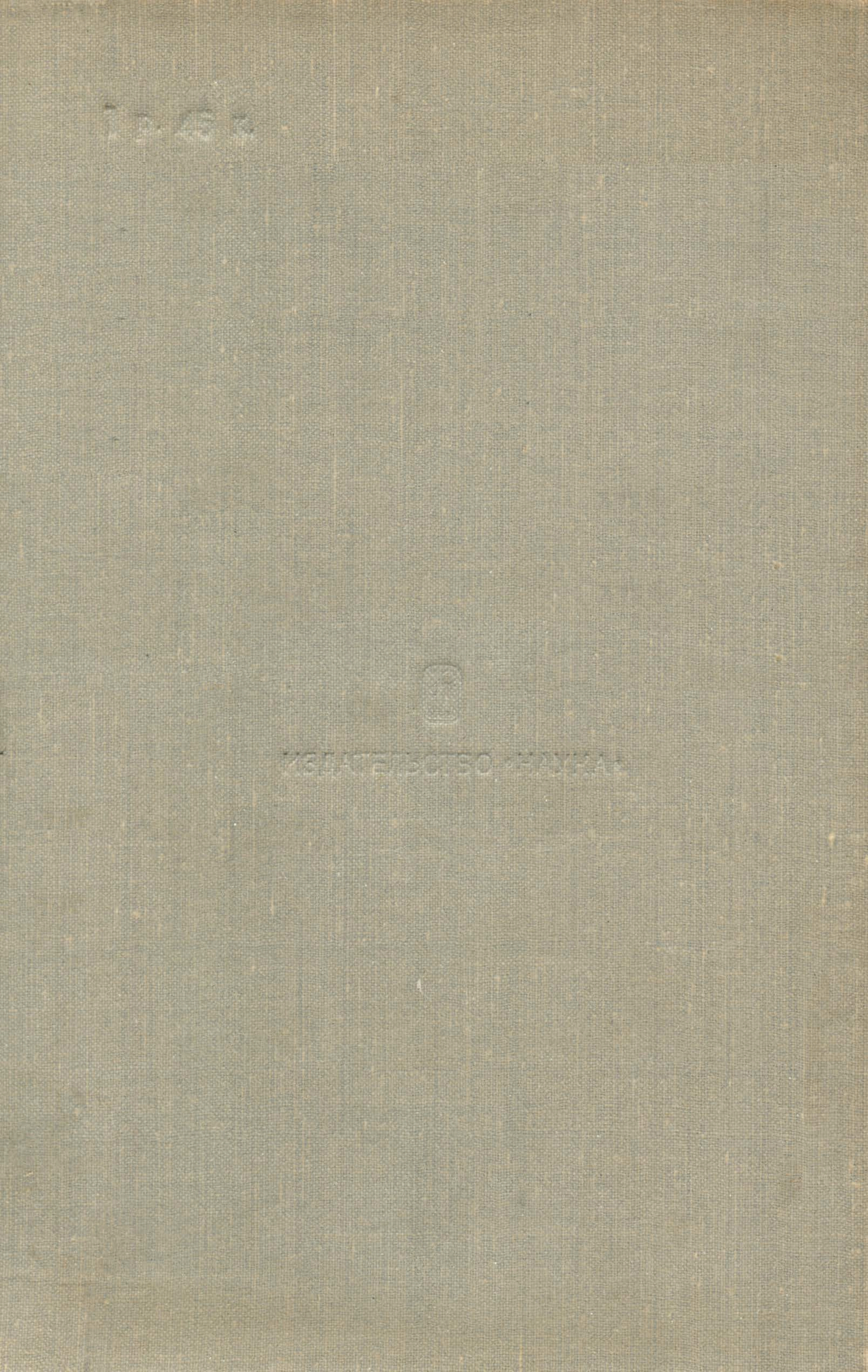
Издательство «Наука».
Москва К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука».
Москва Г-99, Шубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
130	22 сн.	достигалась	постиглась
223	7—8 св.	драмаческие	драматические
230	24 сн.	преследовании	преследованиям
248	6 сн.	1961	1861

В. С. Нечаева. Журнал Ф. М. и М. М. Достоевских «Время»


ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»